



Это цифровая копия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных полках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие засиси, существующие в оригинальном издании, как наиминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредиринали некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заирсы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.

Мы разработали иrogramму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заирсы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заирсы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оптического распознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.

В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доилнительные материалы ири иомощи иrogramмы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.

Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих определить, можно ли в определенном случае исиользовать определенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск и этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



INDIANA
UNIVERSITY
LIBRARY



*Полное собрание сочинений
члвка Александровича МЕЯ.*

Издание Н. Т. Мартынова.

Digitized by Google

Lev Aleksandrovich Mej

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

Polnoe sobranie sochinenij

СОЧИНЕНИЙ

Льва Александровича

МЕЯ

v. 3

ТОМЪ ТРЕТИЙ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1887.

at

Л. А. М Е Й.

І.

ЛИРИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ

Переводы съ польского и украинскаго языковъ.

ІІ.

П Р О З А .

Переводы съ чешскаго, польского, французскаго и
англійскаго языковъ.

ЛІБІДЬ

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Издание книгопродавца Н. Г. М а р т ы н о в а .

1887.

Digitized by Google

PG 3337

M₄

1887

v. 3



INDIANA UNIVERSITY LIBRARY

Литография Товарищества «Общественная Печать», г. Одесса, № 50.

С ГЛАВЛЕНИЕ.

ЛИРИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

СЪ ПОЛЬСКАГО.

Мицкевичъ.

	стр.
I. Pioszosa moja	3
II. Свитеянка	3
III. Вилія	8
IV. Разговоръ	9
V. Пани Твардовская	—
VI. Ренегатъ	13
VII. Щесна	14
VIII. Облава (отрывокъ изъ <i>Ночь поэмы Тадеушъ</i>)	15
IX. Къ ***	25

Кондратовичъ (Сырокомля).

I. Горсть пшена	26
II. Павъ Марекъ въ адъ — шляхетская притча	32
III. Иллюминація. Воспоминанія подъ дождемъ	40
IV. Грузинкъ	45
V. Невинной душкѣ	—
VI. Корольки. Щесня	46
VII. Краковецъ въ Литвѣ	47
VIII. Українкѣ	48
IX. Прежде было лучше	50
X. Капраль Терефера и Капитанъ Шерепыга — солдатская сказка.	51
XI. Кука	63

Богданъ Залескій.

I. Ледящая	64
II. Двѣ смерти	65

Одынецъ.

Дѣвушка и голубь	66
----------------------------	----

Реутъ.

Жена. Бѣлорусская сказка	67
------------------------------------	----

Ходзько.

Молодецъ	75
--------------------	----

Красинскій.

I. Спиши ты	76
II. Слезы	—

СЪ УКРАИНСКАГО.

Шевченко.

I. Вечеръ	81
II. Шлатокъ	—
III. Батрачка Повѣсть	84
IV. Гайдамаки	99

НАРОДНЫЯ ПѢСНИ.

Щеголевъ.

Пѣсня	121
-----------------	-----

Руснѧцкія пѣсни.

I. У сосѣдки синъ молодчикъ	122
II. Что это не слышно Наны голосочка?	123

Моравскія пѣсни.

I. У молодки Наны	—
II. Лучше куколя ишеница	125
III. Тятенька-голубчикъ, гдѣ моя родная?	—

Волынскія думы.

I. Въ полѣ широкомъ жѣльзомъ копыть	125
II. Шашка въ полѣ, рыбка въ тинѣ	126
III. Щѣть и пляшетъ Казакъ	127

Шотландская легенда.

Эпни Лехроенъ	128
Итальянскій народный гимнъ	132

ПРОЗАИЧЕСКИЕ ПЕРЕВОДЫ.

Предчувствіе. Рассказъ Камергера короля Станислава Августа (съпольскаго)	137
Янь изъ Непомука. Чешская легенда	159
Святочная пѣсня въ прозѣ. Чарльза Диккенса	165
Україненныя часы. Рассказъ М. Л. Фрейда	222
Дочь Миссіонера. — А. Нофъ	273
Таинственное путешествіе Фіц-Джеральда. Леона Гозлана съ французскаго.	319

СЪ ПОЛЬСКАГО.



МИЦКЕВИЧЪ.

I

PIESZCZOTKA MOJA.

Моя баловница, отдавшись веселью,
Зальется какъ птичка, серебряной трелью
Какъ птичка, начнетъ щебетать лепетать,
Такъ мило начнетъ лепетать-щебетать,
Что даже дыханье боюсь я нарушить
Гармонію сладкую дѣвственныхъ словъ,
И цѣлые дни, и всю жизнь я готовъ,
Красавицу слушать и слушать и слушать!
Когда-жь живость рѣчи ей глазки зажетъ
И щеки сильнѣе румянить начнетъ,
Когда при улыбкѣ, сквозь алые губы,
Какъ перлы въ кораллахъ, блеснутъ ея зубы—
О, въ эти минуты я смѣло опять
Гляжуся ей въ очи—и жду поцѣлуйя,
И болѣе слушать ея не хочу я,
А все—цѣловать, цѣловать, цѣловать!

1849.

II.

СВИТЕЗЯНКА.

Кто этотъ мѣлодецъ статный, красивый?
Что за дѣвица съ нимъ, краснымъ?
Вдоль по прибрежью Свитези бурливой
Идуть при мѣсяцѣ ясномъ.

Оба малины набрали въ кошницы,
 Вьють по вѣнку себѣ оба:
 Знать онъ—другъ милый красотки-дѣвицы,
 Знать она—парня зазноба.

Каждою ночью въ тѣни осокори
 Онъ ее здѣсь поджидаетъ:
 Молодецъ—ловчій въ сосѣдственномъ борѣ,
 Дѣвица... кто ее знаетъ!

Богъ вѣсть—когда и откуда приходить,
 Богъ вѣсть—куда исчезаетъ...
 Мокрой былинкой надъ озеромъ всходитъ,
 Искрой ночной пропадаетъ.

«Полно таиться со мной, дорогая!
 «Вымолви слово, для Бога:
 Гдѣ твоя хата, семья гдѣ родная,
 «Какъ къ тебѣ путь и дорога?

«Минуло лѣто, листочки валятся;
 «Холодно въ полѣ просторномъ...
 «Али всегда мнѣ тебя дожидаться
 Здѣсь на прибрежье озеромъ?

«Али всегда ты какъ стѣнь гробовая,
 «Бродишь полночной порою?
 «Лучше ко мнѣ приходи, дорогая,
 «Лучше останься со мною!

«Вотъ и избенка моя не далечко,
 «Видишь—гдѣ въ чащѣ лощина..
 «Будеть у насъ съ тобой лавка и печка,
 «Будеть и хлѣбъ и дичина».

— Парнямъ не вѣрю я, чтобы ни пѣли,
 Заю я всѣ ихъ уловки:
 Въ голосѣ ихъ—соловыиные трели,
 Въ сердцѣ ихъ—лиси сноровки.

— Ты насмѣшишься потомъ надо мною,
 Кинешь меня и загубишь!
 Я тебѣ тайну, пожалуй открою,
 Только... Ты вправду ли любишь?—

Молодецъ клялся у ногъ своей милой,
 Браль, горсть сырой земли въ руку,
 Браль заклинаяся темною силой,
 На душу вѣчную муку.

«Будь-же ты вѣренъ въ священномъ обѣтѣ:
 Если кто клятву забудеть,
 Горе ему и на нынѣшнемъ свѣтѣ,
 Горе и тамъ ему будетъ! —

Молвила строгое слово дѣвица,
 Молвивъ вѣнокъ надѣваетъ,
 Парню махнула рукой и, какъ птица,
 Въ темныхъ кустахъ исчезаетъ.

Слѣдомъ за ней, по кустамъ и по кочкамъ
 Гонится ловчій—задаромъ!
 Сгибла, умчалась изъ глазъ вѣтерочкомъ,
 Тонкимъ разсѣялась паромъ.

Вотъ онъ остался одинъ надъ водою...
 Нѣть ни слѣда, ни тропинки;
 Тихо кругомъ него, лишь подъ ногою
 Кой-гдѣ хрустять хворостинки.

Онъ надъ стремниной идетъ торопливо,
 Робко поводить очами...
 Вдругъ вихорь вззвылъ по дубровѣ сонливой,
 Озеро вздулось волнами.

Вздулось, вскипѣло до дна котловины...
 Въявь, али греза ночная?
 Тамъ надъ Свitezью, изъ темной пучини,
 Всплыла краса молодая...

Личико чище лилеи прибрежной,
 Вспрынутой свѣжей росою;
 Легко тканью станъ бѣлонѣжный
 Обвить какъ бѣлою мглою,

«Парень пригожій мой, парень красивый»,
 Молвила дѣвица страстно:
 «Кто ты? Заѣмъ надъ Свitezью бурливой
 Бродишь порою ненастной?»

«Полно жалѣть тебѣ пташки отлетной,
 Глупой и вѣтриной дѣвки:
 Ты по ней сохнешь, а ей, переметной,
 Только смѣшки да издѣвки.

«Полно вздыхать тебѣ, полно томиться,
 Нянчиться съ думой печальной:
 Бросься къ намъ въ волны и будемъ кружиться
 Вмѣстѣ по зыби хрустальной.

«Хочешь, мой милый—и ласточкой шибкой
 Будешь надъ озеромъ мчаться,
 Или здоровой, веселою рыбкой
 Цѣлый день въ струйкахъ плескаться.

«На ночь, на ложе волны серебристой
 Ландышей мы набросаемъ,
 Сладко задремлемъ подъ сѣнью струистой,
 Дивныя грезы узнаемъ».

Смолкнула. Вѣтеръ покровъ ей колышетъ,
 Млечную грудь открывая...
 Парень, хоть смотрить не смотритъ, а слышить—
 Близко краса молодая:

То надъ водою въ кругахъ прихотливыхъ
 Мчится, воды не касаясь,
 То заиграеть въ волнахъ говорливыхъ,
 Жемчугомъ брызгъ осыпаясь.

Ловчій смутился душой, подбѣгаешь
 Къ самому краю стремнины,
 Хочеть спрыгнуть—и назадъ отступаетъ:
 Милы, но страшны пучины.

Вдругъ къ нему въ ноги волна подкатилась,
 Плещеть, ласкается, манить...!
 Сердце въ немъ замерло, кровь расходилась...
 Память и мысли туманить,

И позабылъ онъ про прежнюю любу,
 Клятвою презрѣль святою:
 Кинулся въ волны на вѣрную сгубу
 Слѣдомъ за новой красою.

оть надъ волнами несется онъ смѣло,
 Смѣло очами поводить;
 Берегъ изъ глазъ у него то и дѣло
 Дальше и дальше уходитъ.

Ловчій къ дѣвицѣ плыветь что есть мочи,
 Доплылъ и обвилъ руками:
 Смотрится ей въ ненаглядныя очи,
 Льнетъ къ ея губкамъ устами.

Въ этотъ мигъ мѣсяцъ надъ тучею черной
 Вспыхнулъ сквозь темнеть ночную:
 Ловчій взглянуль и въ красоткѣ озерной
 Призналъ подругу былую.

«Такъ-то ты вѣренъ въ священномъ обѣтѣ,
 Если кто клятву забудеть,
 Горе ему и на нынѣшнемъ свѣтѣ,
 Горе и тамъ ему будеть!

«Нѣть, не тебѣ надъ холодной струею
 Рыбкой веселой плескаться:
 Тѣло твое распадется землею,
 Очи пескомъ засорятся.

«А за измѣну душа проклятая
 Вѣчно при той осокори
 Будетъ томиться, въ тоскѣ изнывая...
 Горе измѣннику, горе!»

Слушаетъ ловчій, плыветь торопливо,
 Робко поводить очами...
 Вихорь поднялся въ дубровѣ сонливой;
 Озеро вздулось волнами.

Вздулось, вскипѣло до дна котловины,
 Пѣнится, плещетъ и стонетъ...
 Разомъ раскрылись сѣдые пучины:
 Дѣвица съ молодцемъ тонеть.

Волны доселѣ вздымаются въ пѣнѣ;
 Ночью, при мѣсяцѣ ясномъ,
 Бродятъ доселѣ двѣ блѣдныя тѣни—
 Дѣвица съ молодцемъ красными.

Молодецъ стонеть въ тѣни осокори,
Дѣвица въ плесѣ играеть...
Молодецъ ловчимъ когда-то былъ въ борѣ,
Дѣвица... кто ее знаетъ!

1851.

III.

В И Л И Я.

У Виліи, нашихъ потоковъ царицы,
Дно чисто, а волны румянѣй денницы;
У юной литвинки, царицы изъ паней,
Еще чище сердце, ланиты румянѣй.

Вилія, по ковенскимъ милымъ полянамъ,
Струится въ нарцисахъ, бѣжитъ по тюльпанамъ;
Въ ногахъ у Литвинки весь цвѣтъ молодежи,
Красивѣй тюльпановъ, нарциссовъ пригоже.

Виліи нелюбы цвѣточки долины:
Не ихъ, она Нѣмана ищетъ роднова;
Литвинкѣ нелюбы и скучны литвины:
Не ихъ она, молодца любить чужова.

Поднявши Вилію къ себѣ на рамена,
Несется въ даль Нѣманъ на дикомъ просторѣ,
И держить подругу у влажнаго лона,
И гибнетъ съ ней вмѣстѣ въ невѣдомомъ морѣ.

Какъ Нѣманъ Вилію, тебя, о литвинка,
Похитиль пришлецъ изъ роднова селенья—
И ты, моя бѣдная, ты, сиротинка,
Погибнешь тоскливо въ пучинѣ забвенья.

Ни рѣку, ни сердце, никто не догонитъ —
Вилія струится, а дѣвица любить:
Вилія въ возлюбленномъ Нѣманѣ тонеть,
А дѣвица въ кельѣ дни юные губить...

1851.

IV

РАЗГОВОРЪ.

Красавица моя! на что намъ разговоры!
 Зачѣмъ, когда хотимъ мы чувствомъ подѣлиться,
 Зачѣмъ не можемъ мы душою прямо слиться
 И не дробить ея на этотъ звукъ, который—
 До слуха и сердецъ достичнуть не успѣть —
 Ужь гаснетъ на устахъ и въ воздухѣ хладѣть?

«Люблю тебя, люблю!» твержу я повсечасно,
 А, ты—ты смущена и сердишься на друга
 За то, что своего любовнаго недуга
 Не можетъ высказать и выразить онъ ясно,
 За то, что обмеръ онъ, за то, что нѣтъ въ немъ силы—
 Жизнь знакомъ проявить и избѣжать могилы.

Съ-измѣлада утрудилъ я праздными рѣчами
 Свои уста: теперь хочу ихъ слить съ твоими
 И говорить хочу съ тобою не словами,
 А сердцемъ, вздохами, лобзаньями живыми...
 И такъ проговорить часы, и дни, и лѣта,
 И до скончанія, и по скончаныи свѣта.

1851.

V.

ПАНИ ТВАРДОВСКАЯ.

Пьють, курятъ, єдять, веселятся:
 Не пиръ—разливанное море!
 Чуть стѣны корчмы не валятся...
 «Ай жги—да гуляй, мое горе!

Пашой подбоченясь, Твардовской
 Въ корчмѣ за столомъ засѣдаетъ,
 Гарцууетъ, и чарой бѣсовской
 Туману въ глаза напускаеть.

Какъ саблею свистнетъ надъ ухомъ
 Солдату, который храбрился,

Да спорилъ со всѣми—такъ духомъ
Въ зайченка храбрецъ обратился.

Подсудку, что молча съ єдою
Возился въ кострюль-ль, на блюдѣ-ль,
Слегка потрезвонилъ кисою—
Глядить—а подсудокъ ужъ пудель.

Твардовской опять за продѣлки:
Сапожнику ко-лбу приставилъ
Воронку—да чмокъ!—и горѣлки
Три полныя кварты доправилъ.

Пока кубокъ съ водкой онъ двигалъ
Поближе къ себѣ—что за чудо?
Запѣнился кубокъ, запрыгалъ...
На дно глядѣ:—“ты, братецъ, откуда?»

Самъ бѣсь на днѣ кубка возился...
Весь нѣмцемъ—кургузою штучкой—
Учило гостямъ поклонился,
Снялъ шапку, и сдѣлалъ имъ ручкой.

Изъ кубка на скатерть, какъ кошка,
Спрыгнуль и подросъ на два локтя:
Носъ крюкомъ—куриная ножка—
На лапахъ совиные когти.

«Здорово Твардовской! Сердечно
Я радъ повидаться здѣсь съ другомъ:
Хоть я Мefистофель, но вѣчно
Готовъ къ твоимъ панскимъ услугамъ.

«А помнишь ли, панъ, какъ условье
На Лысой горѣ мы съ тобой
Писали на шкурѣ воловьей,
И бѣсы клялися толпою,

«Что я свой контрактъ не нарушу:
И ты поклялся передъ ними,
Что долженъ намъ пансскую душу
Отдать черезъ два года, въ Римѣ?

«Воть семь уже лѣтъ миновало,
 А ты только пекло морошишь
 Да чарой мутишь, и ни мало
 Сбираяться въ дорогу не хочешь.

«Съ лѣнивымъ такимъ пилигримомъ,
 Сыграли мы шутку другую!—
 Корчма называется Римомъ:
 Я милость твою арестую».

Твардовской охотно бы скрылся
 Отъ этого dictum acerbum,
 Да бѣсь за кунтушъ уцѣпился.
 «А гдѣ же, панъ, nobile verbum?»

Что дѣлать?—Ума не хватило,
 И плачешь, а надо платиться.
 Твардовской задумался-было,
 Да скоро успѣль ухитрился...

«Ну что же? контрактъ нашъ контрактомъ:
 Своей не теряеть онъ силы...
 Но справься-ка съ подлиннымъ актомъ—
 Тамъ сказано вотъ-что, мой милый:

«Имѣю я право три раза
 Задать тебѣ всякой работы.
 А ты долженъ слушать приказа
 И все мнѣ исполнить до йоты.

«Вонъ конь на холстѣ намалеванъ:
 Чтобъ мигомъ тотъ конь ожиился,
 Быль взнузданъ, осѣдланъ, подкованъ,
 А я бы на немъ прокатился!

«Да свей ты мнѣ хлысть изъ песочку
 Для справы съ лошадкой лихоу,
 Да—видиши—вонъ въ этомъ лѣсочку—
 Построй-ка мнѣ домъ для постою.

· Домъ выстрой изъ ядеръ орѣха,
 Высокій, съ вершину Креныпака...
 Изъ пейсовъ жидовскихъ застreichа...
 Усыпь ее сѣменемъ мака,

«И въ каждое сѣмячко, мѣрно,
Натыкай гвоздочекъ по тройкѣ.
А гвозди чтобы были — примѣрно —
Въ три пяди — какъ надо для стройки.»

Сказалъ, а ужъ бѣсь за работу:
Коня накормилъ и отхолилъ,
Вьетъ хлыстикъ, ну, словомъ, до поту
Трудится — и все изготовилъ.

Твардовскій — въ сѣдло, и пытаетъ —
Какъ выѣзженъ конь и спокоенъ;
Взялъ рысью, въ галопъ поднимаетъ;
Глядить — анъ и домъ ужъ достроенъ.

«Ну, кончено съ службой одною!
Осталася служба другая:
Влѣзай-ка вонъ въ миску съ водою —
А въ мискѣ вода не просталъ».

Затрясся мой бѣсь, какъ осина,
Весь скорчился, съежился, сжался:
Но... слушай слуга господина —
И въ мискѣ бѣднякъ искупался ..

.

— Ну, панъ, перенесъ же я кару!
За то ужъ и ты въ нашей власти..

«Изволь еще службу исправить,
И съ мрачностью вашей бѣсовской
Мы квиты... Позволь-ка представить
Тебя моей женкѣ, Твардовской?»

«Чу, слышишь — кричить за дверями?..
Пока за тебя, Асмодею,
Я буду работать съ чертями,
А ты поживи-ка вотъ съ нею.

«Ты пани во всемъ подчинишься...
Люби ее, будь ей послушенъ..
А ежели въ чемъ провинишься,
Ну... весь договоръ нашъ нарушенъ!»

Бѣсь слушаетъ, самъ по немногу
 Все на дверь да на дверь косится,
 А крики все ближе къ порогу...
 Твардовскій на бѣса грозится,
 И требуетъ кончить раздѣлку,
 И въ дверь, и въ окно не пускаеть,
 А бѣсь... шмыгъ въ замочную щелку—
 Да такъ и теперь пропадаетъ.

1852.

VI.

РЕНЕГАТЪ.

О томъ, что недавно случилось въ Иранѣ,
 Повѣдаю я передъ всѣми...
 Сидѣль на цвѣтномъ кашемирскомъ диванѣ
 Паша трехбунчужный въ гаремѣ.

Гречанки, лезгинки поютъ и играютъ,
 Подъ пѣсни ихъ пляшутъ киргизки:
 Здѣсь небо, тамъ тѣни Эвлиса мелькаютъ
 Въ обѣтныхъ глазахъ одалиски.

Паша ихъ не видить, паша ихъ не слышить;
 Надвинулъ чалму; недвижимо
 И молча онъ куритъ—и вѣтеръ колышетъ
 Вокругъ его облако дыма.

Вдругъ шумъ до порога блаженства доходитъ
 Рабы разступились толпою:
 Кизляръ-ага новую плѣнницу вводить
 И молвить, склоняясь предъ пашою:

«Эффенди! твои свѣтозарныя очи
 Горятъ межъ звѣздами дивана,
 Какъ въ яркихъ алмазахъ, на ризахъ полночи,
 Самъ пламенникъ Альдеборана!

«Блесни-же мнѣ свыше, свѣтило дивана!
 Слуга твой, въ усердѣй горячемъ,

Принесъ тебѣ вѣсти, что вѣтре Ляхистана
Дарить тебя новымъ харачемъ.

Въ Стамбулѣ сады падишаха едва ли
Такою красуются розой...
Она—уроженка холодной той дали,
Куда ты уносишься грезой».

Тутъ съ плѣнницы сняль онъ покровъ горделиво—
И ахнуль весь дворъ и смущился...
Паша на красавицу глянуль лѣниво—
И медленно на бокъ склонился.

Чубукъ и чалма у него упадаютъ;
Дремотой смежилися вѣки;
Уста посинѣли.. къ нему подбѣгаютъ:
Уснуль ргнегатъ... и на вѣки.
1852.

VII.

ПѢСНЯ.

Али мать меня рожала
На горе большое?
Али вѣдьма зачурала
Мнѣ гнѣздо родное?

На пролеть и дни и ночи
Плачу какъ ребенокъ;
Сваты прійдутъ—нѣть мнѣ мочи
Выстоять смотренокъ.

Охъ, уѣхаль да и сгинулъ
Милой за дружиной;
Не сберегъ—одну покинулъ
Паничку съ кручиной.

У подружекъ въ церкви ясно
Свѣчка догараетъ;
У меня одной, несчастной,
Сразу погасаетъ.

Въ полѣ осень; листъ валится;
Песь нашъ землю роеть,
Сычъ на крышу къ намъ садится:
«Что-жъ ты—скоро?» воеть
Скоро я съ тобою, значитъ,
Свижуся, мой милой!
Скоро... вотъ какъ мать заплачетъ
Надъ моей могилой.

1857.

VIII.

ОБЛАВА.

(отрывокъ изъ поэмы „панъ тадеушъ“).

Литовскіе лѣса,— бездонныя пучины!
Кто въ вашу глубь проникъ до самой сердцевины?
Съ усилиемъ достаетъ рыбакъ у береговъ
Морское дно; кружась въ окраинѣ лѣсовъ,
Стрѣлокъ—литвинъ узналъ ихъ обликъ обычайной,
Да тайна сердца ихъ на вѣкъ осталась тайной...
Но все идетъ молва, иль сказка до-сихъ-поръ,
Что если миновать окрайный темный боръ
И засѣки пройдти,—за чашей ихъ густою
Предстанетъ на пути запретною стѣною
Высокій валъ изъ шней, кореньевъ и колодъ,
Обороняемый трясиною болотъ
И тысячью ручьевъ; сѣть поросли ползучей
И злаковъ водяныхъ; надъ ними, куча-кучей,
Гдѣ муравейники, гдѣ гнѣзда осъ, шершней,
Гдѣ, свитые въ клубокъ упругой, семьи змѣй.
Найдись такой смѣльчакъ, чтобъ могъ преграду эту
Хоть чудомъ одолѣть—за ней дороги нѣту.
За нею, что ни шагъ,—травой полузакрытъ,
Какъ яма волчая, залегъ и сторожить
Провалъ,—и ни въ одномъ дна люди не достали...
(Что хочешь—говори, а только-что едва-ли
Въ нихъ черти не сидятъ?) Въ тѣхъ омутахъ вода

Кровавой ржавчиной осложена всегда,
 И гарь изъ нихъ идетъ; и словно какъ чумныя,
 Безъ листьевъ и коры, деревья окружныя,
 Всѣ выгнанныя въ сукъ, червивы и болны:
 По вѣтвямъ мшистые наѣхивъ колтуны
 И бородатый пень нагорбивъ по-середкѣ,
 Сидѣть вокругъ воды, какъ вѣдмы въ тайной сходкѣ
 Сидѣть вокругъ котла, въ которомъ трупъ варять.
 За эти омыты не проникаль и взглядъ,
 Не только шагъ людской, затѣмъ—что черной тучей
 Тамъ вѣчно дымъ встаетъ надъ зыбию трясучей.
 Но дальше, какъ молва народная гласить,
 За дымной тучею, эдемъ лѣсной сокрыть
 И начинаются цвѣтущія границы
 Растеній и звѣрей таинственной столицы.
 Изъ-ней-то всѣхъ деревъ и злаковъ съмена,
 Въ-едино собраны, повсюду племена
 И отрасли свои, и юные побѣги
 Разсѣяли; и въ ней, какъ въ Ноевомъ ковчегѣ,
 Витаетъ всякий звѣрь, и всѣ на перечеть—
 По парно избраны на племя и приплодъ.
 Въ самой глупи—дворы лѣсныхъ владыкъ—сосѣдей—
 И тура давняго, и зубровъ, и медвѣдей.
 Вокругъ державцевъ тѣхъ гнѣздятся на вѣтвяхъ,
 Какъ думцы чуткіе, и семьи росомахъ,
 И рыси; далѣе—жилья вассаловъ многихъ,
 И вепрей, и волковъ, и лосей крутогорихъ.
 Надъ головами ихъ орлы и сокола,
 Наушники-льстецы, съ придворнаго стола
 Нетерпѣливо ждутъ обычную подачку...
 Тутъ каждая чета селится въ одиначку,
 Сокрытая въ глуби невѣдомыхъ дубровъ:
 Своихъ дѣтенышь они изъ тайниковъ
 Выводятъ на племя за дальняя границы,
 Но сами вѣкъ живутъ среди своей столицы,
 Не зная, какъ разять желѣзо и свинецъ,
 И мрутъ, когда прийдетъ естественный конецъ.
 У нихъ есть кладище... Быть-можеть, небылица,
 Но, говорять, туда, предъ смертью, звѣрь и птица

Свое перо, иль мѣхъ торопятся отнести...
 Медвѣдь, коль зубы съѣль и не чѣмъ больше Ѵсть;
 Олень, коль съ мѣста онъ и ногъ уже не сдвинеть;
 И заяцъ, коль вся кровь его по жиламъ стынетъ;
 И воронъ, коль ужъ съѣдъ; и соколъ, коль ужъ слѣпъ;
 Орелъ, коль у него такъ старый зобъ окрѣпъ,
 Что клюва не рознать ему во-вѣки болѣй,—
 На кладбище свое влекутся вольной-волей...
 И даже меньшій звѣрь пораненный, больной,
 Плетется—лечь костыми на сторонѣ родной:
 Вотъ почему въ мѣстахъ, доступныхъ человѣку,
 Звѣриныхъ костяковъ не найдено отъ вѣку.
 Межъ-тѣмъ въ столицѣ той звѣриной, говорять,
 И нравы добрые: затѣмъ, что свой урядъ...
 Цивилизациѣ проникнуть не успѣла;
 До собственности имъ и до всего нѣть дѣла,
 О чѣмъ страдаетъ такъ и мучится нашъ свѣтъ;
 И нѣть у нихъ войны, и поединковъ нѣть:
 Какъ ихъ отцы въ раю, они среди трущобы,
 Хоть дики, но ручны, проводить вѣкъ безъ злобы.
 И ни одинъ свой гнѣвъ не явить на другомъ
 Ни рогомъ извитымъ, ни зубомъ, ни когтемъ.
 И еслибъ человѣкъ зашелъ къ нимъ безоружно,
 Покоенъ могъ бы быть—оружія не нужно:
 Остановивъ на немъ взглядъ изумленный свой,
 Смотрѣли-бѣ на него они, какъ въ день шестой
 Смотрѣли предки ихъ на праотца въ Эдемѣ,
 Пока межъ нихъ вражды не пало злое сѣмя.
 Но къ счастью человѣкъ къ нимъ слѣду не найдетъ:
 Тревога, трудъ и смерть оберегаютъ входъ.
 Случалось, что порой охотничьи собаки
 Въ трущобу попадутъ, сквозь мхи и буераки,
 Но тотчасъ же стремглавъ бросаются назадъ.
 Ихъ боязливый вой и сумасшедшій взглядъ
 На тайный ужасъ ихъ указываютъ ясно—
 И долго господинъ ласкаетъ ихъ напрасно.
 И тотъ, укрывшійся въ безвѣстномъ тайникѣ,
 Звѣриный стольный градъ, на ловчихъ языкахъ,
 Зовется: *Маточникъ.*

Простакъ медвѣдь! Ну, что-бы
 Тебѣ не выходить изъ вѣковой трущобы?
 И войскій *) бы тогда тебя не подстерегъ...
 Но вѣрно съ пасѣки пролетный вѣтерокъ
 Донесъ къ тебѣ сотовъ янтарныхъ благовонность,
 Иль къ зѣлому овсу почувствовалъ ты склонность,
 Что, выйдя изъ лѣсу, опушкою бродилъ;
 А тамъ тебя, какъ разъ, лѣсничій сослѣдилъ,
 И соглядатаевъ послалъ — твои сноровки
 Всѣ вывѣдать, узнать прикормъ твой и ночевки...
 И вотъ облавниковъ разставилъ войскій самъ,
 Загородивъ тебѣ возвратъ къ роднымъ лѣсамъ.

Тадеушъ опоздалъ: давно уже собаки
 Изчезли межъ листвы, въ зеленомъ полумракѣ.

Тишь... Неподвижные, задерживая духъ,
 Вотще охотники всѣ превратились въ слухъ
 И съ бора темного вотще не сводятъ ока:
 Лишь музыка лѣсовъ слышна имъ издалека...
 Ныряютъ псы въ лѣсу, какъ на-морѣ нырки;
 Двустволки наведя въ лѣсную глубь, стрѣлки
 Глядять на войскаго: склонившись на колѣна.
 Припалъ къ сырой землѣ онъ ухомъ... Перемѣна
 Въ лицѣ врача друзьями большого вѣрный знакъ—
 Отчаяваться-ль имъ, иль радоваться: такъ
 И въ войскаго стрѣлки, исполнены волненья,
 Впивались взорами надежды и сомнѣнья.
 „Есть! Есть!“ онъ прошепталъ и быстро поднялся.
 Онъ слышаль: звѣрь ему уже отозвался,
 Когда другіе лѣсь пытали только глазомъ...
 Но, чу! залаялъ песъ... и два... и двадцать разомъ...
 За ними всѣ: вдали, вблизи, со всѣхъ концовъ,

*) Старинный чинъ въ Польшѣ. Его обязанностью было заботиться о шляхетскихъ женахъ и дѣтяхъ, и вообще наблюдать спокойствіе вѣреннаго ему округа во время общаго ополченія. Съ давнихъ временъ этотъ чинъ (*tribanus*) сдѣлался чѣмъ-то въ родѣ титула. Въ Литвѣ есть обычай придавать почетными особамъ какой-нибудь старинный титулъ, напр. сосѣди величаютъ другъ друга обозными, стольниками, п. д. Прежде эти титулы употреблялись въ актахъ.

Раздался громкий лай разбитой стаи псовъ.
 Но воть свалились, попали на горячий
 И гонять; голось ихъ не брехотъ дребезжачай
 Псовъ, зайцемъ стянутыхъ, иль ланью, иль лисой,
 А частый, хриплый лай, отрывистый и злой:
 Вблизи, по зрячему, вся стая дружно гонить,
 Вдругъ смолкло все: *дошли!* Но мигъ—и чаща стонеть
 Опять подъ сотнями свирѣпыхъ голосовъ:
 Медвѣдь боронится, бѣть и увѣчить псовъ—
 Сквозь непрерывный лай и ревъ и завыванья,
 Все чаще слышенъ визгъ предсмертнаго страданья.
 Ружейные стволы, сжимая между рукъ,
 Охотники впередъ нагнулися, какъ лукъ—
 Не могутъ дольше ждать... И ждать имъ для чего-же?
 Одинъ въ слѣдъ за другимъ, покинули сторожи—
 И въ лѣсъ: всѣмъ хочется скорѣй, на-единѣ,
 Со звѣремъ встрѣтиться. Хоть войскій на конѣ
 Сторожи обскакалъ, хоть расточалъ укоры,
 Кричалъ, что будь то панъ, или холопъ, а своры
 Отвѣдаешь, коль шагъ отъ мѣста отойдеть—
 Но сладу не было: всѣ кинулись впередъ.
 Воть грянули въ лѣсу три выстрѣла; слитая
 Посыпалась пальба, какъ вдругъ, перекрывая
 Сухой ружейный трескъ, раздался грозный ревъ:
 Въ немъ слышалися боль, отчаянье и гнѣвъ.
 За этимъ ревомъ вновь и лай и визгъ собачи,
 И крикъ охотниковъ, и трубы дѣзжачи
 Слились въ гулъ одинъ... Послѣдніе стрѣлки—
 Тѣ съ мѣстъ уходять въ лѣсъ, а тѣ взвели курки,
 И радуются всѣ—ужъ будто побѣдили;
 Лишь войскій жизнь клянетъ, что звѣря пропустили.
 Межъ чащю стрѣлки и между осокомъ *)
 Медвѣдю бросились гурьбой на переемъ;
 А тотъ, испуганный и псами и людями,
 Свернуль къ мѣстамъ, уже покинутымъ стрѣлками,
 Къ полямъ, гдѣ стерегли, одни за цѣлый станъ,
 Тадеушъ, войскій, графъ, да нѣсколько кричанъ.

*) Осока—обнесенное тенетами мѣсто, гдѣ осоченъ (обойденъ) звѣрь.

Тамъ лѣсь рѣдѣлъ... Стрѣлки ужь слышать ревъ могучій,
 И трескъ, и ломъ—и вотъ, какъ-будто громъ изъ тучи,
 Изъ чащи ринулся медвѣдъ... Со всѣхъ сторонъ
 Псы гонятся за нимъ и рвутъ его, а онъ
 Поднялся на дыбы и задомъ отступаетъ,
 И съ ревомъ лапами, что шагъ, то вырываетъ
 Гдѣ осмоленный пень, гдѣ узлица корней,
 Гдѣ камни врослые—и мечеть ихъ въ людей
 И въ псовъ; сломалъ себѣ корягу извитую
 И машетъ ею вкругъ себя на-пропалую;
 Потомъ вдругъ отскочилъ и кинулся стремглавъ
 Къ кустамъ, гдѣ на часахъ стояль беспечный графъ
 Съ Тадеушемъ... Они—курки на оба взвода—
 Ружейные стволы, какъ два громоотвода
 На тучу черную, на звѣря навели;
 Но выждать долгаго мгновенія не смогли
 И—о, неопытность!—курки спустили разомъ—
 И промахнулись. Звѣрь, какъ углемъ, вспыхнулъ глазомъ
 И прыгнуль на стрѣлковъ; они, заторопясь,
 И оба за одну рогатину схватясь,
 Другъ-у-друга ее насильно вырываютъ...
 Глядятъ, а ужь у нихъ надъ головой сверкаютъ
 Изъ пасти кровяной огромные клыки,
 И лапа свѣсилась когтистая... Стрѣлки
 Успѣли отскочить, отъ страха чуть живыми,
 И бросились бѣжать къ опушкѣ; звѣрь за ними:
 Когтями сноровиль царапнуть — не досталь,—
 Пустился догонять охотниковъ, догналъ,
 Всталъ снова на дыбы и графа лапой черной
 Ловить за волоса льяные сталь... Безспорно,
 Какъ шапку-бѣль черепъ сняль сіятельному онъ;
 Но въ этотъ самый мигъ на помощь, съ двухъ сторонъ,
 Ассессоръ и Регентъ явилися нежданно,
 А спереди бѣжалъ Гервазій бездыханный,
 И Робакъ, безъ ружья, почти-что въ ста шагахъ:
 Какъ по командѣ всѣ, въ одинъ и тотъ-же взмахъ,
 Въ медвѣдя грянули они тремя стволами —
 Медвѣдъ подпрыгнулъ вверхъ, какъ заяцъ передъ псами,
 И о земь грянулся башкою, но потомъ

Очнулся, графа сбилъ тяжелымъ ковыркомъ,
Рыча, хотѣль привстать; но мигъ еще единой —
И Справникъ на него насыли со Странчиной*).

Тогда-то войскій взялъ свой буйволовый рогъ,
Придѣтый къ поясу за шелковый снурокъ,
Рогъ длинный, крапчатый, скрученный завитками,
Какъ змѣй-удавъ, прижалъ къ губамъ его руками
И закатилъ глаза, и обѣ щеки вадуль,
Какъ полушарія, животъ въ себя втянулъ,
Вобравши въ легкія весь духъ, и полной грудью
Въ рогъ затрубиль... Какъ вихрь пустынныи по безлюдью,
Промчалась музыка по чащѣ вѣковой,
И чутко вторилъ ей отзывный кличъ лѣсной.
Дивяся чистотѣ гармоніи и силѣ,
Стрѣлки и ловчіе дыханье притали.

Еще разъ испытать хотѣль старику для нихъ
Свой даръ, прославленный въ дубровахъ окружныхъ.
И вотъ наполнилъ онъ и оживилъ дубровы,
Какъ-будто въ нихъ пустилъ собакъ и началъ ловы.
Въ его игрѣ весь гулъ охоты слышенъ бытъ:
Сначала рѣзкій звукъ — то ловчій затрубиль;
Потомъ и лай и вой — то гончихъ псовъ оравы;
Потомъ далекій громъ — то выстрѣлы облавы.
Тутъ духъ онъ перевель, а рогъ держаль; казалось,
Что онъ игралъ, но нѣть: то эхо разыгралось.

Вновь затрубилъ, и рогъ какъ будто-бы мѣнялъ
Въ устахъ его свой видъ: длиннѣлъ онъ и тончалъ.
То умягчая звукъ, то съязнова грубѣя,
Какъ голоса звѣрей. Порой, что волчья шея
Протянутая, выль, пронзительно стены;
Порой, медвѣжью пасть тобою замѣня,
Ревѣль на цѣлый лѣсъ; и вотъ мычанье лося
Съ рыканьемъ зубровымъ по вѣтру донеслося.
Тутъ духъ онъ перевель, и рогъ держаль; казалось
Что онъ игралъ, но нѣть: то эхо разыгралось,
И рога чудную игру, за звукомъ звукъ,

*) Кличка мордашекъ.

Передавалъ сполна дубъ—дубу, буку—буку.
 Трубить опять, и всѣмъ почудилось, что въ рогѣ
 Звучало сто роговъ, и полонъ лѣсь тревоги:
 Слились въ одно и крикъ, и лай, и ревъ, пока
 Побѣднымъ гимномъ рогъ не грянулъ въ облака.
 Духъ войскій перевель, а рогъ держаль; казалось
 Что онъ игралъ, но нѣть: то эхо разыгралось.
 Что дерево—то рогъ; проснулся старый боръ;
 Перекликается съ зеленымъ хоромъ хоръ;
 И чище каждый разъ гармонія лѣсная
 И льется все нѣжнѣй, дрожа и замирая,
 И вотъ послѣдній звукъ, очаровавшій лѣсь,
 Стихъ гдѣ-то—тамъ, вдали, на паперти небесъ.

Туть войскій опустилъ свой рогъ, рознявши руки,
 И закачался рогъ на поясѣ; но звуки.
 Стихавшіе вдали, ловилъ еще старай,
 И вдохновеніемъ горѣлъ румянныи ликъ...
 А между-тѣмъ вокругъ, дробясь тысячекраты,
 Гремѣли по лѣсу побѣдные *сигналы*.

Но скоро смокло все, и всѣ сошлись глядѣть
 На тушу свѣжую медвѣдя... А медвѣдь
 Лежалъ въ крови: насквозь весь пулами прошитый
 И въ сѣть густой травы косматой грудью вбитый,
 Концы переднихъ лапъ закинувши крестомъ;
 Еще дышалъ, и кровь лилась еще ручьемъ
 Изъ храта, но башки поднять ужъ не былъ въ силѣ:
 Мордашки съ двухъ сторонъ повисли и душили.

Затѣмъ, по войскаго приказу, рычагомъ
 Псамъ пасти розняли; прикладами потомъ
 Медвѣдя подняли и навзничъ положили
 И вновь три раза лѣсь *сигналы* огласили.

«А что? Ружьишко-то поставить на своеимъ!»
 Ассессоръ закричалъ, вертя своимъ ружьемъ:
 «А что ружьишко-то? Хоть птичка не величка,
 «Да ноготокъ востеръ... конечно и привычка.
 «Заряду на вѣтеръ не тратило оно—
 «Не даромъ мнѣ самимъ Сангушко дарено...»

И показалъ ружье: работа просто диво—
Не велико, а какъ приметно и красиво!
— Я за медвѣдемъ такъ и рвусь-себѣ впередъ,
Регентъ заговорилъ, со лба стирая потъ:
— Вотъ—такъ и рвусь, а тутъ панъ войскій мнѣ мѣшаетъ,
Кричить: «на мѣстѣ стой... А мишкѣ удираеть...
Чего тутъ ждать? Ну, нѣть! я думаю: «постой!»
И бацъ... А онъ—кувыркъ, да о-земь головой!
Ну, правда, что ружье—какъ есть, Сагаласовка!
И подпись: *Sagalas, London, Balabanowka.*
(Онъ тамъ и проживалъ;—хоть польскій мастеръ быль.
Но англійскій манеръ въ отдалѣкѣ полюбиль).

Ассесоръ фыркнулъ:—«Что! Уже-ли, панъ, не бредя,
Увѣрить хочеть нась, что онъ убилъ медвѣдя?»
— Послушай-ка, регентъ отвѣтиль:—здѣсь не судъ:
Здѣсь—всѣ свидѣтели, и дѣло разберутъ.»

И завели-жь стрѣлки споръ съ этого момента,
Тѣ за ассесора стоять, тѣ—за регента;
А о Гервазіѣ никто не поминаль:
Имъ было не видать—кто спереди стрѣляль.
Панъ войскій началь рѣчъ:—«Теперь—вотъ есть причина:
Тутъ не какой-нибудь косой лайдакъ-зайчина,
А тутъ медвѣдь—не жаль шляхетскій дать отвѣть—
Споръ сабля разрѣшить, а то и пистолетъ...
Ва съ трудно разсудить, и старымъ обычаемъ
На поединокъ васть мы всѣ благословляемъ.
Припоминаю я теперъ, что въ оны дни
Знаваль двухъ шляхтичей; сосѣдями они
Считались по домамъ—дѣлила ихъ Вилейка;
Одинъ-то шляхтичъ быль по прозвищу Домейко,
Другой—Довейко. Вотъ пришлося имъ вмѣстѣ быть
Въ облавѣ и вдвоемъ медвѣдицу убить.
Ну, какъ тутъ умирить шляхетскую натуру?
Стрѣляться! да вѣдь какъ?—черезъ медвѣжью шкуру,
Стволъ въ стволъ! Вотъ молодцы! вотъ—шляхтичи по мнѣ!
Я секундантомъ быль на чьей-то сторонѣ:
Какъ было, разскажу... Одна изъ тѣхъ оказій...»

Но рѣчъ его и споръ вдругъ прекратилъ Гервазій.
 Медвѣдя оглядѣвъ внимательно кругомъ,
 Онъ пасть ему въ длину разрѣзalъ тесакомъ,
 И тамъ, гдѣ сходится затылокъ съ головою,
 Онъ пулю отыскалъ, отеръ ее полою,
 Сличилъ съ патронами, примѣрилъ къ ней ружье,
 И на ладони сталъ показывать ее.

«Паны!» такъ началъ онъ: «оставьте споръ и толки?
 Вотъ пуля—и она, изъ старой одностволки
 Горешковской, врага свалила въ мигъ одинъ...»
 Онъ показалъ стрѣлкамъ негодный карабинъ;
 Къ стволу привязано снурками было ложе...
 «Однако-же не я стрѣлялъ: помилуй Боже!
 И вспомнишь, такъ опять стемнѣеть все въ глазахъ:
 Медвѣдь у паничей почти-что на плечахъ
 И графу черепъ снять пытается съ навалки—
 Послѣднему въ роду Горешковъ... хоть по прялкѣ! *).
 Дрожаль я, словно листъ, я всѣхъ святыхъ молилъ,
 Чтобъ Господь меня въ конецъ не погубиль—
 И божьи ангелы мнѣ Робака послали.
 Онъ выхватилъ ружье—прицѣлился едва-ли—
 И выстрѣлилъ... Теперь замѣтите: сто шаговъ;
 Стрѣлялъ онъ на бѣгу, промежду двухъ головъ;
 И прямо въ пасть попалъ и зубы вышибъ звѣрю!..
 Признаться, и теперь глазамъ своимъ не вѣрю!..
 Паны, хоть я живу давненько, но пока
 Завалъ лишь одного подобного стрѣлка,
 Того, кто былъ всегда героемъ поединка,
 Отстрѣливалъ каблукъ у дамскаго ботинка,
 Того разбойника, злодѣя, палача,
 По прозвищу—збыль, a *vulgo* «Усача».
 Но для него ужъ нѣтъ охоты иль игрища:
 Горить теперь въ аду по самыи усища...
 Честь ксенду и хвала! двѣ жизни спась онъ разомъ,
 А можетъ-быть—и три... Ни лаской, ни приказомъ

*) Геральдическое выражение «по мечу» употребляется, когда идетъ рѣчъ о мужской линии какого-нибудь рода; а «по прялкѣ», или «по кудели», когда говорится о линии женской.

Меня не подобьетъ на похвалъбу никто;
 Но—нечего таить: погибни графъ мой, то...
 Медвѣдь-бы перегрызъ Гервазіевы кости.
 Пойдемъ-ка, выпьемъ, ксендзъ, здоровье его мости!»

Но ксендза не нашли; а кто-то объяснилъ,
 Что ксендзъ къ Тадеушу и къ графу подскочилъ,
 Когда медвѣдь упалъ на вылазъ дубровы;
 Но, видя, что они и цѣлы и здоровы,
 Взоръ поднялъ къ небесамъ, молитву прошепталъ
 И—словно-бы за нимъ гналися—побѣжалъ.

1859.

IX.

КЪ **

I.

На жизненномъ пути различные судьбы—
 Какъ въ морѣ двѣ ладьи, мы встрѣтились съ тобой!

II.

Твоя, ласкаема покорными волнами,
 Извѣстной глубиной увѣренно плыветь,
 И съ флагомъ боевымъ, съ крутыми парусами
 Къ надежной пустыни свершаетъ свой полетъ!

III.

Моя жъ, опалена небесными грозами,
 Безъ веселья и руля, средь незнакомыхъ водъ,
 Съ клочками паруса, съ избитыми бортами,
 Чрезъ рифы и бурунъ летить въ водоворотъ!

IV.

Разстанемся—прости! Увидимся ль съ тобою?...
 Мяй—не догнать тебя; ты не пойдешь за мною!

КОНДРАТОВИЧ.

(Сырокомля.)

I.

ГОРСТЬ ПШЕНА.

1

Старый Щепанъ—онъ отъ вѣка
 Войтомъ *) былъ,—и то сказать,
 Что такого человѣка
 И со свѣчкой не сыскать.
 Голова! Душа прямая!
 Такъ стоялъ онъ за народъ,
 Что — прійди бѣда лихая —
 Какъ рукою отведеть.
 Было то чудно въ Щепанѣ,
 Что и панъ его любилъ,
 Да любили и міряне:
 Вотъ какъ всѣмъ онъ угодилъ.
 И подъ старость, и во младость
 Былъ имъ призрѣнъ человѣкъ...
 Только... старость-то не радость:
 Отжиль дѣдушка свой вѣкъ.
 О силенкѣ нѣть и рѣчи:
 Ужь безъ палки никуда;
 Глазъ потухъ; опали плечи;
 Побѣлѣла борода.
 Созваль міръ: „Прощайте дѣти!
 Пожилъ я на бѣломъ свѣтѣ,
 На покой пора костямъ.
 И не войти теперь я вамъ:
 Вамъ моложе войта надо.“
 Тутъ какъ крикнетъ вся громада **):

*) Войтъ—староста.

**) Громада—мірская сходка.

„Ой, пришла бѣда-бѣдой!
 Дѣдъ, помилуй, Богъ съ тобой:
 Изъ чего ты насъ морочишь?
 Словно пагубы намъ хочешь!
 Словно нашей худобѣ
 Быть радѣльцемъ не тебѣ!
 Нѣть, ужь если Бога сами
 Чѣмъ нибудь не прогнѣшимъ,
 Такъ и знай: пока ты съ нами,
 Новыхъ войтовъ не хотимъ!“
 Дѣдъ и міръ—въ переговоры,
 Въ споры, въ ссоры, въ перекоры, —
 Довели, какъ дали пить:
 Дѣду войтомъ быть и быть.
 Да на тонкомъ волосочкѣ
 Жизнь виситъ у старика:
 Даль совсѣмъ имъ—безъ отсрочки
 Выбрать, загодя—пока,
 Подставного войта, чтобы
 Не накликать послѣ ссоры,
 Браны, зависти и злобы:
 Отъ людей несешь покоръ,
 Да и Господа такое
 Несогласье прогнѣвить.
 «Ладно! слово золотое
 Молвиль Щепанъ!» міръ кричить
 «Выбрать войта! Для почина
 Недалеко и искать:
 У Щепана-же три сына;
 Парни—ничего сказать—
 Дѣло знаютъ: всѣ три брата —
 Молодецъ на молодцѣ.
 Пусть одинъ изъ нихъ, ребята,
 Будетъ войтомъ по отцѣ...
 Да который?...» Вотъ и горе!
 Стало дѣло тутъ на спорѣ:
 Каждый розно говорить,
 А на розны вѣдь нѣть закона —
 Кто Григорія кричить,

Кто Василья, кто Шимона.
 Видеть дѣдъ: «Ахти—бѣда!
 Не пошла бы потасовка...
 Тутъ споровка, да споровка..»
 Чубъ погладилъ: «Господа!»
 Перекрикнулъ всю громаду:
 «Сами знаете вы, чай,
 Что у насъ въ селѣ сподряду
 Войта къ войту подбирай...
 Ну, а что мои ребята
 Вамъ какъ-будто и рука —
 Ваша милость!... Да тропа-то
 Вѣдь до войта не близка...
 Прежде, чѣмъ служить приспѣть
 Войту новому пора,
 Пусть покажеть, коль съумѣеть,—
 Что намъ сдѣлаетъ добра?
 Да и время наступаетъ
 Больно гоже притомъ:
 Панъ Григорыя посыаетъ
 Въ Королевецъ съ байдакомъ,
 А Василія-то кетати
 Шлетъ онъ въ Krakовъ; Шимонъ въ хатѣ .
 Вотъ въ Україну бы... Ага!
 Пусть намъ соли предоставитъ—
 А въ мѣстечкѣ дорога.
 Знаю—каждый дѣло справить
 Въ томъ ужъ Божья благодать.
 Но который въ Пруссахъ, въ Польшѣ,
 Аль въ Українѣ сможетъ больше
 Намъ прибытку догадать—
 Тотъ и войть... Объ эту пору,
 Черезъ годъ, мои друзья—
 Буду живъ авось и я—
 Войта выберемъ безъ спору..»
 И громада вся молчитъ:
 Стариково слово свято...
 Съ Богомъ, войтовы ребята!
 Цѣлый міръ васъ сторожитъ.

2.

Новый годъ ужъ у подворій
 Стукъ въ ворота... Въ байдакѣ
 Съ Королевца, по рѣкѣ,
 Править старшій сынъ, Григорій.
 Міръ на дворъ къ отцу валить;
 Старый тотчасъ— меду, пива...
 И Григорій говорить
 Про три чуда, про три дива.
 «Какъ у нѣмцевъ бытъ хорошъ,
 «Какъ палаты ихъ прибраны!
 «А что шапки и кафтаны—
 «Лучше въ свѣтѣ не найдешь!
 «Какъ посмотришь на сермяги:
 «Экой крой-то! какъ сидѣть!
 «Эхъ! кафтаны хоть изъ свитъ
 «Понашли-бъ мы, бѣдняги!
 «А соломенный колпакъ—
 «Посмотрѣть— уборъ холопа...
 Вотъ у нѣмцевъ ужъ не такъ:
 «Сразу видно, что Европа!»
 Старика и не слыхать:
 Въ комелькѣ золу сгребаетъ,
 Да тихонько повторяетъ:
 «Парню войтомъ не бывать!

3.

Изъ подъ Кракова, за братомъ,
 И Василій слѣдомъ въ домъ:
 Подлетѣлъ такимъ-то хватомъ
 Что весь міръ—молчокъ-молчкомъ...
 «Вотъ-ужъ въ Краковѣ гуляка,
 «Вотъ-ужъ пѣсенникъ народъ!
 «Ну и пѣсни! Краковяка
 «Всякій хлопецъ пропоетъ!
 «А у насъ-то стонеть, стонеть
 «Наша пѣсня— просто дичь:

«Словно мертваго хоронить
 «Да въ дубравѣ будить кличъ.
 «Такъ-то братцы! Что пригоды
 «Въ старыхъ пѣсняхъ? Скажемъ такъ:
 «То-ли дѣло краковякъ?
 «Ужь одно, что хороводы!...»
 Старика и не слыхать;
 Въ комелькѣ золу сгребаетъ,
 Да тихонько повторяеть:
 «Парню войтомъ не бывать!»

4.

Вотъ и Шимонъ вслѣдъ за ними
 Изъ Украйны прикатилъ.
 Все такой-же какъ и быль,
 И какъ счастливъ со своими!
 «Хороша у нихъ земля»,
 Говорить: «озера, крѣпи *),
 «Все-то степи, все-то степи,
 «Неоглядныя поля...
 «Да чужому-то несносны:
 «И во снѣ-то видишь ты
 «Есе свои густыя сосны.
 «Холмы, рѣки и кусты.
 «Просто молвить: на Украйнѣ
 «Сынь мнѣ золото горой,—
 «Тосковать я буду втайнѣ
 «По деревнѣ по роднѣ!
 «Ну, чего тамъ много—хлѣба!
 «Рожь, что мелкій лѣсь, часта...
 «А пшеница смотрить въ небо;
 «Колосъ—толще вотъ кнута.
 «Вижу: дѣло-то пригоже—
 «И насыпь себѣ мѣшокъ:
 «Попытаемъ—можетъ, тоже
 «Намъ и выдастся годокъ—

*) Маленькия плотины.

«На украинскую мѣру...
 «Для почина и примѣру,
 «Я, сосѣдушки, всѣмъ вамъ
 «Верхомъ по горсти роздамъ...»
 Старый слушалъ и, сначала
 Весь въ раздумыи погруженъ,
 Не сказалъ ни слова онъ;
 Но скользнула—пробѣжала
 Мысль по вѣщему челу:
 «Сынъ мой Шимонъ—по селу!»

5.

Всталъ стариkъ, прослушавъ сына,
 Говорить: «Глупцовъ учить,
 Что покойниковъ лечить!
 Тотъ, кто хочетъ славянина
 По нѣмецки нарядить;
 Кто людей считаетъ тряпкой;
 Кто не съ сердцемъ ихъ знакомъ
 А съ поярковою шапкой,
 Да съ соломеннымъ шлыкомъ,—
 Тотъ и вѣкъ свой промытарить
 Чужеземцемъ на пролегть,
 Чужеземцемъ и умреть...
 Лѣтомъ зной его изжарить,
 Дождикъ осенью пробѣть.
 Тотъ еще глупый родился,
 Кто мечтаетъ, что счастливъ,
 Если только обучился
 Чужой пѣсni съ чужыхъ нихъ.
 Кто безъ слезъ и безъ усилій
 Молвить родинѣ: «прости!...»
 И Григорій, и Василій—
 Въ нихъ обоихъ нѣтъ пути...
 Но... кто родиною грезить.
 Для кого свята она,
 Кто изъ чужи въ дарь привозить
 Землякамъ хоть горсть пшена,
 Кто въ чужбинѣ неспокоењ,

Кто бѣжитъ отъ суеты,
Тотъ и войтомъ быть достоинъ:
Будешь войтомъ, Шимонъ, ты!»

И громада рѣчи рада;—
Всѣ пшеницей заняты
И кричать всѣ до упада:
«Будешь войтомъ, Шимонъ, ты?»

1858.

II.

ПАНЪ МАРЕКЪ ВЪ АДУ.

Шляхетская притча.

1.

Пане Якубе! Canonica hora *):
Значить, что надобно выпить безъ спора...
Намъ вѣдь съ тобой не знакомиться стать:
Вмѣстѣ и радость и горе дѣлили,
Медь вмѣстѣ пили и кровь вмѣстѣ лили,
Что съѣли соли — не вдругъ сосчитать,
А ужъ по свѣту шатались-шатались
Вмѣстѣ съ полкомъ, словно Марекъ въ аду —
Стало, написано намъ на роду,
Чтобъ и подъ старость за кубкомъ братались.
Пей-ка!.. Я притчу про Марка скажу.

2.

Марекъ тотъ,— чести твоей доложу—
Былъ неизвѣстно какое отродье...
Какъ прозвывали его благородье,
Что былъ за гербъ у него и печать—
Темное дѣло; а свѣтъ поболтать
Всякую-всячину любить охотно...
Только изъ шляхтичей былъ онъ отметной:

*) Выраженіе, соответствующее нашему — адмиральскій часъ.

Знатному дому былъ какъ-то сродни,
 Знаешь—по самой по линіи жалкой,
 То есть, не-то-чтобы саблей, а прылкой...
 Ну, а тщеславенъ былъ пуще вельможъ —
 Мелкую шляхту не ставиль и въ грошъ:
 За версту дворъ обѣзжаетъ сосѣдній,
 И не нахвалится панской передней.
 Вмѣсто того, чтобъ съ дѣтьми и женой
 Боршъ похлебать со свиаиной, да слѣдомъ
 Вспѣнить стопу себѣ брагой хмѣльной,
 Марекъ вздыхаетъ по панскимъ обѣдамъ,
 Старую спину сгибаеть дугой —
 Только-бъ пригубить токая отстой.
 Въ стертомъ кунтушѣ, при ржавой сабленкѣ,
 Къ замку отъ замка трусить на кляченкѣ:
 Здѣсь свадьбу празднуетъ панъ-кастелланъ,
 Тамъ—имянинникъ самъ панъ воевода...
 Разнемогись кто изъ сродичей,—анъ
 Марку заѣхать къ нему не свобода,
 Неудосужится просто никакъ:
 Къ старостѣ ъздить и лечитъ собакъ;
 Гнеть да и гнеть въ три погибели шею,
 Панамъ вельможнымъ читаетъ рацею —
 Кто былъ ихъ пращуръ, и прадѣдъ и дѣдъ,
 Какъ онъ слуга имъ и вѣрный клевретъ;
 Падаетъ до-ногъ... А паны все паны —
 Стѣнь не жалѣютъ для шляхетскихъ плечъ:
 «Пусть-молъ потрутъ наздоровье жупаны.»
 Вотъ за обѣдомъ иная ужъ рѣчь:
 Сядь, гдѣ подальше отъ пана, пріятель,
 Бишъ и насмѣшки глотай въ свой чередъ,
 Какъ подобаетъ,—на то прихлебатель!
 Что-жъ? передъ сеймомъ панъ руку пожметъ,
 Да и на сеймѣ тебя уважаетъ:
 Лобъ за себя раскроить позволяетъ —
 А раскроилъ, такъ смотри ни-ту-гу!
 Пане Якубе! Что-жъ, скажешь, я лгу?

3.

Молвить по совѣсти, всѣмъ намъ, ей Богу,
 По-сердцу панскій кусокъ даровой;
 Больше-ли, меньше-ли, всѣ понемногу
 Рады мы гнуться надъ панской сохой.
 Только панъ Марекъ, предъ ясновельможемъ
 Шляхты не числилъ творенiemъ Божымъ,
 Развѣ въ харчевнѣ, когда сгоряча
 Станетъ высчитывать знатные дома:
 Все то сенаторы, все то знакомы...
 Что-жъ, что дырява на немъ еланча!
 Всѣ съ нимъ, вотъ всѣ-то съ нимъ за панибрата,
 Словно и самъ онъ рожденъ для сената
 И для него тамъ и кресла стоять.
 Ну, проживалъ Марекъ все до полушки,
 Чествуя пановъ въ плохой деревушкѣ—
 Да вѣдь и какъ же, бѣдняжка, былъ радъ,
 Если съѣдали запасы поварни
 Панскіе слуги и панскія поварни!
 А заѣзжай къ нему шляхтичъ, свой братъ,
 Жалко поподчивать ковенскимъ медомъ.
 Вотъ если паны,—токай и токай—
 Прямо изъ Венгрии намъ подавай!
 Такъ-то онъ годъ разорялся за годомъ...
 Свѣтъ восковыхъ онъ для пановъ изжегъ
 Словно въ костелѣ какомъ—о каминѣ
 Не было даже у Марка въ поминѣ:
 Стыдно при панахъ топить камелекъ!
 Ну, а на глупый мой разумъ, такъ въ печкѣ
 Больше угрѣвы и свѣта, чѣмъ въ свѣчкѣ.
 Какъ затрешать, загуторять дрова,
 Кругомъ съ веселья пойдетъ голова.
 Если-же съ трескомъ и хрустомъ березы
 Искорки сыплются, словно фонтанъ,
 Если имъ вторить шляхетскій стаканъ—
 Все тутъ: и пѣсни, и сказки, и грезы...
 Кажется, лучше и нѣту житъя!
 Пане Якубе! Не правда-ль моя?

4.

Правда? такъ хлоннемъ еще разъ по чаркѣ!
 Я биша о чемъ говорилъ-то?.. О Маркѣ...
 Такъ-то вотъ, съ дуру, онъ брезгаль шляхтой;
 Панамъ былъ вѣрнымъ, покорнымъ слугой;
 Сабли, спины и мошны не жалѣя,
 Влѣзъ и въ долги.. это все ничего-бѣ,
 Да одолѣла болѣзнь чудодѣя —
 Померъ и чинно уложенъ былъ въ гробъ.
 Здѣсь не поплакаль никто надъ покойнымъ,
 Тамъ угодиль онъ прямехонько въ адъ,
 Или, какъ пишется слогомъ пристойнымъ,
 «Во елисейскій вступи вертоградъ».
 Умеръ бы тамъ онъ въ другой разъ съ боязни,
 Если бы могъ... Страшно!.. пламя горитъ...
 Танталъ съ Сизифомъ и казнь Данайдъ...
 Да дуракамъ не придумано казни:
 Марка толкнули куда-то... Глядить—
 Видить онъ: срублена крѣпко ограда
 Вокругъ да и около знатнаго сада;
 Садъ десятинъ эдакъ на сто разбитъ...
 Роши, лужайки, зеленый сѣни—
 Все есть... И бродятъ безплотныя тѣни
 Цѣлый громадой и тамъ вонъ, и тамъ,
 По благовоннымъ, цвѣтистымъ лугамъ.
 Встрѣтятся,—если знакомы, подходятъ,
 Машать рукой, разговоры заводятъ...
 Думаетъ Марекъ:—«Эге! и въ аду
 Можно бесѣду вести со своими:
 Семка я пановъ знакомыхъ найду,
 Да и сдружуся по прежнему съ ними,
 Нечего долго раздумывать... Ба!
 Вотъ на меня прямо катить гурьба!
 Видно по минѣ,—не то—по чупринѣ,
 Что за орлы и какого пера:
 Все воеводы, да все канцлеры,

Гетманы... Чинъ такъ и ѿдеть на чинъ...
 Что же? Мы въ грязь не ударимъ лицомъ!..
 Чу! говорять... Да и голось знакомъ...
 Венденській староста!.. *Дпло-то знамо...»*
 Думаетъ Марекъ и къ старостѣ прямо:
 «Ясновельможному пану челомъ!»
 И по давнишнему рукаъ своихъ тѣни
 Вытянулъ, старостѣ тронула колѣни;
 Да не отвѣтила тѣнь на поклонъ:
 Староста только отхаркнула вельможно
 И отошелъ—будто онъ—да не онъ,
 Будто бы съ Маркомъ и знаться не можно.
 «Староста нынче не въ духѣ.. Ну, что жъ!
 Панъ-кастелланъ завсегда былъ хорошъ».
 Думаетъ Марекъ—и маршъ къ кастеллану:
 «Падаю въ ноги вельможному пану!»
 Только знать Марку тогда не везло:
 Какъ ни вытягивалъ рукаъ своихъ тѣни,
 Какъ кастеллану ни трогалъ колѣни,
 Тотъ отвернулся, нахмуривъ чело.
 Марекъ мой далъ по саду править:
 То воеводѣ отвѣсить поклонъ,
 То передъ гетманомъ чувства заявить,
 То передъ канцлеромъ вертится онъ...
 Руки себѣ изломалъ, да напрасно:
 Съ нимъ не хотять разговаривать—ясно!..
 А межъ собою сбираются въ кругъ:
 Simili gaudent—и хохотъ и шутка—
 Свой своему поневолѣ ужъ другъ!
 Пане Якубе! Права прибаутка?

5.

Марекъ въ отчаянъ... Правду сказать:
 Если захочешь языкъ почесать,
 Да если не съ кѣмъ, такъ истая мука...
 Ну! Марекъ думаетъ, дурню наука:
 Къ панамъ таперь ужъ меня не сманить!

Вонъ собирается тамъ, подъ оливой,
 Сеймикъ шляхетскій... какои говорливый!
 Шумный какой!.. И въ костель не ходить,
 Если сейчасъ не начнуть они биться
 И, съ первой кровью, за кубкомъ мириться!..
 Къ шляхтичамъ Марекъ! къ своимъ поскорѣй!
 Чашникъ съ хорунжимъ давно замуѣли;
 Вызвалъ квартирмистра панъ казначай
 И засвѣркали у нихъ карабели... *)
 Регентъ—должно быть, царпнули разъ—
 Вопить: «прошу успокоиться васъ!»
 Вотъ и панъ мечникъ на встрѣчу шагаетъ.
 «Пану челомъ!» Марекъ мой возглашаетъ;
 Но меченосецъ—съ чего онъ такъ золь?—
 Усь закрутилъ попригладилъ чуприну,
 Брови нахмурилъ и прочь отошелъ.
 Видно, что на-сердцѣ носить кручину!»
 Марекъ подумалъ. Къ другимъ подойду.
 «Ротмистръ! Какъ можется, панъ досточтимой!»
 Ротмистръ ворчать себѣ подъ носъ—и мимо.
 Марекъ все дальше, но все, на бѣду,
 Шляхтича или едва примѣчають,
 Или не слышать, иль просто не знаютъ.
 Руку протянетъ—руки не возьмутъ
 И отвернутся... Поди-же ты тутъ!
 Марекъ съ отчаянья бухъ на колѣни:
 «Милые шляхтичи! милая тѣни!»
 Молить онъ: «сжалтесь-же вы надо мной!
 Не обращайтесь со мной такъ сурово:
 Молвите брату единое слово!»
 Тѣни качаютъ въ отвѣтъ головой,
 Да ударяютъ по саблѣ рукой.
 Такъ ему платятъ—и вѣрная плата:
 Если гордецъ убѣгаеть отъ брата,
 Всѣ гордеца отъ себя оттолкнутъ.
 Пане Якубе! По правдѣ-ли судъ?

*) Сабли съ рукояткой, осыпанной драгоценными каменьями.

6.

«Лихо-бы было всѣмъ шляхтичамъ-панамъ—
 Нѣ-зло гербовыи—пристану къ селянамъ!»
 Крикнулъ панъ Марекъ съ досады и зла:
 Видно тоска ужъ его проняла!
 Смотрить: по близости цѣлой толпою,
 У ручейка поселяне сидятъ,
 Дымъ изъ коротенькихъ трубокъ пускаютъ
 И головою въ раздумъѣ качаютъ:
 «Что-то, сосѣдушки, тамъ?» говорять:
 «Какъ-то живется родимымъ ребяткамъ?
 Мы помирали—былъ холодъ по хаткамъ,
 Да и земля-то какая—песокъ!...
 А на святого Мартина—оброкъ
 И поземельная подати тоже...
 Чѣмъ они выплатятъ, Господи Боже!»
 Такъ говорили въ смиреніи душъ
 Бѣдные люди, когда уже близко
 Былъ отъ нихъ Марекъ: завида кунтушъ,
 Съ мѣста громада поднялся, низко
 Ясному пану поклонъ отдала,
 И разбѣжалася—вся, какъ была.
 Все отъ того, понимаешь-ли пане,
 Что недовѣрчивы къ шляхтѣ крестьяне,
 Знаютъ они съ незапамятныхъ лѣтъ—
 Что до любви ихъ и дѣла намъ нѣть,
 А потому вся ихъ жизнь — лицемѣрье:
 Надо любовью купить ихъ довѣрье,
 А за холодность — холодность въ отвѣтъ.
 Пане Якубе! Что, такъ, али нѣть?

7.

Заскрежеталь-же панъ Марекъ зубами,
 Мѣрить онъ адскую область шагами:
 То отъ крестьянской толпы по пятамъ
 Гонится вслѣдъ онъ вельможнымъ панамъ,
 То, не польщенный бесѣдою панской,

Мчится опять за ватагой крестьянской,
Если-жь толпа отъ него убѣжитъ,
Шляхтичамъ кланяться бѣдный спѣшить;
Шляхтой отверженный и мужиками,
Снова торопится онъ за панами,
Такъ-то по аду панъ Марекъ снуетъ,
Такъ-то за годомъ смѣняется годъ:
Всѣ-то бесѣдой волны забавляться —
Онъ осужденъ одиноко скитаться;
Всякой, кто хочетъ, его осмѣять,
А не признаетъ, руки не пожметъ;
Братья его не считаютъ за брата.
Пане Якубе! По дѣлу отплата?

8.

Божьею волей, воспрянувъ отъ сна,
Но неземного полна обаянья,
Марка загробную казнь и страданья
Видѣла разъ монастырка одна.
Какъ преподобной сестрѣ подобало,
Духовнику она все рассказало,
Послѣ, за тайну, игуменья-мать
Тоже сподобилась какъ-то узнать;
Послѣ и прочія сестры узнали...
Чудо! о Маркѣ въ аду заболтали —
Мило-что въ городѣ — въ цѣломъ краю...
(Что, еслибы видѣли Марка въ раю?)
Съ тѣхъ-то вотъ порь и ведется присловье:
Если я мѣста себѣ не найду,—
«Мечется», скажутъ, «какъ Марекъ въ аду!»
Людямъ смѣшно, ну такъ что жъ? — На здоровье!
Да не смѣшно наказаніе снести:
Выдержалъ Марекъ жестокія битвы...
Много такихъ грѣховодниковъ есть!
Еслибы отнялъ Господь у нихъ месть!...
Пане Якубе прочтемъ три молитвы.

4 ноября 1848.

III.

ИЛЛЮМИНАЦІЯ.

ВОСПОМИНАНІЯ ПОДЪ ДОЖДЕМЪ.

1.

Стали осеннеі ноchi длиннѣе;
 Въ дрѣмѣ природа;
 Нѣ небѣ тучи чернѣй и чернѣе;
 Дождь — непогода!

Въ сумракѣ плачетъ бубеньчикъ почтовый
 Всю-то дорогу;
 Но отчего въ душѣ сумракъ суровый —
 Вѣдомо Богу!

Мечется по лѣсу вѣтеръ съ налета,
 Кружить на полѣ:
 Также и грустная мысль безъ отчета
 Кружить на волѣ.

О невозвратномъ въ душѣ зароились
 Смутныя грезы;
 Капли дождя по щекамъ покатились, —
 Или то — слезы?

Стыдно мнѣ плакать: рѣсицы закрыты,
 Все подо тьмою...
 Образъ далекій, былой, позабытый
 Всталъ передо мною...

2.

Было давно это... Такъ-же дождливо;
 Ночь, осень, слякоть,
 Только въ тѣ старые годы мнѣ было
 Не о чёмъ плакать,

Разъ на охоту друзей собралася
 Цѣлая лава;
 Я хоть стрѣлкомъ не бывалъ отродяся —
 Все-же забава.

Мигомъ собрался я вслѣдъ за ватагой;
 Въ чѣмъ была треба,
 Все взялъ съ собой: карандашъ мой съ бумагой,
 Трубку и хлѣба.

Весело было въ дорогу пуститься:
 Молоды были...
 Только до лѣсу — боюсь ошибиться —
 Двѣ иль три мили.

Вдемъ... А дождь такъ и лѣтъ, какъ изъ кадки;
 Все-то промокло...
 Плохо... Вдругъ видимъ у ловчаго въ хаткѣ
 Свѣтятся стекла.

Принялъ насть, высушилъ все до рубашки;
 Подаль закуску;
 Только и самъ ужъ охотничьей фляжкѣ
 Не далъ онъ спуску.

Мать его къ намъ пододвинулась ближе,
 Разговорилась:
 Князь Карлъ, пиры его, замокъ въ Несвижѣ—
 Все не забылось.

Давнія пышность и давнія слава!
 Шоттерты лямки,
 Съ тѣхъ поръ, какъ князь короля Станислава
 Ждалъ въ своемъ замкѣ!

Новое время — о немъ не охота
 Старой калякать,
 А о быломъ разсказала, такъ кто-то
 Просто сталъ плакать.

Скромная повѣсть, да только порою
 Сердце мнѣ точить...
 Я передалъ ее рѣчью простою...
 Слушай, кто хочетъ.

«Такъ-то! Князь Карлъ!..Онъ вытаскивалъ сѣти
 Съ звонкой монетой:
 Вамъ не слыхать, не видать вамъ и трети
 Пышности этой.

Живы Ляховичъ, Шибецкій Василій,
 Съ старымъ Францискомъ:
 Пусть вамъ разскажутъ, какъ въ тѣ поры жили
 Въ замкѣ Несвижскомъ.

Что за прпасы, за вина велися,
 Что за посуда!
 Если-же князь подъ хмѣлькомъ, такъ дивися —
 Чудо и чудо!

Да и вѣстимо: въ пирахъ и въ забавахъ
 Радость магнатамъ...
 Экъ имъ, что ходить въ ложмотьяхъ кровавыхъ
 Бѣдность по хатамъ!

4.

Помнится, годъ прожила я ужъ съ мужемъ...
 Болѣе даже...
 Только и дѣло-бывало, что тужимъ,
 Да и нельзя-же.

Борешься, борешься съ нуждой упрямой —
 Нѣть съ ней управы...
 Въ тѣ поры дворникомъ мужъ былъ у самой
 Слуцкой заставы.

Ну... Имянины на Карла святого
 Княземъ справлялись —
 Третьяго что-ль ноября, аль второго...
 Гости съѣзжались.

Мужа куда-то отправили къ спѣху...
 Да, до Люблина...
 Богъ безъ него и послаль намъ утѣху —
 Перваго сына.

Крошка былъ вылить въ отца!.. Я съ поклономъ
 Къ свату—сосѣду:
 И окрестили ребенка Антономъ
 Въ честь его дѣду.

Ахъ мой Антось... Что другіе не жили—
 Богъ бы ужь съ тѣми!
 Жалко его... Чай и косточки сгнили
 Въ мать сырой земи!

Можетъ, и жиль-бы и я-бъ не страдала,
 Да имянинъ...

Осеню оспа къ ребенку пристала,
 Такъ, безъ причины.

Панъ понимаетъ: отъ оспы успѣшно
 Можно избавить.

Только въ день Карла велять намъ поспѣшно
 Факелы справить...

Въ княжескомъ замкѣ огни запылали;
 Чернь, что есть мочи,
 Бросилась къ замку, за тѣмъ-что спускали
 Фейерверкъ къ ночи.

Такъ-то свѣтло вдругъ на улицѣ стало—
 Вотъ какъ: булавка—
 Кажется, даже и ту бы подняла...
 Въ городѣ давка!

Передъ домами столпы съ фонарями
 Въ землю вкопали;
 Дворники дружно прямыми рядами
 Ихъ зажигали.

Горе маѣ, бѣдной! На грѣхъ я немнога
 Позапоздала
 Столпъ освѣтилъ: все ребенка больного
 Тихо качала.

Мы на Подолѣ тогда проживали—
 Дѣмъ быль, какъ въ ямѣ,
 Вдругъ кто-то стукъ къ намъ въ окно! задрожали
 Стекла всѣ въ рамѣ...

На поль упало одно, зазвенѣло...
 «Гэй, ротозѣи!
 Видно заспалися? дворникъ, за дѣло!
 Свѣту живѣе!»

Что было дѣлать? какъ кинуть малютку!
Плачеть пригожий!
Тутъ-то и входить, сердитъ не на шутку,
Въ хату обхожий.

Выгналъ... Я къ факелу. Сердце нѣмѣеть
Вмѣстѣ съ руками...
Гляну въ окошко: дитя коченѣеть
Передъ глазами.

Крикомъ кричить, почернѣло, что сажа...
Всю душою
Рвешься къ нему—ратушовая стража
Ждеть за спиною.

Стала огонь раздувать я—за даромъ:
Вѣтеръ мѣшаєтъ;
Факелы около пышутъ пожаромъ—
Мой угасаетъ.

Такъ и хохочутъ кругомъ надо мною—
Смѣхъ имъ и шутка!..
Факель зажгла я, а слезы рѣкою:
Плачетъ малютка!

Вѣтеръ въ окошко на нѣжное тѣло
Холодомъ дышетъ;
Смерть къ колыбели за вѣтромъ слетѣла:
Мать-ли не слышить!

А торопиться нельзя, не вѣльши—
Сторожъ такъ страшенъ...
Къ полночи пушки, что громъ, загудѣли
Съ замковыхъ башенъ!

Тамъ—веселится все такъ и пируетъ,
Пѣсни такъ звонки...
Здѣсь—раздуваешь огонь и тоскуетъ
Мать по ребенкѣ!

Бочки изъ замка для черни прислали:
Вина, медъ старой;
Кто поважнѣе, тѣхъ въ ратушѣ стали
Подчищать чарой.

Вотъ закричали: «вивать на виватъ,
Князь благородный!».
Я—къ колыбелькъ, къ родному дитяти..
Весь ужъ холодный!

Утромъ нашъ князь провожалъ имянины;
Чернь веселилась...
Я за кладище шла съ гробикомъ сына,
Шла и молилась.

И не забыть мнѣ веселые звуки,
Крики хмѣльные,
Желтое личико, желтая руки,
Что восковыя.

Умеръ... и словно бы такъ, безъ причины...
Богу знать ближе...
Знатно, бывало, справлялъ имянины
Князь нашъ въ Несвижѣ!...

1859.

IV.

Г Р У З И Н К Ъ.

Ты вся создана для любви, но кавказскія горы
Пахнули морозомъ на сердце твое молодое,—
И вотъ—перелился весь пламень изъ сердца во взоры,
И вотъ—загорѣлись глаза твои южной звѣздою,
И стало лицо твое горнаго снѣга блѣде.
И стала коса твоя ночи беззвѣздной чернѣе:
Какъ гений Кавказа, ты блещешь красотой неземною—
Все дивно въ тебѣ, только сердце твое—ледяное.

1857.

V.

НЕВИННОЙ ДУШКЪ.

Что за радость биться съ долей?
Даль Богъ сонъ—чего-же болѣй?
Спи!.. я пѣсенку спою...

Вотъ постелька, вотъ подушка!
Спи голубчикъ, спи-же, душка!
Баю-баюшки-баю!

Міръ не спить,—хоть и зѣваетъ...
Все куда-то поспѣшаетъ...
А куда?.. на пользу чью?..
На огонь летить, какъ мушка...
Спи, голубчикъ, спи-же, душка!..
Баю-баюшки-баю!

Спи! тебѣ приснятся грезы,
Что и словъ нѣть: бѣдность, слезы—
Нѣть ихъ, также-какъ въ рак!..
Да и жизнь-то вся—игрушкә...
Спи, голубчикъ, спи-же, душка!..
Баю-баюшки-баю!

9 мая 1858.

VI.

КОРОЛЬКИ.

Пѣсня.

Какъ пошолъ я съ козаками,
Ганна говорила:
«За тебя я со слезами
«Бога умоляла:
«Ты вернешься съ первой бытвы
«Веселъ и здоровъ—
«Привези жь мнѣ за молитвы
«Нитку корольковъ!»

Богъ послалъ намъ атамана:
Сразу мы разбили
Впухъ и впрахъ все войско хана,
Городъ полонили,
Сбили крѣпкія ворота—
Пиръ для козаковъ!
У меня одна забота:
Нитка корольковъ.

Вдругъ—сама въ глаза сверкнула—
 Знать, помогъ Всевышній—
 И сама мнѣ въ горсть юркнула
 Алой, крупной вишней.
 Я добычу крѣпко стиснуль—
 Да и былъ таковъ:
 Прямо къ Ганнѣ степью свиснуль
 Съ ниткой корольковъ.

И не спрашивалъ я брода,
 Гати, или моста...
 Звонъ у нашего прихода;
 Людъ валить съ погоста --
 И кричить мнѣ вся громада
 Сотней голосовъ:
 «Ганна тамъ—и ей не надо
 «Нитки корольковъ!»

Сердце сжалось, замирая,
 Въ груди раздробленной,
 И упалъ съ коня, рыдая,
 Я передъ иконой
 Всѣхъ скорбящихъ: о пощадѣ
 Я молилъ безъ словъ,
 И повѣсили на окладѣ
 Нитку корольковъ.

9 января 1861.

VII.

КРАКОВЕЦЪ ВЪ ЛИТВѢ.

Любо, вольно намъ, краковцамъ,
 Жить, не беспокоясь;
 Только надо-жь и литовцамъ
 Поклониться въ поясъ.

Хоть на Нѣмнѣ и Виліи
 Калачи чернѣе,
 Да сердца-то золотыя,
 Даи грудь сильнѣе.

Лѣто намъ луга и нивы
Снаряжаетъ братски;
Наши молодцы игравы,
Что соколь карпатскій...

А литовцы дики, грубы,
Словно лѣсь дубовый;
Ну, и борятся, какъ дубы,
Со грозой суровой...

Краковяночкѣ-рѣзвушкѣ
Пляшется, поется
И смѣется, хохотушкѣ,
Такъ вотъ— все смѣется;

А литвинка величавой
Тихой рѣчью манить,—
И кольнетъ стрѣлой лукавой
Въ сердце, если взглянетъ.

Наша пѣсня—вся изъ смѣха,
Вся изъ юркой мысли,
А въ Литвѣ—плавнѣе эха
И волны на Вислѣ.

Кто бывалъ въ Литвѣ, конечно
Тотъ пойметъ—что значитъ,
Если съ радости сердечно
Человѣкъ заплачетъ.

1861.

VIII.

УКРАИНКѢ.

Когда молодая красотка Украины,
Съ румяными щечками, съ темной косой,
Со всѣмъ обаяньемъ украинской тайны,
Про дѣдовъ мнѣ пѣсню затянетъ порой,
И, вѣя тоскою не признанной муки,
Закаплють мнѣ на душу свѣтлые звуки,
Тогда... о, тогда я—мечтой и душой—

Въ бываломъ привольѣ Україны былой,
И хочется быть мнѣ тогдѣ гайдамакомъ,
Съ булатною саблѣй, съ лихимъ аргамакомъ.

Какъ было-бы привольно и весело мнѣ
Промчаться по степи до хаты-дымовки,
На встрѣчнѣя ласки моей чернобровки,
Въ вѣнкѣ изъ барвинокъ, въ простомъ полотнѣ:
Баранью бы шапку на брови надвинулъ,
За плечи стальное копье перекинулъ,
И мой долгогривый, по теми лѣсной,
Мелькалъ-бы, какъ молнія въ тучѣ ночной;
Спльвала-бы съ плечъ моихъ черная бурка,
А за поясъ заткнуты ножъ и бандурка,
Бандурка для пѣсень дѣвчины моей.
Туда-бы, въ Україну, въ затишье степей,
Бѣжалъ я отъ взгляда и шума людскаго,
И тамъ допросился-бы вѣщаго слова
У вѣчно-зеленыхъ, безбрежныхъ морей,
Гдѣ вѣтеръ колышетъ вѣтвями бурьяна,
Той пальмы Україны, что, съ шлема кургана,
Вѣнчаетъ, какъ памятникъ присно-живой,
Быть можетъ, могилы Мороза, Нечая,
Могилы страдальцевъ обмершаго края,
Могилы казачьей семьи удалой,
Какъ памятникъ славы и вольности дикой
И дикой поэзіи...

Но замемитъ

Мое ретивое тоскою великой,
Когда моя греза, что дымъ, улетить,
Когда многоожданное слово: «воскресни!»
Услышу въ преданіяхъ только и въ пѣснѣ...
Видаль я, какъ—пѣсней испуганы—въ высь
Срывалися соколы съ гнѣздъ и неслись,
Вращая кругомъ изумленное око,
И всѣ отлетали со стономъ далеко...
И поняль я, понять тоскливыи ихъ стонъ:
Охъ, не съ кѣмъ ужъ больше помчаться въ обгонъ.
Все минуло... только листочки калины
Шумятъ по обломкамъ былой Україны.

IX.

ПРЕЖДЕ БЫЛО ЛУЧШЕ.

Нѣтъ! село у насъ стояло
 Краше въ старину!
 Да не быть порѣ бывалой:
 Что ни дѣвка—цвѣтикъ алый,
 Что ни парень—иу!

Васъ привель Богъ умудриться,
 А посмотришь—не спорится
 Ничего-то вамъ:
 На лугу цвѣты—крапива;
 И чахоточная нива;
 И народъ-то срамъ!

Намъ, бывало, не помѣха—
 Снѣгъ и градъ съ дождемъ;
 Коль работаемъ—утѣха,
 А гуляемъ—такъ застѣха
 Ходить ходенемъ.

Нынче люди не такіе:
 За работой—что больные,
 Съ чарки—подъ столомъ...
 А могутъ дѣдовъ кости
 Почиавать на погостѣ
 Вѣковѣчнымъ сномъ!

Къ нимъ бреду въ морозъ и слякоть:
 Выпить жбанъ медку,
 По покойникамъ поплакать
 И съ могилкой покалакать—

Любо старику...

1861.

X.

КАПРАЛЬ ТЕРЕФЕРА
и
КАПИТАНЪ ШЕРПЕТЫНА.
СОЛДАТСКАЯ СКАЗКА.

I.

Хлѣбъ солдатскій—не пшеница...
А припомнишь, сердце стиснетъ:
Горько... что твоя горчица!
Ахъ слеза въ глазахъ повиснетъ
Панъ подумаетъ: такая
Наша молодость бывала,
Какъ теперь у васъ, шальная.
Что съ пеленъ старухой стала?
Нѣть! похоже, де не то-же:
Гдѣ въ васъ сила? гдѣ въ васъ вѣра?
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терѣфера!

II.

Вотъ теперъ-то мы въ невлагодѣ,
Старики совсѣмъ ослабли,
А въ двѣнадцатомъ-то годѣ.
Какъ пришла пора до сабли...
Эхъ!.. Вотъ видишъ, панъ, петличку
Съ алой лентою?.. А нутка,
Какъ я эту взялъ отличку—
Поспроси, такъ скажешь: жутко!
Да! бывало намъ негоже:
Голодъ, холодъ, лѣсъ—квартера ..
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терѣфера!

III.

Ну смоленская дорожка!..
Что ни шагъ, то перестрѣлки...
Въ ранцахъ хлѣба хоть бы крошка..

А ужъ гдѣ тутъ до горѣлки!
 Подъ усадебкой одною
 Дали роздыхъ.. Чуть свѣтаетъ..
 А казаки за спиною...
 А морозъ такъ и кусаетъ..
 Крестъ зажгли съ могилы... Что же?
 Не могилы святы—вѣра!..
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

IV.

Всѣ къ огню: хѣть у луцины,
 Да согрѣть-бы только пальцы,
 Всѣ—гасконцы, и жмудины,
 И кракусы, и вестфальцы.
 Вотъ и вспыхнулъ крестъ... Раздули...
 Хворостинокъ подложили,
 Не добромъ морозъ ругнули,
 Съ пѣсней трубки закурили...
 А иной легъ спать, да тоже
 Вѣдь и сну бываетъ мѣра...
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

V.

Легъ на снѣжной-то постели,
 Да вотъ встать—не всталъ понынѣ,
 Развѣ встанеть, въ самомъ дѣлѣ,
 Въ юсафатовой долинѣ.
 Ну, бывало, палашами
 Мы и выроемъ могилу,
 И съ молитвой, со слезами,
 Сложимъ въ снѣгъ былую силу...
 Про другихъ болтать негоже,
 А вашъ полкъ крѣпила вѣра..
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

VI.

Да, нашъ полкъ быль въ капитана:
 Что по битвѣ, что до битвы,
 Каждый день онъ, ранымъ-рано,
 Намъ велить читать молитвы,
 Если-жъ посты когда настанеть,
Nolens, volens *), а постися;
 Офицеръ его помянеть,
 А солдаты имъ клялися!..
 Человѣкъ быль въ лѣтахъ тоже;
 Рѣчь по маслу, взгляду мѣра..
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

VII.

Хоть была похмуря мина,
 Да живьемъ его изжарьте —
 Камень.... Звали Шерпетына *),
 Потому рубился *arte* **),
 Для солдатъ весь на распашку.
 Есть нужда, такъ всѣ къ нему же:
 Дасть послѣднюю рубашку....
 Передъ фронтомъ—чорта хуже!
 Голосъ нешто трубы строже —
 Оглушить и офицера....
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

VIII.

Со Смоленска—примѣчаю —
 Старый сѣль на обѣ ноги:
 Можетъ, раненъ по случаю,
 Можетъ, такъ усталъ съ дороги?
 Богъ же вѣдаешь! Примѣрно
 Такъ быль крѣпко вѣренъ роли,

*) По-русски: хотѣ, не хотѣ.

**) Шерпетына (польское *szerpetyna*)—рубецъ, зазубрина, въ переносномъ значеніи, сабля.

** i) Собственно искусно, по солдатски, ладно.

Что умри онъ съ боли—вѣрно
Не узнали бы, что съ боли.
По колѣна снѣгъ, а все же
Преть въ немъ лучше гренадера....
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

IX.

Чуть мы были на-готовѣ,
«Сняться!» крикнулъ онъ порядно:
«На плечо! Я вижу брови
Такъ и сходятся.... Не ладно!...
По шеренгамъ всѣхъ оправилъ.
«Маршь впередь!» Такой-то бравый,
Только смотримъ, анъ оставилъ
На снѣгу онъ слѣдъ кровавый..
И шатается онъ, тоже
Словно веселъ, для примѣра....
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

X.

Вотъ и сѣль онъ на дорогу,
Обвязалъ платочкомъ рану:
Я и вышелъ на подмогу,
Чѣмъ придется капитану.
А старикъ какъ крикнетъ: «Что ты!
На чужую кровь глазѣешь,
Терефера! Маршь до роты!
Тереферой, разумѣешь,
По полку прозвали тоже
Хоть меня бы, для примѣра?
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XI.

Эко зелье было злое!
Экой норовъ непреклонный!
Всталъ съ земли бодрѣе вдвое,

Зашагалъ передъ колонной....—
 Ладно! думаемъ мы: сказки!
 Невтерпѣжъ ему, баxвалитъ....
 Кровь сочится сквозь повязки;
 Усталь съ ногъ сѣдого валитъ....
 А шагаетъ.... И вѣдь что же?
 Оху нѣть! ... Не та манера!....
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

ХII.

Ну, сломила мука хвата:
 Застональ—и брякъ, что плаха!....
 Подскочили тутъ ребята—
 Кто съ усердья, кто со страха,
 Цѣлый взводъ поднять собрался:
 Самъ не можетъ встать отъ боли.
 А обозъ-то нашъ остался
 Позади, въ Смоленскѣ, что-ли.
 Съ плечь долой плащи мы: все же
 Хоть на нихъ снести командера....
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

ХIII.

Огрызнулся-жъ онъ тогда-то
 Такъ, что развѣ въ пору волку:
 —«Это что? изъ за меня-то
 Опоздать въ походъ полку!
 Прочь! Я съ вами не попутчикъ;
 Я ужъ въ спискахъ стертый нумеръ....
 Заготовьте, панъ поручикъ,
 Рапортичку, что я умеръ.
 Гробъ въ снѣгу не рыть, да тоже
 Не трубить!... Одна химера!...
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

XIV.

Павъ-поручикъ, что-жъ? по чину
Долженъ былъ его покинуть....
«Нѣтъ же!» думаю: «хоть сгину,
А ему не дамъ ужъ сгинуть!»
Подхожу къ нему—не трушу....
Говорю: «По вольной волѣ,
Панъ, сгубить задумалъ душу,
Али любы снѣгъ, да поле?»
— «Коль идти не въ мочь, такъ что же?»
— «Мы доставимъ командера...»
Ахъ ты, Господи мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XV.

— «Отойди ты прочь съ совѣтомъ,
Не болтай мнѣ ничего ты!
Мнѣ приказъ: проститься съ свѣтомъ!
А тебѣ свои заботы;
У тебя вонъ поослабли
Рекрута, да и балуютъ:
Ружья держать, словно грабли,
И гляди какъ маршируютъ—
Ни на что вѣдь не похоже!
Гдѣ ровненье, ровность, мѣра?...»
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XVI.

Говорить онъ: «Крѣпко раненъ...
Изошелъ въ конецъ я кровью...
Какъ вернешься ты сохраненъ
Къ намъ на родину, къ домовью,—
Вѣдь село тебѣ извѣстно,
Гдѣ живеть моя родная,—
Ты скажи ей: «умеръ честно,
Съ шеи крестъ снялъ, умирая:

Да хранить тебя, а тоже
Хату съ парой ульевъ, вѣра!»
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче, Терефера!

XVII.

Вся казна моя хранится
Здѣсь въ лядункѣ: ты за душку
За мою гдѣ прилучится,
На поминъ церковный, въ кружку
Опусти всѣ деньги... Надо
И ребятамъ помолиться
За меня... Прощай!... Отряда
Не видать ужъ... А отбиться
Отъ отряда не пригоже:
Долгъ и честь солдату—вѣра!...»
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XVIII.

— «Ладно, ладно, моль! проходитъ
Всѣмъ людямъ одна дорога,
А куда она приводить?
Ну, ужъ это въ руцѣхъ Бога!
Я вотъ такъ смекаю: взять бы
Капитана мнѣ на плечи,
Да вдвоемъ и дошагать бы
До больницы: не далече...
А въ снѣгу-то для чего же
Ночевать? Что за квартера?...»
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XIX.

Обозлился лютымъ бѣсомъ;
Искры сыплются отъ взгляда.
— „Дурень! полкъ подъ самымъ лѣсомъ.
Ты отстанешь отъ отряда.. .

Договай живѣ!.. Знаешь:
 За побѣгъ—арестъ и пули!»
 — «Ну, мерекаю, пугаешь,
 А не хочешь чертъ въ стулѣ?
 Взялъ его на плечи... Что же?
 Какъ эхидна, для примѣра.
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

XX.

Рвется, бьется и бранится..
 --«Пусть же,» думаю: «знать нужно!...»
 Только по снѣгу тащиться
 Было съ нимъ, ей-ей, притужно!
 Отдохнешь себѣ немножко,
 И впередъ, ажъ лобъ потѣеть
 Мили съ три я той дорожкой
 Промололъ... Старикъ слабѣеть,
 Жметъ мнѣ шею.. Да чего же?
 Вѣдь на все про все есть мѣра...
 Ахъ ты, Господи мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

XXI

Всѣдѣ за войскомъ кой-гдѣ тлѣютъ
 Огоньки; кой-гдѣ потухли;
 Трупы грудой коченѣютъ,
 Посинѣли и опухли;
 Кой-гдѣ видѣнъ слѣдѣ обоза...
 У меня сухарь остался,
 Подѣлились мы—съ мороза
 Мой старикъ проголодался;
 Пропустилъ горѣлки тоже;
 Молодцомъ сталъ, для примѣра...
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера.

XXII.

Глядь, подъ вечеръ: нась густая
 Туча войска накрываетъ;
 Знать, что конница какая...
 Шерпетына укоряетъ:
 — «Видишь, дурень, самъ на дѣлѣ,
 Какъ не слушаться приказу:
 То казаби налетѣли..
 Пропадешь задаромъ съ разу,
 Своевольникъ!... Для чего же
 Не послушалъ командера?»
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

XXIII

— «Жаль тебя!... Такія-ль лѣта,
 Чтобы прощастъ со всей семьею?...
 Да, постой, не наши-ль это?
 Я-жъ расправлюся съ тобою!»
 Вижу: валять къ намъ рядами,
 Словно по степи бураны;
 Одаль пушки; передами
 Мамелюки и уланы,
 Снѣгъ-что вихорь, воздухъ тоже
 Стономъ стонеть, для примѣра....
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

XXIV.

Глядь, какой-то всадникъ близко,
 На конѣ на бѣломъ скачеть:
 Въ сертучикѣ; шляпу низко,
 До бровей, надвинулъ, значить...
 Тутъ я крѣпко струсилъ что-то,
 Словно ставилъ жизнь на картѣ....
 — «На-краулъ!» мнѣ крикнулъ мой-то:
 «Это кесарь Бонацарте!»

Самъ долой мнѣ съ плечь, вотъ тоже,
Что змѣя, али випера...
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XXV.

Подскакаль къ намъ кесарь, грозно
Насъ обвелъ орлинымъ взглядомъ:
— «Кто такіе? Что такъ поздно?
Отчего вы не съ отрядомъ?
Я подумалъ: будь что будетъ,
Правду молвить хватить духу!
(Я тогда-панъ не забудеть—
По-французски зналъ по слуху.)
Собрался я съ силой тоже,
Начинаю, для примѣра!...
Ахъ ты, Господи мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XXVI.

Разсказалъ ему съ почина,
Что случилося въ дорогѣ,
Какъ упалъ нашъ Шерпетына,
Какъ отбился отъ подмоги,
Какъ команду я нарушилъ.
Разсказалъ все дѣло—право!
Онъ все молча слушалъ-слушалъ...
— «Ну, капраль,» промолвилъ: «Браво!»
А глаза зажглися тоже,
Что горючая вотъ сѣра....
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Терефера!

XXVII.

Разспросилъ у Шерпетыны,
Кто я, какъ служилъ, бывало?
Тотъ ему—свои причины
Про мои заслуги, стало....

Вижу я: теперь мнѣ льгота,
Нѣтъ въ немъ злости сатанинскай....
А вѣдь все бормочеть что-то
Объ ослушности воинской;
Да ужъ знать, что словомъ тоже
Не хотѣль срамить мундера ...
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Тересфера!

XXVIII.

Обнялъ самъ меня, скорѣе
Даль мнѣ крестъ своей рукою....
Это—лента: крестъ на шеѣ;
А умру я—въ гробъ сомною
Положить отлички обѣ:
Не пропасть же имъ задаромъ,
Пусть красуются во гробѣ,
На моемъ мундирѣ старомъ....
Вѣдь достались отъ кого же,
Отъ какого комантера!..,
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Тересфера!

XXIX.

Ну!... трахнулъ я головою,
Крикнулъ, словно затрубили:
— «Vivat, кесарь!» а за мною
Всѣ гвардейцы подхватили.
Насъ—въ фургоны и въ дорогу!
Довезли въ больницу рано
На зарѣ... Тамъ, слава Богу
Излечили капитана.
Опь теперь на Немѣ тоже....
Мыза.... Знатная квартера....
Ахъ ты, Господи, мой Боже!
Ахъ ты, старче Тересфера!

XXX.

А тогда-то... Вотъ быль былъ крутокъ!
 Только съ койки, для примѣру,
 Подъ арестъ на трое сутокъ,
 За ослушность Терефера!
 — «Кесарь далъ тебѣ награду,
 Говорить, и дѣло свято!
 Только вамъ-то я поваду
 Ужъ не дамъ: шалишь, ребята!...
 Ты и спась мнѣ жизнь, а все же
 Надо слушать командела...
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты, старче Терефера!

XXXI.

Да и правда! Недоуки
 Тѣ, кому люба безчинность:
 Даль Господь команду въ руку,
 Такъ справляй свою повинность!»
 Такъ гуторилъ Терефера,
 На порогѣ низкой хаты;
 Вытеръ слезы, для примѣра,
 И на посохъ суковатый
 Оперся, и стала строже
 Бровь сѣдая кавалера....
 Ахъ ты, Господи, мой Боже!
 Ахъ ты старче Терефера! *)

25 августа 1860 г.

*) Изъ многихъ стихотвореній польского писателя Владислава Сырокомли (Лудвига Кондратовича), переведенныхъ на русскій языкъ Львомъ Александровичемъ Мейеромъ.—«Кукла» была любимой пѣсой покойнаго поэта. Теперь и автора и переводчика уже нѣть въ живыхъ: они умерли въ одинъ годъ (1862), слишкомъ рано для литературы, для всѣхъ, кто зналъ и любилъ ихъ. Въ талантѣ обоихъ поэтовъ было много общаго, даже характеромъ и наружностью они походили другъ на друга, хотя никогда лично не были знакомы. Незадолго до своей смерти, Левъ Александровичъ перевелъ стихотвореніе Сырокомли «Терефера и Шершель», напечатанное въ Сѣверной Пчелѣ 1862 г. Авторъ такъ восхитился переводомъ, что тотчасъ же прислалъ Мейю стихи, въ которыхъ благодарилъ его за превосходно переданную его мысль и по-

XI.
КУКЛА.

Будь пай дитя, будь куколка исправна;
 Не плачь, а то вѣдь скажутъ, что глупа;
 Нагни ушко; послушай, что недавно
 Я слышала отъ мамы и папа.

Вотъ видишь: кромѣ новенькой бурнуски,
 Мнѣ къ празднику и ленту подарить;
 Я выучу молитвы по французски
 И обновлю въ костелѣ свой нарядъ.

Я потихоньку помолюсь въ костелѣ
 По польски: «Дай мнѣ, Боже, подросты,
 Похоропѣть, а папѣ съ мамой болѣ
 Съ небесъ кружочековъ жолтенькихъ спусти.

Они ихъ любятъ, молятся усердно
 Кладутъ на блюдо золата два, подъ часъ,
 А Божье сердце, знаешь, милосердно:
 Положишъ злотъ,—отдасть онъ во-сто разъ.

Какая ты! зачѣмъ онъ такъ поступить,
 Когда роздалъ все золото жидамъ?
 Ну, жидъ пріѣдетъ съ золотыми, и скупить
 У насъ холоповъ всѣхъ по деревнямъ.

Вѣдь ты не знаешь: мы съ тобою—пани,
 А то есть чернь—холопство и народъ;
 Они совсѣмъ другое, чѣмъ дворяне,
 И созданы работать на господъ.

Всѣ грязные, приличія не знаютъ,
 Всѣ глупы такъ, глупѣе вотъ столпа....
 А виноваты сами. Богъ караетъ
 За то ихъ, что не слушаютъ папа.

Папа лошадокъ любить, мама шпица,
 А этихъ-то, холоповъ-то, бранять,
 Да какъ вѣдь бываютъ!.. Небесная царица!
 Охъ, какъ ихъ бываютъ—и плакать не велять!..

следнюю строку этихъ стиховъ риѳмуетъ съ припѣвомъ Терефера, переведеннымъ по русски, такимъ образомъ:

«Ахъ ты, Господи, мой Боже,
 Ахъ ты, старче Терефера».

За то и бывать, что неучтивы дѣти...
 Воть и вчера: папа откушалъ чай,
 Легъ отдохнуть—вопшли мужланы эти,
 Кричатъ: панъ, хлѣба, хлѣба намъ давай!

Ну, приказалъ прогнать... и ноколотили...
 Нѣть, выросту—не лягу отдохнуть,
 Пока ихъ всѣхъ, воть—всѣхъ не накормили,
 А то подумай: можно-ли заснуть—

Когда трещить вся голова отъ стука,
 И ломится нахально въ дверь народъ?
 Не накорми—прійдетъ, пожалуй, бука,
 Возьметъ тебя въ мѣшокъ и унесеть...

Да это что!.. А какъ Христосъ-то съ неба
 Увидитъ... Онъ вѣдь поровну даетъ
 Всѣмъ бѣднымъ и голоднымъ рыбъ и хлѣба...
 Спаси насть, Богъ, и накорми народъ!..

БОГДАНЪ ЗАЛЕСКІЙ.

I.

Л Е Д А Щ А Я.

Ахъ, крикунъ мой пѣтухъ, чтобъ взяло тебя лихо!
 Не сидится тебѣ на насѣсточкѣ тихо,
 Аль не знаешь, что бѣдной мнѣ ночь коротка,
 Что мнѣ хочется спать, а постеля жестка?

Такъ-вотъ вдругъ, на зарѣ, я горошкомъ и встала!
 Не за то-ль, что вчера цѣлый день работала?
 Будто впрямь—работать велика мнѣ нужда—
 Какъ не такъ!.. Я сама пригожа, молода...

А вчера меня мать спозаранокъ гоняетъ:
 «Шла-бы жито полоть: вишь—оно поспѣваетъ».
 Не полола я жита—совсѣмъ не могла:
 Хоть ушла изъ избы, да въ бороздку легла.

Тамъ инѣ въ руки давалися сами цвѣточки,
И свивались сами въ такіе вѣночки,
Что хотѣлося только взглянуть и надѣть,
Да подумала: долго-ли такъ загорѣть?..

Я вернулася... Мать все хлопочеть, хлопочеть
По избѣ: пакормить дочку милую хочетъ
За работу, за то, что вернулась домой
Ужь такая усталая, Боже ты мой.

Вѣдь лица нѣть на ней... Улеглась я на лавку
И кота поманила къ себѣ на забавку;
Жмурюсь, жмурюсь и вижу, что къ прялкѣ ужь мать
Три кудели несетъ—и опять работать!

Только солнышко къ низу—какъ гляну я бодро,
Какъ вскочу, какъ схвачу коромысло и ведра,
Какъ порхну изъ избы удалѣй воробья,
Потому—ужь куда чернобрюва-то я!..

И ужь то на душѣ моей горя-заботы,
Да охочей чужой и повольной работы,
Что не ставлю въ укоръ парнямъ я молодымъ,
Коли ведра снесутъ мнѣ къ воротамъ самимъ.

И бранить меня мать съ темной очки до свѣта,
За moi молодыя и глупыя лѣта.
И не знаю, за что всѣ сосѣди корятъ,
И «ледаща» прямо въ глаза говорятъ.

Пусть бранятся, на сколько имъ станетъ охоты,
А ужь встать не могу я съ вчерашиней работы...
Вѣдь не знаютъ, какъ бѣдной мнѣ ночь коротка,
И какъ хочется спать, а постеля жестка.

1861

II.

Д В Ъ С М Е Р Т И.

Годъ они любились—на-вѣкъ разлучились,
И сердца обоихъ въ дребезги разбились...

Дѣвица томится во свѣтлицѣ новой,
А казакъ уложенъ мать-сырой-дубровой.

мей, т. у.

Дѣвица поникла къ пуху-изголовью,
А казакъ къ жупалу, облитому кровью.

Дѣвичьи лекарства—меди-вареницы,
А казакъ... хоть каплю-бѣ подали водицы!..

Дѣвицу семья вся съ плачемъ обнимаетъ,
А казакъ... ужъ воронъ каркнулъ и слетаетъ...

Оба отстрадали; грудь сожгло обоимъ,
И заснули оба вѣчнымъ сномъ-покоемъ.

Дѣвицу со звономъ, съ литіей зароютъ,
А казакъ... надъ бѣднымъ только волки воютъ...

Дѣвичью могилку холять и лелѣютъ,
А казачьи кости по-вѣтру бѣлѣютъ.

1861

ОДЫНЕНЦЪ.

ДѢВУШКА И ГОЛУБЬ.

Ахъ ты милой-миленький,
Ахъ ты, мой дружочекъ!
Ахъ ты непризнательный,
Бѣлой голубочечъ!

Еслибъ съ кѣмъ мнѣ вздумалось
Такъ расцѣловаться,
Развѣ-бѣ онъ изъ рукъ моихъ
Сталъ тревожно рваться?

Али бѣднымъ дѣвицамъ
Ждать-пождать напрасно,
Чтобъ любили молодцы
Беззавѣтно-страстно?

Богъ вѣсты!.. только на сердцѣ,
Что ни день, больнѣе...
Чѣмъ онъ горделивѣ
Тѣмъ мнѣ и милѣ.

Богъ съ нимъ! Пусть голубчикъ мой
Голубицу мучить,

Пусть ему и теплое
Гнѣздашко прискучить...

О, теперь по ниточкѣ
Доберусь къ клубочку,
И зато спасибо я
Молвлю голубочку.

Кто ко мнѣ привѣтливѣй,
Съ тѣмъ я буду строже:
Пусть меня полюбить онъ
Беззавѣтно то же.

Только пусть же вѣдаетъ
Тотъ, кому прискучить,
Что дѣвицу строгости
Голубочекъ учить.

1860.

РЕУТЬ.

Ж. Е Н А.

Бѣлорусская сказка.

1.

Жиль когда-то мужичокъ...
Самъ-то былъ онъ съ ноготокъ,
Да умоимъ-то съ локотокъ:
Былъ слугою вѣрнымъ пану,
Прихожаниномъ плебану. *)
Парни нынѣшніе—что?..
Всѣ пьянчуги .. и за то—
Сѣвъ у нихъ, аль имянини,
Али свадьба, аль крестины,
Али что тамъ ни на есть,
Хоть-бы воть мірская сходка—
Все у нихъ покончить водка.
Чуть къ обѣднѣ зазвонять,

*) Плебанъ—приходской священникъ.

Тутъ-какъ тутъ кромѣшный адъ:
 И въ корчмы, а не въ костелы
 Тянетъ бѣсь міранъ за полы.
 Почему же, спросимъ мы,
 Противъ папертей корчмы
 Для соблазна христіанамъ?
 Отвѣтать на это панамъ...
 Мужичокъ мой (какъ назвать—
 Не припомню)—не таковской:
 Чары не пиль онъ бѣсовской,
 Крѣпко вѣриль въ благодать
 И молился... Отчего-же
 Не молились послѣ тоже
 Хоть-бы правнуки его?
 Какъ тутъ скажешь—отчего?...
 Ну, за набожность въ награду,
 Самъ Господь его взыскаль:
 Нивѣ, пчельнику и стаду
 Стражемъ ангела послалъ.
 Сѣна—каждый взмахъ—полпуда,
 Самъ-двѣнадцать колосокъ...
 Просто жилъ царькомъ, покуда
 Не женился мужичокъ.
 «Тыфу ты, пропасть! Неужели,
 Какъ женился, такъ пропалъ?»
 —«Да ужъ такъ, коль въ самомъ дѣлѣ
 Не жену, а чорта взялъ».
 Съ первыхъ сутокъ молодая
 Показала мужу прыть:
 «Знай моль, дурень, что лиха я
 Кочергой и словомъ бить».
 Ангель видить, что лукава—
 Вразумить ее хотѣль,
 Да вѣдь бабѣ гдѣ управа?
 Поневолѣ отлетѣль...
 Что-туть? Бѣсу съ ней тогда-бы
 Врядъ-ли сладить было въ мочь:
 Онъ навѣрно въ адъ отъ бабы
 Поскорѣй ушелъ бы прочь.

Словомъ, баба вызываетъ
 На ножи изъ ничего.
 Мужъ молчитъ, хоть и страдаетъ:
 Сынъ родился у него.
 А чего отецъ для чада
 Не спесеть? И то сказать,
 Что ему сынокъ—отрада,
 И при немъ не злится мать.
 На рукахъ его качаетъ,
 И баюкаетъ отецъ:
 «Баю—баю!—припѣваетъ,
 Баю—добрый молодецъ!
 Выростай на черномъ хлѣбѣ,
 Да на нашей сельской требѣ,
 Будешь счастливъ и любимъ:
 Я и самъ бывалъ такимъ..
 Да теперь-то нездороно:
 Хатка врозвъ себѣ ползетъ,
 Что ни годъ, то и падеть
 На дворѣ моемъ корова;
 Въ ульяхъ—покотомъ пчела;
 Нива—словно не была,
 Не поднимешь ржи и новью.
 Да тебѣ-то что птенцу?..
 Пусть все сердце черной кровью
 Обольетъ тоска отцу».

2.

Минулъ годъ, другой за ними—
 Третій годъ, четвертый, пять...
 Время мчится—не видать...
 Но остались все такими,
 Какъ и были, мужъ съ женой—
 Значить: шея съ кочергой.

3.

Разъ жена и напустилась
 На супруга, словно бѣсь,
 Съ кочергой, и такъ озлилась,

Что ушель отъ ней онъ въ лѣсъ.
 Только, Господи мой Боже!
 И въ лѣсу одно и то же:
 Въ перелетномъ вѣтеркѣ
 И болтливомъ ручейкѣ
 Слышины женины угрозы;
 Кочергой глядѣть березы;
 Каждый пруть и каждый сукъ
 Мужу въ спину хлыстъ, да стукъ,
 Словно бабѣ дались въ руки.
 Молитъ бѣдный мужъ, стена:
 «Свободи, Христе, отъ муки
 Многогрѣшнаго меня!»
 Помолился такъ-то, слезку
 Рукавомъ себѣ отеръ,
 И изъ лѣсу, на просторъ,
 Вышелъ прямо къ перекрестку.
 «Наконецъ-то уголокъ
 Отыскалъ я, слава Богу!
 Тутъ авось-либо тревогу
 Милой женки голосокъ
 Бить не будетъ барабаномъ...
 Эко солнце-то! Съ небесъ,
 Что спопомъ лучай румянымъ,
 Такъ и сыплется на лѣсъ!
 И цвѣтки и травки въ полѣ;
 Шташки вольные въ кустахъ.. .
 Отчего-же я въ неволѣ,
 Отчего-же я въ слезахъ?»?
 Посмотрѣлъ—глаза-то зорки
 Послѣ слезъ: кругомъ пригорки,
 Знать могилки. На одной
 Подъ крестомъ сидѣть съ клюкой
 Ницій старецъ, бородатый,
 Изможженный и горбатый,
 И какъ бѣлый лунь сѣдой.
 Шепчетъ старецъ—что такое,
 Не разслушать издали,
 Да уста его могли

И шептать-то лишь святое,
 Такъ онъ самъ быль святы на видъ.
 Мужичокъ глядить, глядить,
 И мерекаетъ: «пожалуй,
 Онъ со мной заговорить».
 Такъ и сталося: «Что ты, малый»,
 Молвилъ старецъ: «что съ тобой,
 Что кручинный ты такой?
 Я и самъ брошу по свѣту—
 Сыть денекъ, а три дня—нѣту,
 Такъ чужую-то бѣду
 Я руками разведу:
 Разскажи-же, не таяся,
 Ты съ чего загореваль?»
 Мужичокъ нашъ отродяся
 Никому еще не лгалъ,
 И теперь всю правду-матку
 Старцу высказалъ:—«Да вотъ,
 Такъ и такъ, который годъ
 Посѣтило горе хатку
 У меня, а все жена
 И причина и вина:
 Ни любови, ни совѣта
 Нѣту съ ней... сжила со свѣта...»
 Помолчалъ тутъ старецъ —«Да!
 Говорить, твоя бѣда—
 Быль, не то-что небылица:
 Вѣдь жена не рукавица—
 Какъ ты сбросишь съ рукъ ее?...
 Да... съ ней мука—не житѣ...
 Но послушай: Богъ даруетъ
 Счастье людямъ по дѣламъ,
 По дѣламъ и наказуетъ...
 Можетъ ты невиненъ самъ,
 Да виновны дѣды были,
 Передъ Богомъ согрѣшили—
 Ты за нихъ и отвѣчай
 На землѣ, а въ небѣ—рай
 Всѣмъ, грѣхъ ближнихъ-искупившимъ,

Пострадавшимъ и любившимъ.
 Дни твои ужь сочтены—
 Ты погибнешь отъ жены:
 Тотъ, кто дерево зарубить
 Не подъ силу, тотъ погубить
 И его, да и себя...
 Но вѣдь сынъ есть у тебя,
 И счастливую судьбину
 Богъ пошлеть, быть можетъ, сыну
 Злополучнаго отца.
 «Претерпѣвый до конца—
 Той спасется!» Этимъ словомъ
 Ты, о имени Христовомъ,
 Прожилъ вѣкъ и претерпѣлъ,
 Какъ Спаситель повелѣлъ,
 И за то Господней волѣ
 Ты изъ усть моихъ внемли:
 Какъ почувствуешь, что болѣ
 Не жилецъ ужь на земли,
 Призови къ себѣ ты сына:
 Пусть при ложѣ онъ твоемъ
 Поклянется быть врачомъ
 Всѣхъ—раба и господина,
 Бѣдника и богача,
 Всѣхъ, кто требуетъ врача;
 А ему ты изъ-за гроба
 Предназначенъ помочь—
 Вотъ какъ: будете вы оба
 У одра больныхъ стоять.
 Коль увидишь, что больного
 Не смущаетъ смерти страхъ,
 Ты съ улыбкой у такого
 Долженъ будешь стать въ ногахъ.
 Коль увидишь, что больному
 Неизбѣжно смерти дань
 Заплатить пришлось, къ такому
 Въ изголовья самомъ стань.
 Этимъ сына ты избавишь
 Отъ ошибокъ и прославишь

Не простымъ его врачомъ—
 А всевѣщимъ мудрецомъ».
 Кончилъ старецъ—и мгновенно,
 Средь лазоревыхъ небесъ,
 Въ свѣтломъ облакѣ исчезъ.
 Кто былъ старецъ?—несомнѣнно,
 Этой тайны не указать...

4.

Снова годъ, другой и третій
 Пролетѣли—не видать...
 Вотъ и пять... И стали дѣти
 Ростомъ батекъ обгонять.
 Хоть прошли года, но съ ними
 Все остались такими,
 Какъ и были, мужъ съ женой—
 Значить: шея съ кочергой.
 Наконецъ—великій Боже!—
 То сбылось, что предсказалъ
 Вѣшній старецъ, и на ложе
 Мертвымъ бѣдный мужъ упалъ.
 И пора была: долгонько
 Пострадаль и потерпѣль...
 Передъ смертью онъ тихонько
 Подозрѣвать сынка успѣль,
 Говорить ему: «Сегодня
 Стало плохо мнѣ съ утра—
 Умереть пришла пора,
 И на это власть Господня...
 Такъ попомни ты о томъ,
 Что обязанъ быть врачомъ—
 Воля отчая такая,
 И прошу я, умирая:
 Нашей воли не забудь
 И обѣту вѣренъ будь».

5.

Такъ-ли, инакъ-ли, а лѣта
 Пронеслися чередомъ:

Сынь покойника врачомъ
 Сталь—и вѣсть пошла о немъ
 На четыре страны свѣта
 По затридевать земель,
 Неизвѣданныхъ досель.

6.

Вотъ, по этому-то слуху.
 Шлеть, по морю, аль по суху,
 За врачомъ своихъ пословъ
 Царь... А кто онъ былъ таковъ,
 Изъ котораго слалъ краю,
 Ужь доподлинно не знаю,
 Только вотъ его слова.
 «Пріѣзжай ко мнѣ: болѣю..
 Помоги хоть встать сперва—
 Полказны не пожалѣю!
 Не поможешь—голова
 Съ плечъ долой!»

Не убоялся
 Врачъ такихъ рѣчей царя:
 Ничего не говоря,
 Въ путь-дороженьку собрался,
 И по дальнимъ по странамъ,
 По горамъ и по морямъ,
 Ко дворцу царя добрался...
 Показали, гдѣ лежитъ
 Царь ихъ батюшка въ недугѣ,
 Всѣ дворецкие и слуги.
 Глянулъ врачъ — ань смерть стоять
 Въ изголовье у больнова,
 И совсѣмъ уже готова
 Душу царскую принять...
 Царь почти ужь и не дышетъ...
 Лекарь смерть хотѣлъ прогнать:
 Сталъ кивать ей и шептать—
 Такъ не видить и не слышитъ...
 Что тутъ дѣлать? Наконецъ
 Догадался врачъ:

«Отець!»

Говорить онъ: «ради Бога,
Ты уди—мать у порога!»
Не успѣлъ промолвить онъ—
Смерть изъ царской спальни вонъ,
Только пятки засверкали...
Что случилося потомъ,
Вы безъ настьбы угадали:
Царь съ постели молодцомъ
Встать не медля соизволилъ,
И врача онъ такъ захолилъ
Цѣлыхъ полгода, что тотъ
Отъ неслыханныхъ щедротъ
Еле-еле не рехнулся...
Какъ ужъ онъ домой вернулся—
Говорить ни то, ни се.. .
Мы не знаемъ—вотъ и все.
Намъ не все еще: два слова
Нѣтъ приходится сказать.
У врача тогда-же мать
Вышла замужъ за другова,
И другого доконатъ
Собралась было отъ скучи,
Да у ней и обѣ руки
И языкъ вдругъ отнялся...
Вотъ теперь— и все и вся.

1860.

ХОДЪЗЬКО.

МОЛОДЕЦЪ.

Съ конца въ конецъ мой конь гонецъ
Обрыскаль свѣть:
Гдѣ я леталъ, мой врагъ пропалъ—
И слѣду нѣтъ...

Въ Литвѣ, въ Руси людей спроси,
Кто вѣдалъ бой:

Чей рогъ звучить, чей конь бѣжитъ
 Вотъ такъ, какъ мой?
 Моихъ коровъ среди луговъ
 Зашла трава;
 На нивѣ рожь волнится сплошь;
 Хмѣль — деревы.
 Да и въ дому найдемъ кому
 Припрятать сотъ:
 Моя красна — что день ясна —
 Красотка ткетъ.
 Взялъ на лету я пташку ту
 Съ чужихъ полей.
 «Вотъ клѣтка — пой, простишь съ родной,
 «Да слезъ не лей!
 «Простишь съ отцомъ: за молодцомъ
 «Въ лѣса — дубнякъ.
 «Литвина знай, не знай — ласкай —
 «У насъ вѣдь такъ!

24 февраля 1858.

КРАСИНСКІЙ.

С П И Ш Ъ Т Ы.

(Dobra nos Iacenta?)

Krasinsky.

Спиши ты... Ангель ночи
 Вѣтъ надъ тобою:
 Незабудки — очи
 Оросилъ слезою.
 Косу перекинулъ
 Вкосъ по изголовью,—
 И всю душу вынуль
 Мнѣ изъ сердца съ кровью...
 Спиши ты и не слышишь...
 Только Богъ то слышитъ,
 Что, когда ты дышишь,
 Кто-то и не дышитъ...
 2-го августа 1860 г.

С Л Е З Ы.

Изъ думки Казимира Юркевича.

Зачѣмъ если въ нивѣ ты рвешь василекъ,
По зорѣкѣ росистой такъ звученъ твой голосъ,
И вся ты, голубка, нѣжнѣй чѣмъ цвѣтокъ,
Свѣжѣе росы и стройнѣе чѣмъ колось?

Зачѣмъ ты всегда весела и счастлива,
Ко всѣмъ равнодушна, на все беззаботна,
Всегда, словно птичка, рѣзва и игрива,
И Богъ вѣсть вздохнула ль хоть разъ безотчетно?

Шепнула ли слово горячей молитвы?
Отерла ль невольныя слезы на глазахъ?
Нѣть, нѣть! ты не вѣришь въ житейскія битвы,
А если и вѣришь, такъ развѣ—что въ сказкахъ.

Ребенокъ, когда въ эти дѣтскіе годы
Въ тебѣ столько силы, приманки и власти,
Чѣмъ будешь ты женщина, въ вихрѣ невзгоды
Въ душевной истомѣ, подъ бурею страсти?

Теперь передъ тобою невинные грезы
Проносятся въ образахъ легкихъ, безтѣнныхъ,
Теперь ты не знаешь, что женскія слезы
Дороже и краше жемчужинъ безцѣнныхъ

Не знаешь, но скоро узнаешь. Слезами
Тебя омывали отъ самой купели
И мать и отецъ... и, повѣрь мнѣ, надъ нами
Не вѣчно лазурныя выси горѣли.

Повѣрь, что и красное солнце порою
Свой ликъ лучезарный подъ тучами прячетъ,
И все на землѣ, подъ землей, надъ землею
Порою слезами горячими плачетъ.

Поеть свою пѣсню лѣсная пѣвица
И плачетъ; деревья, лужайки, поляны,
Цвѣточки, былинки, заря—зарянница—
Все плачетъ, хоть скрылись далеко туманы.

Да! Слезы на землю съ небесъ ниспослала
Въ усладу печали любовь вселагая...
И ярче всѣхъ звѣздъ Богоматерь сіяла,
Слезами подножье креста обливая.

Но ты все молчишь и глядишь, въ изумленыи,
Какъ-будто повѣдалъ я дивныя дива,
Какъ-будто не знаешь, что мнѣ наслажденье
Подумать, какъ ты весела и счастлива!

«Такъ что же?» ты мнѣ отвѣчаешь очами:—
«Такъ что-же, коль сердце нашлося на свѣтѣ,
Еще не облитое скорби слезами?
О, какъ вы завистливы, старыя дѣти!»

А, вотъ онъ, укоръ простодушный ребенка,
И что передъ нимъ всѣ душевныя грэзы!..
Такъ пой-же и смѣйся по прежнему звонко
И даже забудь, что и слово есть: слезы.

СЪ УКРАИНСКАГО.



ШЕВЧЕНКО.

I.

ВЕЧЕРЪ.

Вишневый садикъ возлѣ хаты;
Жуки надѣ вишнами гудятъ;
Плугъ съ нивы пахари тащать;
И распѣваючи дѣвчаты
Домой на вечерю спѣшать.

Семья ихъ ждетъ, и все готово;
Звѣзда вечерняя встаетъ,
И дочка ужинъ подаетъ,
А мать сказала бы ей слово,
Да соловейко не даетъ.

Мать уложила возлѣ хаты
Малютокъ-дѣточекъ своихъ;
Сама заснула возлѣ нихъ...
Затихло все: однѣ дѣвчаты,
Да соловейко не затихъ.

11 мая 1859.

II.

ПЛАТОКЪ.

Аль была ужь Божья воля,
Аль ея дѣвичья доля,

Что въ чужой семье вскормилась,
Съ сиротою полюбилась.
Сиротина, словно голубь,
Безталанной смотрить въ очи
И воркуетъ у сосѣдки
Съ ней съ утра до поздней ночи.
Говорили-ворковали,
Госпожинокъ поджидали.
Дождалися...

Въ Чигиринѣ
Всю Украину созвонили,
Чтобъ коней сѣдлали хлощи,
Сабли острыя точили,
На веселый пиръ сбирались,
На казацкое веселье—
На кровавое похмѣлье.
Въ воскресенье, раннимъ-рано,
Сурмы-трубы заиграли—
Съ красной зорькой компанейцы
Въ путь дорогу выступали.
Провожала мать-вдовица
Своего родного сына,
И сестра родного брата,
Сиротину сиротинка
Провожала: вороному
Налила воды студеной,
И сняла съ стѣны винтовку
Вмѣстѣ съ саблей золоченой.
Провожала за три поля,
Попрощались при долинѣ
И дала дружку платочекъ,
Чтобъ попомнилъ на чужбинѣ.
Охъ, платокъ ты мой, платочекъ,
Шитый шелкомъ по узору!
На сѣдлѣ тебѣ казачемъ
Красоваться только впору!
А она-то, сиротинка,
Опознала грусть-тревогу:

Что ни свѣтъ-заря, выходить
 Каждыи утромъ на дорогу,
 А въ воскресный день съ кургана
 Смотрить.. Очи помутились...

Черезъ два года на третій
 Компанейцы воротились.
 Рать гремитъ, гремитъ другая,
 А за третьей ратью тихо—
 (Не гляди туда, голубка!)
 Не добро везутъ, а лихо:
 Гробъ везутъ, китайкой крытый,
 И со двухъ сторонъ у гроба
 Самъ полковникъ съ старшиною
 Въ черныхъ свиткахъ идутъ оба,
 Самъ полковникъ компанейскій,
 Характерникъ съ Сѣчи—значить;
 Слѣдомъ—паны эсaulы...
 Кто идетъ за гробомъ—плачеть...
 И несутъ они доспѣхи:
 Броню крѣпкую, литую,
 Всю въ рубцахъ, въ разсѣчкахъ вражьихъ,
 Да и саблю золотую,
 А за саблей три винтовки,
 Да еще три самопала;
 И по всѣмъ по нимъ казачья
 Кровь горячая бѣжала.
 Охъ! ведутъ и воронова:
 Поразбиты всѣ копыты;
 И платкомъ шелковымъ, шитымъ
 У него сѣдло покрыто.

11 мая 1859.

III.

Б А Т Р А Ч К А.
ПОВѢСТЬ.

ПРОЛОГЪ.

Въ воскресенье, раннимъ-раномъ,
Поле крылося туманомъ;
Подъ туманомъ, на могилѣ,
Словно тополь наклонили,
Молодица молодая,
Что-то къ груди прижимая,
Говорить:

«Туманъ, туманъ,
Горемычный мой талантъ!
Что меня ты здѣсь на полѣ
Не схоронишь, не задавишь?
Въ мать сыру-землю не вдавишь?
Что мнѣ, вмѣстѣ съ злой недолей,
Вѣку не убавишь?
Нѣть, туманъ мой, не дави,
А зарой меня на полѣ,
Чтобъ никто не зналъ, не вѣдалъ
Злой моей недоли!..

Не одна я: у меня
Есть и батька и родня...
Есть еще, туманъ дружочекъ,
Некрещеный мой сыночекъ...
Не крестить, на горе злое,
Мнѣ тебя, дитя родное,
А чужимъ... Мнѣ не узнать,
Какъ тебя, дитя, и звать...
Ахъ! и я была когда-то
И счастлива и богата!
Не кляни меня постылой!
Съ неба самаго, мой милый,
Долю выплачу слезами
И пошлю тебѣ съ мольбами!“

И, рыдая, полемъ кралась,
Подъ туманомъ укрывалась,
Да сквозь слезы про вдову
Тихо напѣвала,
Какъ въ Дунай дѣтей вдова
Хоронила-клала:

«Ой—нѣ полъ могила,
По ней вдова ходила,
По ней она гуляла
Да зельица искала;

Только зелья не нашла —
Сыновей двухъ привела,
И въ китайку повила,
И къ Дунаю отнесла:

«Тихій, тихій Дунай,
Мнѣ сыновъ забавлай!
Ты, мой желтый песокъ,
Будь для нихъ ты легокъ!
Накорми, успокой
И собою укрой!»

1.

Жилъ-былъ-себѣ старикъ съ старушкой.
Они съ издавна надъ прудомъ
Живутъ на хutorѣ вдвоемъ,
Не разлучаясь другъ съ дружкой.
Дѣтьми овецъ пасли вдвоемъ,
А послѣ повѣнчались,
И своего добра дождались:
Нажили хutorъ надъ прудомъ;
Въ лѣсу садочекъ развели,
И пчельникъ обрядили —
Всего нажили;
Да Богъ обидѣлъ ихъ дѣтями,
А смерть съ косою за плечами.

Кто жъ ихъ старость приголубить?
Вмѣсто дѣтокъ станеть?

Кто заплачетъ, кто облюбить?
 Душу кто помянеть?
 Кто добро склонитъ честно,
 Въ холѣ, да въ покой?
 Кто сберечь его съумѣть,
 Какъ дитя родное?
 Тяжко, горько нянчить дѣтокъ
 Въ непокрытой хатѣ,
 А еще тяжелѣ старость
 Въ каменной палатѣ,—
 Старость, смерть, тоска-злодѣйка,
 Сирость и кручинা
 И залежная копѣйка
 На смѣхъ чужанина.

2.

Стариkъ съ старухой, въ воскресенье,
 Сидать на присыпкѣ вдвоемъ,
 Въ сорочкахъ бѣленъкихъ—чистенько...
 А солнце въ небѣ голубомъ
 Прогнало тучки: тихо тихо
 И ясно, словно бы въ раю,
 И склонилось въ сердцѣ горе,
 Какъ звѣрь въ потемномъ борѣ.

Вотъ и рай... О чѣмъ, кажися,
 Старымъ бы взгрустнулось?
 Али къ нимъ былое горе
 Въ хату навернулось?
 Аль вчерашнее, что только
 Придавили, живо?
 Аль наклонулась кручинा
 Новая на диво?

Не знаю я, какъ и почто
 Взгрустнулось старымъ? Можетъ то,
 Что собрались они ужъ къ Богу,
 Да кто жъ въ далекую дорогу
 Имъ добрыхъ коней запряжетъ?

«А кто насть, Настя, похоронить,
Когда помремъ?»

— Да Богъ вѣсть—кто.
Я—вотъ все про то смекала—
Даже грусть-тоска напала:
Одиноки, постарѣли,—
А кому добра хотѣли
И нажили? —

«Дай пеленокъ...
«Чу! въ воротахъ плачетъ
«Кто-то... Словно-бы ребенокъ?
«Побѣжимъ-ка!.. Значить—
«Угадаль я: будеть что-то:»
Оба съ мѣста разомъ
Къ воротамъ— и отступили:
Передъ перелазомъ—
Запеленанный младенецъ,
И не тugo... новой
Свиткой крыть, за одѣяло:
Видно—материно сердце
Крыло-пеленало,
Вмѣсто бѣлыхъ рукъ, младенца,
Можеть быть, послѣдней
Свиткой... Старые дивились,
Молча—и молились
О подкидышѣ-ребенкѣ,
А дитя рученки
Къ нимъ тянуло, замолкая..

«Видишь, Настя, видишь:
«Зналъ я: доля не такая
«Намъ, чтобы безъ ребенка
«Хорониться одинокимъ ..
«Отыщи пеленку,
«И неси дитятю въ хату;
«Ну, а тѣми я часами
«Погоню за кумовьями
«Въ Городище.»

Чудно что-то
 Въ жизни между нами!
 Туть иной изъ хаты сына
 Гонить, проклинает,
 А иной, сердечный, свѣчку
 Пѣтомъ добываетъ
 И, рыдаючи, становить
 Передъ образами,
 Чтобъ дѣтей даль Богъ... Да, чудно
 Въ жизни между нами!

3.

Воть на радостяхъ три пары
 Кумовьевъ набрали,
 За вечерней окрестили
 И Маркомъ назвали.
 Онь ростеть; а тутъ не знаютъ—
 Какъ и быть съ дитятей:
 Гдѣ сажать, гдѣ класть, чѣмъ холить
 Маленькаго въ хатѣ.
 Минуль годъ. Ростеть нашъ Марко;
 Дойная корова
 Отъѣдается. Вдругъ, какъ-то,
 Съ виду черноброда,
 Молода и бѣдолица,
 Входитъ молодица
 Къ старикамъ въ укромный хуторъ
 По найму проситься.
 «Али взять ее къ намъ, Настя?»
 — Что жь, Трофимъ, пожалуй:
 Мы и стары, и недужны,
 А ребенокъ малый...
 Хоть дитя и подростаетъ.
 Все-таки, вѣдь, надо
 Присмотрѣть за нимъ порядкомъ. —
 «То-то вотъ, что надо!
 «Старость точно-что не радость,
 «Какъ тамъ ни судите...

«Что же съ насъ возьмешь, голубка,

«Въ годъ?»

— А что дадите!—

«Нѣть, ты знаешь, деньги любять

«Счетъ; кто не считаетъ

«Трудовыхъ своихъ копеекъ,

«Тотъ и обнищаетъ,

«Такъ послушай-ка, голубка!

«Мы тебя не знаемъ,

«Да и ты-то насъ не знаешь ..

«Ну, а скоротаемъ

«Вмѣстѣ день, другой и третій,

«Молвимъ и про плату.

«Такъ ли, дочка?»

— Ладно, батька!—

«Ну, такъ просимъ въ хату!»

Порядились. Молодица

Бесела и рада.

Словно съ паномъ повѣнчалась,

Аль дождалась клада.

Съ утра до ночи хлопочеть

На дворѣ и въ хатѣ.

Или около скотины;

А ужъ для дитяти—

Будто мать она родная—

Не поспитъ и ночки,

Каждый день головку моеть,

Бѣлую сорочку

Каждый Божій день надѣнетъ,

Пѣсней забавляетъ

И игрушками, а въ праздникъ

Съ рукъ вотъ не спускаеть.

Старики мои дивятся—

Богъ имъ далъ подружку...

А безсонная батрачка

Грянется въ подушку,—

Проклинаетъ горе-долю

И навзрыдъ рыдаетъ,

И никто того не видить,
 И никто не знаетъ,
 Кромѣ маленькаго Марка,
 Да и онъ не знаетъ —
 Отчего его слезами
 Ночью умываетъ
 Безталанная батрачка,
 Отчего такъ жарко
 И цѣлуетъ и милуетъ?
 Да не знаетъ Марко,
 Что когда онъ въ колыбели
 Еле шелохнется
 Въ ночь глухую,—на постелѣ
 Бѣдная проснется,
 Укрывается, нѣжно креститъ,
 Колыбель колышетъ:
 Ей и сонной чутко-слышно,
 Какъ ребенокъ дышетъ.
 Но за то свои рученки
 Тянеть къ ней онъ съ-рану,
 Какъ проснется только—мамой
 Величаетъ Ганну...
 Такъ ростеть да выростаетъ
 Марко—и не знаетъ...

4.

Не мало лѣтъ перебѣжало,
 Воды не мало утекло;
 И въ хуторъ горе завернуло,
 И слезъ не мало принесло
 Старушку Настю схоронили
 И еле-еле отходили
 Трофима дѣда. Да ушло
 Куда-то горе проклятое,
 И вновь на хуторъ благодать
 Изъ лѣсу темнаго вернулась
 У дѣда въ хатѣ ночевать.

Вотъ ужъ Марко чумакуетъ,
 И подъ осень не очутишь
 Ни подъ хатою, ни въ хатѣ...
 Время думать и о сватѣ.
 «За кого жъ бы?» дѣдъ смекаетъ,
 И батрачку призываетъ
 На совѣтъ; а та бы рада
 Хоть царевну сватать:—Надо,
 Говорить, спросить у Марка,
 Кто и гдѣ его товарка?—
 «Ладно, спросимъ—и за дѣло
 «Если время подоспѣло.»

Разузнали, допросились...
 Марко—къ сватамъ. Воротились
 Съ рушниками, съ освященнымъ
 Короваемъ обмѣненнымъ;
 И просватали же панну.
 Хоть гетьману по жупану
 Просто краля дѣвка, либо
 Царь-дѣвица ..

«Ну, спасибо!»
 Молвилъ старый: «только знать бы,
 «Скоро-ль намъ дождаться свадьбы,
 «Гдѣ къ вѣнцу пойдетъ невѣста,
 «Да и въ материно мѣсто
 «Звать кого намъ? Эхъ, когда бы
 «Свѣтикъ-Настя дожила бы...»
 И залился дѣдъ слезами.
 А батрачка за дверями,
 Въ косяки вѣпясь руками,
 Словно мертвая стояла...
 «Мать... мать... мать!» она шептала,

5.

Въ тужь недѣлю молодицы
 Коровай мѣсили
 У Трофима; а старикъ-то
 Изо всей изъ силы

Съ молодицами танцуешь
 Дворъ свой подметаешь,
 Да прохожихъ, да проѣзжихъ
 На дворъ закликаешь,
 Угощаетъ варенухой
 И на свадьбу просить;
 Такъ и мечется, хоть ноги
 Еле-еле носить.
 Смѣхъ и гамъ въ избѣ у дѣда;
 Дворъ кипитъ народомъ,
 Изъ каморки новой бочки
 Выкатили съ медомъ.
 Всюду, моется, метется,
 Жарится, варится—
 Все чужими. Гдѣ жъ батрачка?
 Въ Киевъ помолиться
 Отпросилась Ганна. Старый
 Мало-ль съ ней калякалъ,
 Ублажалъ ее, а Марко—
 Тотъ такъ даже плакаль
 И въ упрощъ просилъ батрачу
 Въ материно мѣсто.
 «Нѣту, Марко, не годится,
 «Не по мнѣ невѣста:
 «Изъ семьи она богатой,
 «А вѣдь я-то что же?..
 «Надѣй тобой же посмѣются.
 Помогай вамъ Боже!
 «Я пойду молиться въ Киевъ,
 «А потомъ вернуся,
 «Если примете, къ вамъ въ хату
 «Да и потружуся,
 «Сколько хватить силъ...»

Всѣмъ сердцемъ
 Поручила Богу
 Ганна Марка... Зарыдала—
 И пошла въ дорогу...
 Принялись играть и свадьбу.
 Музикѣ работа

И подковамъ. Еаренухи
 Розлито безъ счета—
 Ею столъ и лавки моютъ.
 А бѣдняжка Ганна
 Все идетъ себѣ на Киевъ
 Спѣшино, неустанно...
 И дошла, да не на отдыхъ;
 У мѣщанки стала,
 Нанялась носить ей воду:
 Денегъ не достало
 Для акаѳиста, а также
 Дѣтямъ для подарку...
 А скопила гривень восемь—
 И купила Марку
 Камилавочку въ пещерѣ
 Старца Іоанна,
 Чтобы головка не болѣла;
 Вымѣняла Ганна
 И кольцо святой Варвары
 Для невѣстки; Богу,
 Преподобнымъ поклонилась—
 И опять въ дорогу.

Воротилась. Катерина
 Съ Маркомъ повстрѣчали
 За воротами—и въ хату,
 И за столъ сажали;
 Напоили, накормили,
 Что про Киевъ знала—
 Разспросили. Катерина
 Ей постель постлала.

«Да за что жь меня такъ любятъ,
 «Столько уважаютъ?
 «Охъ, мой Боже милосердый!
 «Можетъ, вѣдь, и знаютъ...
 «Можетъ, вѣдь и догадались...
 «Нѣть!.. Я угадала:
 «Просто добры!..»

И батрачка
Тяжко зарыдала.

6.

Трижды мерзло въ чистомъ полѣ,
Трижды отпускало,
Трижды къ Киеву батрачку
Катря провожала,
Словно мать свою; въ четвертый
Провела въ дорогу
Вплоть до поля, до кургана.
И молилась Богу,
Чтобъ скорѣй она вернулась:
Безъ нея, любимой,
Сиротливо, темно въ хатѣ,
Точно безъ родимой.

Введенье разломало ужъ леденье;
Прошла и первая недѣля, въ воскресенье
Погрѣться на завалинкѣ Трофимъ
Засѣль, въ сорочкѣ бѣлой, какъ и всякой
Честной христіанинѣ; а передъ нимъ
Малютка-внукъ игралъ съ собакой;
А внучка въ юбку Катри облеклась,
И будто бы приходитъ въ гости къ дѣду;
И онъ заводить съ ней бесѣду,
И говорить онъ съ ней, смѣясь,
Какъ и взаправду съ молодицей
«А что же ты не съ паляницей?
«Ужъ не въ лѣсу-ль кому отнять
«Пришла охота? аль забыла?
«Аль просто въ печку не садила?
«Эхъ, стыдно, право стыдно, мать!»
Ань—глядь—негаданно, нежданно—
Калитка скрипъ—и входить Ганна.
Старикъ пошоль ее встрѣчать,
А та: «что, Марко все въ дорогѣ?»

— Да, въ дорогѣ по сей часъ.—

«Вотъ и я чуть доплелась
 «Къ вашей хатѣ: стары ноги.
 «Не хотѣлось одиноко
 «Гибнуть на чужбинѣ.
 «Только-бъ Марка мнѣ дождаться...
 «Вся душа въ кручинѣ!»

И гостинцы вынимала,
 Развязавъ мѣшочекъ,
 Внучкамъ: крестики и бусы
 И шерстей моточекъ,
 И въ окладѣ изъ червонной
 Фольги образочекъ.
 А для Карпа—оловейка,
 И лошадокъ пару,
 И четвертое колечко
 Отъ святой Варвары
 Для своей для Катри; дѣду;
 На замѣнѣ подарку,
 Принесла она три свѣчки;
 А себѣ и Марку—
 Ничего: не стало денегъ...
 А самой хворалось,
 Работать была не въ силахъ.
 «Вотъ еще осталось
 «Полбаранка!»
 И внучатамъ
 По куску досталось.

7.

Входить въ хату, Катерина
 Ей обмыла ноги,
 И за ужинъ посадила—
 Закусить съ дороги;
 Да не ёсть, не пить бѣдняга.
 «Катря!» молвить Ганна:
 Скоро ль будетъ воскресенье?
 — Послѣ завтра, Ганна.—

«Отслужить акаистъ надо
 «Вешнему Николѣ
 «И частицу тоже вынуть:
 «Никогда, вѣдь, долѣй
 «Марко нашъ въ дорогѣ не былъ?..
 «Что, коль онъ недуженъ?»
 И слезами залилася.
 Ну, какой тутъ ужинъ!
 Еле-еле встала съ лавки,
 Молвить: «Катерина!»
 Охъ не та теперь я стала:
 «Извела кручинা;
 «Еле-еле носять ноги
 «Тяжко, Катря, тяжко
 «Умирать въ чужой, знать, хатѣ!»
 И слегка бѣдняжка.
 Ужъ ее и пріобщили,
 Переждавши мало,
 И соборовали также:
 Все не помогало.
 Старый дѣдъ—тотъ по подворью,
 Что убитый, бродить;
 Катерина—та съ болящей
 И очей не сводить;
 Катерина у болящей
 Днюетъ и ночуетъ.
 А сычи въ ночи на крышѣ—
 Словно сердце чуеть—
 Не къ добру кричать. Больная
 Каждый часъ, что льдина,
 Таєть, только все лепечеть
 Тихо: «Катерина,
 «Что напѣлъ Марко, не вернулся?
 «Охъ, когда-бъ я знала,
 Что дождуся и увижу,
 «Я-бы подождала!»

8.

Ёдетъ Марко съ чумаками,
 Пѣсни распѣваеть,
 Не спѣшить—воловъ дорогой
 На траву пускаеть.
 И везеть онъ Катеринѣ
 Сукнѣца цвѣтного,
 Батькѣ—пышно шитый поясъ
 Шолку дорогого,
 А батрачкѣ на очипокъ,
 Съ золотой парчею,
 Онъ везеть платочекъ алый
 Съ бѣлою каймою;
 А ребятамъ—черевички,
 Фигъ да винограду;
 А всѣмъ вмѣстѣ—не простого,
 А изъ Цареграду—
 Онъ везеть вина въ боченкѣ
 Съ три ведра, да съ Дону
 Онъ везеть икры... Не знасть,
 Подѣзжая къ дому,
 Что творится тамъ. Пріѣхалъ—
 Ну, и слава Богу!
 Отворяеть онъ ворота,
 Помолился Богу...
 «Аль не слышишь, Катерина?
 «Встрѣтила, пошла-бы.
 «Онъ приполѣ! скорѣе въ хату
 «Марка привела бы!...
 «Слава Богу, что дождалась!—
 «Долго поджидала!»
 И, сквозь сонъ какъ будто, тихо
Отче нашъ читала.

Старый сивыхъ выпрягаетъ,
 Упряжь прибираеть
 Вырѣзную. А Катруся
 Марка озираеть,

«Гдѣ же Ганна, Катерина?
 «Мнѣ по ней взгрустнулось!...
 «Ужь жива-ли?»

— Да жива-то,

Только прихворнулось
 Крѣпко ей. Покамѣсть батька
 Сивыхъ выпрягаетъ,
 Сходимъ въ хату поскорѣе:
 Ганна поджидаетъ.—

Входить Марко съ Катрой въ хату,
 Сталь онъ у порогу:
 Испугался. Ганна шепчетъ:
 «Слава... слава Богу!
 «Подойди сюда, не бойся...
 «Выди, Катерина:
 «Разспросить его мнѣ надо,
 «Рассказать кручину».

Вышла Катря, а нашъ Марко
 Подошелъ по-ближе,
 Наклонился къ изголовью.
 «Марко! погляди же,
 «Погляди ты на старуху:
 «Видишь—похудѣла?
 «Я—не Ганна, не батрачка,
 «Я...» И онѣмѣла.
 Марко плакаль и дивился...
 Вновь глаза открылись:
 Долго, пристально глядѣла—
 Слезы покатились.
 «Ты прости меня! Томиласъ
 «Вѣкъ въ чужой я хатѣ
 «Для тебя, сыночень милый,
 «Для тебя, дитяти!
 «Я... я мать твоя!» И смолкла
 Вся земля вздрогнула
 Подъ подкидышемъ... Онъ къ Ганнѣ—
 А ужь та заснула...

1859.

ГАЙДАМАКИ.

ПРОЛОГЪ.

Была шляхетчина когда-то
 Вельможной панею: вела
 Борьбу съ Москвой, съ ордой, съ султаномъ,
 Съ Нѣмецкимъ Орденомъ... Была!..
 Да что на свѣтѣ не минуетъ?
 Бывало, шляхта знай-кичится,
 И день и ночь себѣ гуляетъ,
 Да королями помыкаеть.
 Не говорю я про Стефана,
 Про Собiesкаго про Яна—
 Тѣ двое изъ ряду ужъ вонъ—
 А про другихъ. Ну, приходилось
 Бѣднягамъ молча пановатъ...
 А сеймы, сеймики ревѣли;
 Сосѣди молча дивовались,
 Какъ короли бѣгутъ изъ Польши,
 И какъ реветь безумно шляхта.

«*Nierozwalam! pierozwalam!*» *)

Крикнетъ, кто захочетъ,—
 И магнаты палить хаты,
 Карабели **) точать
 Долго такъ велося въ Польшѣ,
 Былъ урядъ таковскій—
 Наконецъ засѣль въ Варшавѣ
 Сиѣмлій Понятовскій.

Запановалъ и думаль шляхту
 Прибрать къ рукамъ... и не съумѣль!
 Хотѣлъ онъ всѣмъ добра, какъ дѣтямъ;
 Чего-нибудь еще хотѣлъ:
 Одно словечко—*pierozwalam*
 Хотѣлъ у шляхты отобрать.

*) Не позволяю, не позволяю!

**) Польская сабля съ особенной рукояткой.

Затѣмъ... вся Польша запыала,
Взбѣсилась шляхта, ну кричать:
«*Slowo honoru! darma praca* *)
Наемникъ гнусный москаль!»
На врикъ Пулавскаго и Паца
Встаетъ шляхетская земля,
И—разомъ сто конфедераций.

Разбрелись конфедераты
По Литвѣ, Волыни,
По Молдавіи, по Польшѣ
И по Украинѣ.
Разбрелись, да и забыли,
Что за волю стали—
Повязались съ жидами
И запировали:
Разоряли, убивали,
Церкви жгли-палили,
А тѣмъ часомъ гайдамаки
Ножи освятили.

1.

Г а л а й д а.

На свѣтѣ жить тажко, а хочется жить:
И хочется видѣть, какъ солнце сіяеть,
И хочется слышать, какъ море играеть,
Какъ пташка щебечеть, дуброва шумить
И какъ чернобровка въ лѣсу распѣваетъ...
О, Господи Боже, какъ весело жить!

Сирота Ярема; жизнь его убога:
Ни сестры, ни брата—никого-то нѣть;
Прихвостень жидовскій, вырось у порога,—
А не прокляль доли, и не прокляль свѣтъ
И людей. Да, впрочемъ, вѣдь они не знаютъ,
Нужно ли ласкать имъ, нужно ли казнить?

*) Честное слово! Плохо дѣло!

Водить ими доля... Пусть же ихъ гуляютъ...
 Пусть.. Да сиротѣ-то тажко въ свѣтѣ жить.
 Часомъ такъ случится: про себя рыдаешь,
 И не оттого, что сердце наболитъ,—
 Просто, что увидишь, или что узнаешь...
 И опять за дѣло. Вотъ—какъ надо жить!
 Что-туть батька, мать, высоки палаты,
 Если не-съ-кѣмъ сердце къ сердцу отогрѣть!
 Сирота Ярема—сирота богатый,
 Есть съ кѣмъ и поплакать, есть съ кѣмъ и попѣть:
 Карія есть очи—что звѣзда сіяютъ,
 Бѣлыя есть руки—млѣютъ, обнимаютъ,
 Есть дѣвичье сердце—плачеть и смѣется,
 Какъ Ярема знаетъ, какъ ему сдается.

Вотъ такой-то мой Ярема,
 Сирота богатый.
 Былъ и я такимъ, дѣвицы,
 Былъ... да вѣдь когда-то!..
 Было-было, да и сплыло,
 Было—миновалось.
 Сердце воетъ, какъ припомню...
 Что же не осталось?

Что же не осталось? Что не погодило?
 Легче бы слезами обливаться было.
 Отобрали люди: видно, все имъ мало.
 «Что ему за доля?... Закопаемъ, стало:
 Онъ и такъ богатый...»

Развѣ на заплаты
 Да на слезы... Дай Богъ ихъ не отирать!
 Доля, горе-доля! гдѣ тебя искать?
 Воротися, доля, до моей до хаты,
 Али хоть приснися... да нельзѧ и спать!

2.

Третыи пѣтухи.

Еще день бѣдную Україну
 Терзали ляхи, и одинъ,

Еще одинъ хранили тайну
Украина вся и Чигиринъ.
Прошелъ и онъ—день Маккавея,
Великій праздникъ. Онъ прошелъ—
И ляхъ съ жидами, не жалѣя,
Горѣлку кровю развелъ.
Кляли Украину, распинали,
Зачѣмъ-что нечего ужъ взять.
А гайдамаки молча ждали,
Пока гонцы залягутъ спать.
Они легли—и не гадали,
Что завтра имъ Ужъ не вставать.
Заснули ляхи, а іуды
Вѣдь не уложишь: онъ гроши
Въ потьмахъ считаетъ—барыши
Не были бъ видны добру люду.
И тѣ на золото легли
И сномъ нечистымъ задремали.

Дремлють... дай-Богъ, еслибъ на-вѣкъ задремали:
А тѣмъ часомъ мѣсяцъ выплылъ посіять,
Поглядѣть на небо, на землю, на море,
Выслушать, что будутъ люди лепетать
И потомъ поутру Богу разскажать.
Свѣтить бѣлолицый—всю онъ Украину
Видитъ... а глядѣть ли онъ на сиротину,
На Оксану нашу? Гдѣ она горюетъ?
Гдѣ голубка наша и очемъ воркуетъ?

Знаеть ли Ярема, знать ли и чуетъ?
Мы увидимъ послѣ, а теперь играть
Мнѣ пришлося пѣсню словно бы иную:
Будутъ не дѣвицы подъ нее плясать,
А попляшетъ горе. Пѣсню распѣвать
Еусть придется внукамъ, только нашимъ внукамъ—
Надо тоже внукамъ пѣсню завѣщать,
Какъ Украина встала, на смѣхъ лютымъ мукамъ,
Какъ умѣли ляховъ прадѣды карать.

Долго, долго по Українѣ
 Та гроза гремѣла;
 Долго, долго кровь степями
 Лилась и алѣла.
 Лилась, лилась—и подсохла.
 Степи зеленѣютъ;
 Дѣды спать легли, — курганы
 Въ головахъ синѣютъ.
 Ну, да что же, что высоки?
 Ихъ никто не знаетъ,
 И надъ ними не заплачетъ,
 И не разгадаетъ.
 Только вѣтеръ тихо, тихо
 Пролетить надъ ними,
 Да роса поутру рано
 Слезками своими
 Ихъ умоется. Встанеть солнце—
 Выслушить, пригрѣеть...
 А внучата? Нѣтъ имъ дѣла—
 Въ полѣ жито сѣютъ!
 Много ихъ, а кто укажеть,
 Гдѣ лежить въ могилѣ
 Гонта, мученикъ за правду?
 Гдѣ похоронили?
 Желѣзнякъ, душа прямая,
 Гдѣ опочиваетъ?
 Тяжко! больно! Все погибло—
 Ихъ не вспоминаютъ.

 Долго, долго по Українѣ
 Та гроза гремѣла;
 Долго долго кровь степями
 Лилась и алѣла.
 День и ночь подъ тѣмъ погромомъ
 Стонетъ степь и гнется,
 Грустно, страшно! а вспомянешь—
 Сердце усмѣхнется.

Мѣсяцъ ты мой ясный! съ неба на ночь эту
 Ты спустился за гору: намъ не надо свѣту:

Страшно будетъ, мѣсяцъ! хоть ты видѣлъ Рось,
 Видѣлъ Альту, Сену, какъ тамъ разлилось
 Алой крови море въ проклятую пору.
 А теперь что будетъ?.. Спрячься же за гору:
 Спрячься, мой дружочекъ, чтобы не довелось
 Намъ подъ старость плакать... Ну, а всежъ пришлось!...

Тускло, тускло въ поднебесъ
 Свѣтить бѣлолицый.
 Вдоль Днѣпра казакъ плетется,
 Можетъ, съ вечерницы.
 Онъ плетется смутный, грустный,
 Чуть волочить ноги,
 Можетъ, дѣвица не любить,
 Потому—убогий?
 Нѣть, его дѣвица любить:
 Пусть онъ весь въ заплатахъ,
 Да за то онъ чернобровый—
 Будеть изъ богатыхъ.
 Отчего жъ ему взгрустнулось,
 Отчего тоскуеть
 И едва не плачетъ? Вѣрно,
 Сердце горе чуетъ.
 Чуетъ сердце: злое горе
 Завернуло въ гости,
 Да узнай его!.. Всѣ люди
 Словно на погостѣ.
 Дремлетъ пѣвень на заборѣ,
 Дремлетъ песъ—не лаетъ,
 Только гдѣ-то издалека
 Волки завывають.
 Пусть ихъ спать... Идетъ Ярема,
 Только не къ Оксанѣ,
 Не къ Оксанѣ чернобровой,
 Что жила въ Вильшанѣ,—
 А въ Черкесы къ ляхамъ. Третій
 Пѣвень запѣваетъ...
 Ну, а тамъ... Идетъ Ярема,
 Рѣку озираетъ.

«О Днѣпръ, ты мой Днѣпръ, мой широкій, глубокой!
Довольно ты крови казачьей носилъ
Въ далекое море, дорогой далекой,
Да синее мореты все не споиль..
Сегодня упьешься. Сегодня отъ Бога
Украину ждетъ праздникъ, съ полуночи ждетъ,
Да праздникъ-то страшный.. И много и много
Прольеть она крови. Казакъ оживеть
И встануть гетьманы, въ парчевомъ жупанѣ,
И будетъ, какъ прежде, Украина жива,
И снова казакъ запоетъ не-по-тайну:
«Нѣть ляховъ съ жидами!» и снова Украину
Освѣтить, какъ въ старые дни, булава ..»

Такъ думалъ, плетяся въ дырявой рубахѣ,
Сердечный Ярема съ *священнымъ* въ рукахъ.
А Днѣпръ словно слышалъ: на всемъ на размахѣ
Горой пѣнить волны; въ густыхъ тростникахъ

Ревмя стонеть, завываетъ,
Лозы нагибаеть;
Громъ гремитъ и молоньею
Тучу раздираеть...

.

3.

Пиръ въ Лисянкѣ.

Вечерѣло. Надъ Лисянкой
Искры закружили:
Это Гонта съ побратимомъ
Трубки закурили.
Страшно, страшно закурили!
Въ адѣ не умѣютъ
Такъ курить! Болотный Тыкичъ
Кровью алѣеть
И шляхетской, и жидовской;
А надъ нимъ пылаютъ

И избушка и палаты:
 Видно, Богъ караетъ
 И большого и меньшого.
 Середи базара
 Желѣзнякъ и Гонта только
 Крикнуть: «ляхамъ кара!»
 Кара ляхамъ!»—даже дѣти
 На ножи лѣзть рады.
 Плачутъ, стонутъ ляхи, просить—
 Нѣту имъ пощады!..
 Кто съ молитвой, кто съ проклятьемъ,
 Кто надъ трупомъ брата—
 Исповѣдуются ляхи:
 Времени потрата.
 Нѣть, не милуютъ *лихie*
 Ни годовъ, ни роду,
 Ни полячки, ни жидовки...
 Кровь сочится въ воду.
 Старца-стараго, калѣки,
 Малаго ребенка
 Не осталось: всѣхъ повила
 Красная пеленка.
 Все легло на землю лоскомъ,
 Все, что живо было
 Между шляхтой и жидами...
 А межъ тѣмъ все плыло
 Выше къ тучамъ и пылало
 Зарево пожара...
 Галайда—тотъ знай рыкаеть:
 «Кара ляхамъ, кара!»
 Какъ безумный, мертвыхъ рѣжеть,
 Жжетъ, что ни попало.
 «Дайте ляха, аль іуду!
 Все мнѣ мало, мало!
 Дайте ляха, дайте крови
 Наточить съ поганыхъ!
 Море-крови... мало моря...
 Охъ, моя Оксана!

Гдѣ ты?» Крикнетъ и потонетъ
 Въ пламени пожара.
 А тѣмъ часомъ гайдамаки
 Ставятъ вдоль базара
 Столъ да столъ; несутъ припасы,
 Что добыть успѣли,
 Чтобы отъужинать засвѣтло,
 «Тѣшься!» заревѣли...
 Сѣли ужинать; кругомъ ихъ
 Адъ горить и рдѣеть.
 На рожнахъ то тамъ, то индѣ
 Панскій трупъ чернѣеть.
 Вотъ рожны и загорѣлись—
 Трупы вмѣстѣ съ ними
 На земь рухнулися. «Пейте,
 Дѣти, съ проклятыми!
 Можеть быть, еще пріедется
 Повстрѣчаться съ ними.
 Пью за трупы, пью за души
 Ваши?» восклицаетъ
 Желѣзнякъ, и жбанъ горѣлки
 Разомъ осушаетъ.
 «Пейте дѣти! пейте, лейте!
 Выпьемъ, Гонта, что-ли?
 Выпьемъ, братъ ты мой названный!
 Погуляемъ въ волю!
 Гдѣ же волохъ? пусть сыграетъ—
 Мы его уважимъ:
 Что не скажетъ онъ про ляховъ,
 Мы ему доскажемъ.
 Не про горе, потому-что
 Горя не уважимъ—
 Веселую дерни, старче,
 Чтобъ земля ломилась,
 Какъ вдовица-молодица
 Попусту томилась!

Ковзарь (*играетъ припѣвка*):

«Отъ села и до села
 Музыка и пляска:

За насьдку черевички—
 Будеть же имъ таска!
 Отъ села и до села
 Я бы расплясалась:
 Ни коровы, ни вола—
 Хата мнѣ осталась!
 Да и ту продамъ кумѣ
 Я со всѣмъ приборомъ
 И куплю себѣ шалашъ
 Прямо подъ заборомъ;
 Торговать и шинковать
 Буду я крючками,
 И тогда-то ужъ гулять
 Буду съ молодцами.
 Охъ, вы дѣточки мои,
 Охъ, вы голубятка!
 Не стыдитесь, подивитесь,
 Какъ танцуешь матка!
 Я въ наемъ пойду; дѣтей
 Въ школу... да и въ пляску—
 И червоннымъ черевичкамъ
 Я задамъ же таску!»

• • • • • • • • • • • •

Все танцуешь, все пируешь...
 Галайда-бѣдняжка
 На концѣ стола горюешь,
 Плачетъ горько, тяжко,
 Какъ ребенокъ. Отчего же?
 Въ аломъ онъ жупанѣ;
 Есть и золото, и слава—
 Не замѣнь Оксанѣ!
 Не съ кѣмъ долей подѣлиться...
 Грустно... Не поется...
 Однокимъ сиротою
 Пропадать придется
 За Оксану.

Галайда

Съ Гонтою танцуешь.
Желѣзнякъ хватаетъ кобау,
Съ кобазаремъ толкуешь:
«Попляши, а я сыграю,
Старина какъ знаю.»
И пошель слѣпой въ присядку
По всему базару—
Отдираетъ постолами,
Поддаетъ словами:

«Въ огородѣ пустарнакъ, пустарнакъ;
Аль тебѣ я не казакъ, не казакъ?
Аль тебя я не люблю, не люблю?
Аль тебѣ я черевичковъ не куплю?
Я куплю тебѣ обновку,
Распотѣшь чернобровку!
Буду, сердце, ходить,
Буду, сердце, любить!

«Ой гопъ-гопака!
Полюбила казака,
Только старый, да недюжій,
Только рыхій, неуклюжій,—
Вотъ и доля вся пока!
Доля слѣдомъ за тоскою,
А ты, старый, за водою,
А сама-то я въ шинокъ,
Да хвачу себѣ крючокъ,
А потомъ—все чокъ да чокъ:
Чарка первая коломъ,
А вторая соколомъ...
Баба въ плясъ пошла—конецъ,
А за нею молодецъ...
Старый-рыжій бабу кличетъ,
Только баба кукишъ тычетъ:
«Коль женился, сатана,

«Добывай же мнъ пшена:
 «Надо дѣтокъ пожалѣть—
 «Накормить и пріодѣть.
 «Добывай, не то — быть худу,
 «А ужъ я сама добуду...
 «А ты, старый, не грѣши—
 «Колыбельки колыши,
 «Да молчи и не грѣши.

«Какъ была я молодою, да угодницею,
 Я повѣсила передникъ надъ оконницею,
 Кто бъ ни шелъ — не минеть
 И кивнетъ, и моргнетъ.
 Я въ окошечко киваю,
 Шолкомъ въ пальцахъ вышивая...
 Охъ Семены — вы — Иваны,
 Надѣвайте-ка жупаны,
 Да со мной гулять пойдемте,
 Да присядемъ — запоемте..»

4.

Гонта въ Умань.

Проходить дни, минуло лѣто,
 А степь горитъ, да и горитъ;
 Но селамъ плачутъ дѣти: гдѣ-то
 Отцы ихъ? Богъ вѣсть! Шелестить
 Поблеклой листвою дуброва;
 Гуляютъ тучи: солнце спить —
 И не слыхать людскаго слова;
 Лишь воетъ звѣрь, идя въ село,
 Гдѣ чуетъ трупъ: не хоронили,
 Волковъ поляками кормили,
 Пока ихъ снѣгомъ занесло.
 Да бѣлы снѣги и выюга —
 Только въ помочь карѣ;
 Ляхи мерзли, а казаки
 Грѣлись на пожарѣ.

И весна пришла и ряской
 Воду принакрыла,
 Поднесла землѣ барвинокъ,
 Да и разбудила —
 Пусть сыра-земля проснется.
 Жаворонокъ въ полѣ,
 Соловей въ кустахъ — и льется
 Пѣсня ихъ о волѣ...
 Сущій рай! а для кого же?
 Для людей? Не будетъ
 Человѣкъ глядѣть... а взглянетъ —
 Божій рай осудить.
 Надо кровю подкрасить,
 Освятить пожаромъ:
 Солнца мало: рясокъ мало;
 Тучи ходятъ даромъ;
 Аду мало!... Люди, люди!
 Да когда жъ довольно
 Будеть вамъ добра Господня?
 И чудно и больно!

И весна не смыла крови:
 Злоба братьевъ вдвое —
 Не глядѣль бы; а припомнишь —
 Было такъ и въ Троѣ;
 Будеть вѣчно.

Гайдамаки
 Рѣжутъ да гуляютъ;
 Гдѣ пройдутъ — земля пылаеть,
 Кровью намокаетъ.
 Подобралъ Максимъ сыночка —
 Вспомнить Украина!
 Хоть не сынъ родной Ярема
 Рѣжетъ — и литуетъ —
 Со священнымъ на пожарахъ
 Дноеть и почуетъ.
 Не помилуетъ, не минетъ
 Ляха проклятого:

Онъ за ктитора имъ платить,
 За отца святого,
 За Оксану... И шатнется,
 Вспомнивъ про Оксану,
 А Максимъ: «Гуляй, сыночекъ!
 Если не устану,
 Погуляемъ!»

Погуляли!

Купа подлѣ купы,
 Вплоть отъ Кіева на Умань
 Протянулись трупы.
 Словно туча Гайдамаки
 Умань обложили
 О полуночи; съ зарею
 Умань запалили, —
 Запалили, закричали:
 «Кара ляхамъ! Крови!»
 Покатились по базару
 Конны *народowi*,
 Панны, малые ребята,
 Хворые калѣки.
 Снова громъ — и на базарѣ
 Рѣки крови, рѣки!
 Въ бродъ ихъ Гонта переходить
 Съ удалымъ Максимомъ
 И кричать вдвоемъ: вотъ такъ-то,
 Такъ имъ, нечестивымъ!»
 Вотъ волочатъ гайдамаки
 Ксендза-іезуита
 И двухъ мальчиковъ. «Эй, Гонта!
 Вотъ твои сынки-то!...
 Вѣть католики: самъ знаешь —
 Дѣти католички.
 Ты нась рѣжешь — ихъ бы кстати,
 Благо невелички!
 Отчего жъ ты ихъ не рѣжешь?
 Подрастутъ, такъ сами
 На тебя поднимутъ руки
 Съ нашими ножами».

— Пса убейте, а щеняньто
 Я—своей рукою...

Кличь громаду! Признавайтесь,
 Дѣти, предо мною:
 Вы—католики?—« Да. тятя!
 Мать нась окрестила...»
 — Замолчите!.. Знаю! знаю!
 Боже ты мой милый!
 (Собралися гайдамаки.)
 — Нѣту имъ пощады!..
 Чтобы не было измѣны,
 Господа громада,
 Присягалъ я, взявъ священнай...
 Дѣти католички...
 Охъ, вы, дѣти, вы, сыночки,
 Что вы невеличкн?
 Что не рѣжете вы ляховъ? —
 — Будемъ рѣзать, тятя!»
 — Нѣть, не будете вы рѣзать!..
 Пусть мои проклятья
 Поразять ту католичку,
 Что васъ породила!
 Отчего она съ зарею
 Васъ не утопила?
 Вы бы умерли безгрѣшно,
 Не еретиками;
 А сегодня... не на радость
 Встрѣтился я съ вами!
 Васъ присяга убиваеть,
 А не батька, дѣти. —
 Ножъ поднялся—и малютокъ,
 Не было на свѣтѣ.
 И невинные малютки,
 Падая, шептали:
 « Тятя, тятя, мы не ляхи,
 « Мы...»—и замолчали.
 « Хоронить ихъ?»—Нѣть не надо:
 Дѣти католички...

Сыновья мои! чего вы
Были невелички? —

• • • • •

Всѣ гуляютъ. Гдѣ же Гонта?
Что онъ не гуляетъ?
Что не пьеть онъ съ казаками?
Что не распѣвается?
Нѣть его; теперь бѣднягѣ
Гонтъ не до пѣсенъ...

Кто тамъ бродить въ черной свиткѣ
Посреди базара?
Кто тамъ сталъ надъ грудой труповъ,
Въ заревѣ пожара?
Долго ищетъ онъ кого-то,
Проклятую купу
Мертвыхъ лаховъ разгребаетъ...
Отыскалъ... Два трупа—
Двухъ подростковъ взялъ на плечи,
И позадъ базара
Черезъ мертвыхъ онъ шагаетъ,
Середи пожара,
За костеломъ. Кто же это?
Гонта, горемъ битый:
Хоронить дѣтей несетъ онъ,
Чтобъ землею крыты
Были, чтобъ казачье тѣло
Стая псовъ не ъла.
И по улицамъ, по темнымъ,
Гдѣ не такъ горѣло,
Гонта несъ дѣтей на плечахъ,
И отъ люду крылся,—
Не видали бы, какъ старый
Гонта прослезился,
Хороня дѣтей. Онъ вынесъ
Дѣтокъ въ поле прямо,
Прочь съ дороги, и *священный* —
Въ землю: будеть яма...

Онъ копаетъ и копаетъ...
 Уманъ все пылаеть,
 Свѣтить Гонтѣ на работу...
 Отчего же въ свѣтѣ,
 Въ этомъ заревѣ кровавомъ,
 Гонтѣ страшны дѣти?
 Отчего жь онъ, словно крадеть,
 Или кладъ хоронить,
 Даже струсить, если вѣтеръ
 До него догонить
 Крики, пѣсни гайдамаковъ?...
 Онъ дѣтей хоронить,—
 Онъ глубокую имъ хату
 Роеть; въ темной хатѣ,
 Не глядя, кладеть—знать слышить:
 «Мы не ляхи, тятя!»
 Уложилъ; досталъ китайку
 Изъ кисы; лобзаетъ
 Мертвыхъ въ очи, и китайкой
 Алой накрываетъ,
 Крестить...

—Дѣти! поглядите

Вы на Украину:
 За нее вы сгibли, дѣти,
 За нее я сгину!
 Да меня-то кто скhоронить
 На чужомъ на полѣ,
 Какъ я васъ, и кто заплачетъ
 По моей по долѣ?
 Спите, дѣти, почивайте!
 Вамъ постель—могила!
 Сука-мать другой постели
 Вамъ не обрядила.
 Безъ вѣночковъ—vasilechkovъ,
 Безъ калины, дѣти,
 Спите здѣсь, моля у Бога,
 Чтобы на этомъ свѣтѣ
 Покараль меня жестоко
 За грѣхи за эти...

Что католики вы были,
 Вамъ прощаю, дѣти!—
 И заравниваетъ землю,
 Чтобы враги не знали,
 Гдѣ зарыты дѣти Гонты,
 Гдѣ ихъ погребали.
 —Спите дѣти! батьку ждите:
 Скоро будетъ... что же?
 Скороталь вашъ вѣкъ я, только
 И меня ждеть тоже,
 И меня убьють... Схоронять...
 Кто? и самъ не знаю...
 Гайдамаки!.. Охъ, еще разъ
 Съ ними погуляю!—
 И пошелъ убитый Гонта.
 Шагъ—и спотыкнется.
 Свѣтить зарево—оинъ глянетъ,
 Глянетъ—усмѣхнется.
 Страшно, страшно усмѣхался...
 На степь оглянулся,
 Слезы вытеръ, и въ пожарномъ
 Дымъ окунулся.

ЭПИЛОГЪ.

.

Погуляли гайдамаки,
 Лихо погуляли:
 Чуть не годъ шляхетской кровью
 Вдоволь наводняли
 Украину, и замолкли—
 Ножъ свой иззубрили.
 Нѣту Гонты; крестъ не блещеть
 На его могилѣ.
 Буйны вѣтры разметали
 Пепель гайдамака,
 Больше некому молиться
 Слезно: нѣть и знака,

Гдѣ тотъ пепель... Въ цѣломъ свѣтѣ
 Только братъ названный,
 Только онъ одинъ заплакалъ:
 Зналъ, какъ окаянныи
 Ляхъ замучилъ Гонту-брата
 Муками такими,
 Что и онъ заплакалъ, съ роду
 Въ первый разъ.. Богъ съ ними,
 Со слезами! Ихъ не вытеръ
 Желѣзнякъ... а вскорѣ
 Самъ зарылъ онъ въ чуждомъ полѣ
 И тоску, и горе.
 И простились гайдамаки
 Съ той желѣзной силой,
 Что они прикрыли слезно
 Насыпной могилой...
 А простились— и пропали,
 Словно не бывали...

И однимъ-одинъ Ярема;
 Онъ одинъ, мой жалкой,
 Отъ могилы не отходитъ:
 Подпершия палкой,
 Долго онъ стоитъ. «Спи, батька,
 На чужомъ на полѣ—
 На своеемъ ужъ нѣту мѣста,
 Нѣту мѣста волѣ.
 Спи, казакъ, коль спать охота!
 Припомнить кто-то!...»

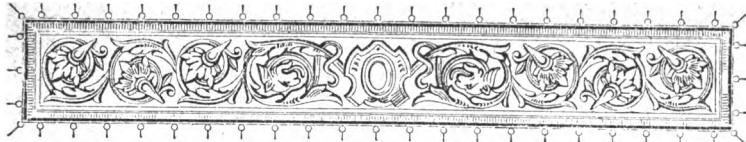
И пошелъ онъ степью; слезы
 Сердце отирало.
 Онъ оглядывался долго—
 И его не стало...
 И въ степи одна могила
 Съ вѣтромъ говорила.

Такъ въ Украинѣ гайдамаки
 Засѣвали жито,

Только жать-то не пришлося:
 Градомъ, знать, побито..
 Правда сгинула въ подросткахъ,
 Кривда повивала...
 Разошлися гайдамаки,
 Кто куда попало.
 Разошлися гайдамаки
 По своимъ жилищамъ.
 Кто домой, а кто въ дуброву --
 Ножъ за голенищемъ
 Доконать жидовъ проклятыхъ,
 Доконать безбожье...
 А тѣмъ временемъ сломили
 Наше Запорожье:
 Кто къ Кубани, кто къ Дунаю..
 Только и остались
 Что пороги середь степи.
 Ревма-разрыдались:
 «Схоронили нашихъ дѣтокъ,
 И до нась добрались!»
 Ревма-воють—пусть ихъ воють:
 Ихъ пора минула...
 А Украина ихъ на вѣки
 Вѣчные заснула.
 Съ той поры по всей Украинѣ
 Жито зеленѣеть.
 Нѣть ни слезъ, ни грозъ, ни грома.
 Только вѣтеръ вѣтъ,
 Гнѣть деревья по дубровѣ,
 Травку середь поля.
 Все замолкло... Пусть и смолкнетъ:
 Видно, Божья воля!

1860.

НАРОДНЫЯ ПЕСНИ.



ЩЕГОЛЕВЪ.

ПѢСНЯ.

Охъ, былъ конь и у меня—
Весь изъ полымя-огня,
Были сабля и винтовка
И колдунья-чернобровка.

Турокъ борзаго словилъ,
Ляхъ мнѣ саблю изрубилъ,
А винтовка изломалась,
А колдунья отурчалась.

По Буджацкимъ по степямъ
Путь казацкимъ бунчукамъ,
А мнѣ путь одинъ—сь сохою,
По-надъ нивою сухою.

Гей, гей, гей, воль чорный мой!
Долго намъ пахать съ тобой...
Вѣтеръ вѣтеть-повѣваетъ...
Котелочекъ закипаетъ...

Кто бѣ меня повеселилъ—
Хлѣбъ-соль вмѣстѣ раздѣлилъ?
Ой, кто въ полѣ—покажися!
Кто въ дубровѣ—отзовися!

Никого... Въ дубровѣ гуль;
Мѣсяцъ въ облачко нырнуль;
Вѣтеръ вѣтеть-повѣваетъ;
Котелочекъ простываетъ...

1859.

РУСНАЦКІЯ ПѢСНИ.

I.

У сосѣдки сынъ молодчикъ—
Хата съ хатой рядомъ;
У сосѣда дочь красотка—
Садъ сошелся съ садомъ.

Вѣтъ вѣтеръ съ полуночи—
Старики за сказки;
Вѣтъ вѣтеръ со полудня—
Молодежь за ласки.
— Милый по саду гуляетъ,
Смотрить къ намъ въ окошки:
Я, дѣвица, вышла въ сѣни,
Стала на порожкѣ.

— Съ милымъ другомъ перемолвить
Слово я хотѣла,
Да отецъ въ саду работалъ:
Я и не посмѣла.

Сизый голубь по застрѣхѣ
Ходить, да воркуетъ;
Сизу-голубю Аньютѣ,
Смѣючись, толкуется:
„Охъ, голубчикъ сизокрылый,
Ворковать умѣешь,
А небось къ намъ подъ окошко
Прилетѣть не смѣешь?“

„Для тебя-ли, голубочка,
Для воркунья-птички,
На окошкѣ я разсыплю
Проса и пшенички:
„Ты не бойся, мой голубчикъ,
А—какъ сядеть солнце—
Прилетай ко мнѣ, дѣвицѣ,
Прямо подъ оконце!“

Голубочку на заст्रѣхъ
И отцу сѣдому
Не въ домекъ дѣвичьи рѣчи,
Да въ домекъ милому:

Не слетѣлъ клевать пшеничку
Голубь сизокрылый,
А пришелъ со мной, дѣвицей,
Цѣловаться милый.

1849.

II.

— Что-это не слышно Наны голосочка?
Затяни намъ пѣсню, маленькая дочка!

«Во саду-садочкѣ
Выросла малинка:
Солнце ее грѣеть,
Дождичекъ лелѣеть.
Въ свѣтломъ теремочкѣ
Выросла Нанинка:
Тятя ее любить,
Маменька голубить.»

— У малютки Наны пѣсенки—малютки:
Малы, да пригожи, словно незабудки.
1855.

МОРАВСКІЯ ПѢСНИ.

I.

У молодки Наны
Мужъ, какъ лунь, сѣдой...
Старый мужъ не вѣритъ
Женкѣ молодой:

Разомъ домекнулся,
Что не будетъ прокъ—
Глазъ съ нея не спустить;
Двери на замокъ.

«Отвори каморку—
Я чуть-чуть жива:
Что-то разболѣлась
Сильно голова—

«Сильно разболѣлась,
Словно жаръ, горить...
На дворѣ погодно:
Можетъ, освѣжить.»

— Что-жъ? открай окошко,
Прохладись, мой свѣтъ!
Хороша прохлада,
Коли друга нѣть!

Нана замолчала,
А въ глухой ночи
Унесла у мужа
Стараго ключи

«Спи, голубчикъ. съ Богомъ,
Спи, да почивай!»
И ушла тихонько
Въ дровянной сарай.

— Ты куда ходила,
Нана, со двора?
Волосы—хоть выжми:
Шубка вся мокра...

«А телята наши
Со двора ушли,
Да куда жъ?—къ сосѣдкѣ
Въ просо забрели.

«Загнала на силу:
Разбѣжались все...
Я и перемокла,
Ходя по росѣ!»

Видно—лучше съ милымъ
Хоть дрова щепать,
Чѣмъ со старымъ мужемъ
Золото считать.

Видно—лучше съ милымъ
Голая доска,
Чѣмъ со старымъ мужемъ
Два пуховика...

1856.

II.

Лучше куколя пшеница—
Лучше вдовушки дѣвица;
Лучше золото свинца—
Лучше молодецъ вдовца.

1856.

III.

«Тятенька-голубчикъ, гдѣ моя родная?»
— Померла, мой свѣтѣкъ, дочка дорогая!

Дочка побѣжала прямо на могилу,
Рухнулася на-земь, молвить черезъ силу:

«Матушка родная, вымолви словечко!»
— Не могу: землею давить мнѣ сердечко...

«Я разрою землю, отвалю каменье...

«Вымолви словечко, дай благословеніе!»

— У тебя есть дома матушка другая.

«Охъ, она не мать мнѣ—мачиха лихая!

«Только зубы точить на чужую дочку:

«Щиплеть, коли станеть надѣвать сорочку;

«Чешетъ — такъ подъ гребнемъ кровь ручьемъ сочится;

«Рѣжетъ ломоть хлѣба—ножикомъ грозится!»

1856.

ВОЛЫНСКІЯ ДУМЫ.

I.

Въ полѣ широкомъ желѣзомъ копыть

Взрыто зеленое жито...

Тамъ, подъ плакучей березой, лежить
Молодецъ, тайно убитый.

Молодецъ, тайно убитый, лежить.
Тайно въ траву склоненый:
Весь онъ, бѣдняжка, китайкой накрыть,
Тонкой китайкой червонной.

Воть подъ березу дѣвица пришла—
Розой она расцвѣтала—
Съ молодца тихо китайку сняла,
Страстно его цѣловала.

Воть и другая дѣвица пришла—
Глазки сияли звѣздами—
Съ молодца тихо китайку сняла,
Вся заллася слезами.

Третья пришла—и горѣлъ ея взоръ...
Молвила: «спитъ—не разбудишь...
Спи, мой молодчикъ: теперь трехъ сестеръ
Больше любить ты не будешь!»

1856

II.

Пташка въ полѣ, рыбка въ тинѣ
Рѣзвится на волѣ...
Одному мнѣ, сиротинѣ,
Нѣть на свѣтѣ доли.

Осѣдаю я, дѣтина,
Съ ночи вороного...
«Отпуская, старуха, сына,
Снаряжай родного.»

Сына мать благословляла
Въ дальний путь-дорогу,
Цѣловала-миловала,
Поручала Богу.

Мчится подъ небомъ туманнымъ

Соколь: «Соколина!

Ты летъль надъ полемъ браннымъ:

Не видаль ли сына?

— Видѣлъ: спить онъ съ полуночи —

Въ головать ракита;

Удалому вырвалъ очи

Воронъ-ненасыта.

Какъ всплеснетъ она руками:

«Охъ, вы, дѣти, дѣти!

Пропадать теперь мнѣ съ вами

Сиротой на свѣтѣ!»

1858.

III.

Петь и пляшетъ казакъ

И волынщикамъ такъ

Говорить: «удружите—

«Чернобровкѣ шепните,

«Что изъ плохонькихъ я —

«Не гожуся въ мужья —

«Казачина убогой,

«И добра-то немного.

«На дворѣ сто воловъ,

«Да безъ счету коровъ;

«Коны въ холѣ — въ приборѣ;

«Скринка злотыхъ въ каморѣ»

Вѣсть — что чайка — летить...

Чернобровка бѣжитъ,

Въ попыхахъ и въ весельѣ,

Приготавливать зелье.

Изъ подъ бѣлыхъ камней

Накопала корней,

У рѣки ихъ расклала —

Въ молокѣ чаровала.

— Мой милой далеко...
 Закипай, молоко,
 Передъ свадьбой мою...
 (А казакъ ужъ за нею.)

— Что тебя принесло —
 Сивый конь, аль весло?
 «Принесла меня доля,
 «Да Господня воля:

«Вѣкъ съ тобой вѣковать,
 «Вѣкъ тебя миловать,
 «Холить, нѣжить, покоить,
 «Хату новую строить.»

1858.

ЭННИ ЛЕХРОЕНЬ.

ШОТЛАНДСКАЯ ЛЕГЕНДА.

«Кто мнѣ стройную ногу обуеть теперь?
 Кто перчатку по бѣлой рукѣ приберетъ
 И надѣнетъ? Кто станъ мой кругомъ
 Новымъ лондонскимъ поясомъ весь обовьетъ?

«Кто серебрянымъ новенькимъ гребнемъ пройдетъ
 Бѣлокурой мою косой?
 Кто замѣнить отца для малютки, пока
 Грегори не вернется домой?»

— Энни! стройную ногу обуеть отецъ,
 Мать перчатку по бѣлой рукѣ приберетъ
 И надѣнетъ; а станъ твой сестра
 Новымъ лондонскимъ поясомъ весь обовьетъ.

— Я серебрянымъ новенькимъ гребнемъ пройду
 Бѣлокурой твою косой;
 Богъ замѣнить отца для малютки, пока
 Грегори не вернется домой.

«Охъ! когда бы корабль — да корабль снарядить,
 Да охочихъ людей подобрать, —

Полетѣла бѣ къ милому на всѣхъ парусахъ,
Коль не въ мочь самому у меня побывать.»

И отецъ снарядилъ ей летучій корабль:
И несетъ его къ берегу тихо волна...
Энни на руки сына-малютку взяла,
И простилася съ отческимъ кровомъ она.

Вотъ и паруситъ по морю съ мѣсяцъ она,
Али мало-чѣмъ больше,—и вотъ
У жилья Грекори, противъ самыхъ воротъ,
Снаряженный корабль пристаетъ.

Ночь потемна была; вѣтеръ холоденъ быль;
Милый Энни давно уже спаль;
Да проснулся малютка у ней на рукахъ,
Началъ биться и крикомъ-кричалъ.

У воротъ, на замокъ запертыхъ,
Энни долго, какъ будто на спицахъ стоитъ..
Наконецъ вышла мачиха друга ея
И окликнула!—Кто-тамъ стучить?

«О! я, Энни Лехроэнъ, подруга твоя..
Прилетѣла къ тебѣ по волнамъ,
И малютку съ собой на рукахъ привезла:
Отвори поскорѣе же намъ.»

— Отойди, отойди ты, и сгинь-пропади!
Не къ добру ты стучишься у нашихъ воротъ
Ты колдунья, ты—вѣдьма проклятая, ты...
Ты—исчадье нечистое водъ. —

«Не колдунья, не вѣдьма проклятая я,
Не исчадье нечистое водъ, —
Но я—Энни Лехроэнъ твоя:
Не держи же меня у воротъ».

— Если Энни Лехроэнъ доподлинно ты,
Хоть тебѣ и не вѣрю ни въ чемъ, —
Расскажи мнѣ: какія мы рѣчи вели,
Какъ сидѣли съ тобою вдвоеемъ?

«О! да развѣ не помнишь ты, мой Грегори,
 Какъ мы вмѣстѣ сидѣли съ тобой за столомъ.
 Какъ тогда обмѣнялись салфетками мы?
 Вѣдь и дней-то немнога промчалось потомъ...

— И салфетка была у тебя хороша,
 И на шеѣ пригодна была для стола;
 Только лучше вѣдь кембрика крученый шелкъ
 И моя-то шелковая лучше была.

«И ужъ будто не помнишь ты, мой Грегори?..
 А не помнишь, такъ я расскажу,
 Какъ съ тобой перстеньками мѣнялися мы,
 Да ужъ кстати и твой перстенекъ покажу...»

— Твой хороши перстенекъ и казистъ —
 Весь изъ краснаго золота, весь онъ литой,
 Да вѣдь мой-то получше: въ моемъ перстенекѣ
 Въ то же золото вправленъ алмазъ дорогой.

„Отодвинь же скорѣй, милой мой Грегори,
 Отодвинь ты запоръ у воротъ:
 Не отдвинешь — на холодѣ наше дитя
 Скоченѣть совсѣмъ и умретъ“.

—Отойди, одойди ты, и сгинь-пропади:
 Ко стыду ты у нашихъ воротъ!
 Приглядѣль я другую подругу себѣ,
 А тебѣ — отъ воротъ поворотъ.

„Приглядѣль ты другую подругу себѣ,
 Насмѣялся надъ клятвой святой,—
 Такъ прощай же, обманщикъ лихой, Грегори!
 Не видаться намъ больше съ тобой...“

О, какъ скоро, какъ скоро она
 Къ кораблю добѣжала, а тамъ,
 Добѣживши, всю волю дала
 Неустаннымъ, горючимъ слезамъ...

„Золоченную мачту снимите скорѣй—
 Деревянной простой мнѣ довольно: не стать

Съ золоченою мачтой по морю везти
Опостылую мужу супругу и мать“.

Грегори пробудился отъ крѣпкаго сна
И сказалъ своей мачихѣ онъ:
„Этой ночью все сердце въ конецъ сокрушилъ
Мнѣ недобрый пророссийскій сонъ.

„Мнѣ приснилось, что Энни Лехроэнъ моя,
Изъ цвѣтовъ ненаглядный цвѣтокъ,
На порогѣ стоять у моихъ у воротъ
И никто не впускаетъ ее за порогъ“.

—Это вѣдьма — не Энни Лехроэнъ твоя—
Замышляла глаза тебѣ сномъ отвести:
Постояла она у твоихъ у воротъ—
Ну, а въ домъ не хотѣла войти.

„Перестань же ты, злостная женщина, лгать,
И умри лютой смертью за то, что ты зла:
Не хотѣла красавицы Энни впустить
И меня разбудить не могла“.

Быстро, быстро съ постели онъ всталъ,
И стерпѣть ему было не въ мочь:
Побѣжалъ онъ на берегъ, а Энни его
Отплываетъ отъ берега прочь.

„Энни! Энни! Куда ты, куда?“
Крикнулъ онъ изо всѣхъ своихъ силъ.
Только — ахъ! — чѣмъ онъ громче кричалъ,
Тѣмъ быстрѣе корабль уходилъ.

„Энни! Энни! Куда ты, куда?
Перемолвись хоть словомъ со мной!“
Только — ахъ! — чѣмъ онъ громче кричалъ,
Тѣмъ все выше вздыпался прибой.

Вѣтеръ крѣпнетъ и море реветъ,
И корабль закружило собой —
Какъ взглянула Грегори, а ужъ Энни его
Унесло бѣлоглѣнной волной.

Смотрить онъ: и малютка у ней на рукахъ;
 Вмѣстѣ ихъ съ корабля унесло...
 Поднялъ руки онъ къ верху и бросился вмигъ—
 Въ клокотавшее моря жерло.

Энни за косу русую крѣпко схватилъ
 И примчалъ ее къ берегу онъ,
 Да еще не доплылъ, а у ней каждый членъ—
 Смертнымъ холодомъ былъ ужъ сведенъ.

Цѣловалъ, цѣловалъ онъ ей щеки сперва,
 А потомъ пряди косы золотыхъ,
 И тоскливо онъ въ губы ее цѣловалъ,
 Да дыханья-то не было въ нихъ.

Цѣлый день просидѣлъ онъ надъ Энни своей,
 Такъ что солнце ужъ сѣло и пала роса...
 Вздохъ послѣдній тутъ сердце ему разорвалъ—
 И умчалась душа въ небеса...

19 сентября 1861.

ИТАЛЬЯНСКІЙ НАРОДНЫЙ ГИМНЪ.

Къ оружью! къ оружью! Разверзлись могилы—
 Проснулись былые, загробныя силы:
 Воскресли всѣ тѣни страдальцевъ отчизны—
 И пѣть укоризны ихъ празднѣмъ мечамъ.
 Вѣнки на ихъ чelaхъ, а въ сердцѣ ихъ— пламя
 Любви къ согражданамъ... Поднимемъ же знамя
 Италии прежней, во имя народа,
 И здравствуй свобода—на гибель врагамъ!

Врагъ, Италію оставь ты:
 Бновь опа свободы дочь!
 И пока еще есть время,
 Убѣгай скорѣе прочь!

Царица цвѣтовъ, вдохновенія и звуковъ,
 Побѣдный щитъ предковъ возьми ты для внуковъ—
 Вѣка сотней узъ на тебѣ тяготѣли;

Но вдругъ загремѣли Ленъяно мечи...
 Напрасно забылъ ты, коварствуя, нѣмецъ,
 Что въ нашей Италии ты—чужеземецъ,
 Что стануть позорны ей, поздно иль рано,
 Оковы тирана и всѣ палачи!

Врагъ, Италію оставь ты:
 Вновь она свободы дочь!
 И, пока еще есть время,
 Убѣгай скорѣе прочь!

Зачѣмъ же въ чужомъ поселился ты краѣ?
 Дома эти наши; твои—на Дунай;
 На немъ твои нивы и семьи, а наши—
 Быть можетъ—и краше, да нужны самимъ...
 Два моря и Альпы—Италіи грани:
 Скорѣй же огнемъ и желѣзомъ, граждане,
 Пробьемъ Апенниновъ упорную груду,
 И знамя повсюду свое водрузимъ!

Врагъ, Италію оставь ты,
 Вновь она свободы дочь!
 И, пока еще есть время,
 Убѣгай скорѣе прочь!

Будь нѣмы уста и будь быстры десницы—
 И врагъ намъ очистить всѣ наши границы,
 И кончится власти намъ чуждой безчинство:
 Гдѣ мысли единство, тамъ нѣтъ пришлецовъ!
 О рабствѣ позорномъ не будетъ помина;
 Народъ итальянскій сольется въ-едино,
 И вольно задышать одною душою
 И жизнью одною всѣ сто городовъ!

Врагъ, Италію оставь ты:
 Вновь она свободы дочь!
 И, пока еще есть время,
 Убѣгай скорѣе прочь!

1862.

ПРЕДЧУВСТВИЕ.



ПРЕДЧУВСТВИЕ.

Рассказъ камергера короля Станислава Августа.

(Съ польского).

Въ молодыхъ моихъ лѣтахъ я помню одного изъ нашихъ сестръ, сѣдого, какъ лунь, старика, котораго всѣ называли пажомъ камергеромъ. Весь женскій полъ питалъ къ нему глубокое уваженіе и ставилъ его въ примѣръ молодежи за его юморъ, за любезное обращеніе въ обществѣ, за остроумные анекдоты о времени Станислава Августа, за превосходное владѣніе французскимъ языкомъ, и наконецъ — за изысканную опрятность и за умѣніе одѣваться. — Постоянно свѣжіе жабо и манжеты, напудренная голова, лакированные сапоги со скрипомъ и отворотами, фракъ особеннаго цвѣта и пестрые камзолы не могли не нравиться панамъ сравнительно съ неуклюжими симарами, уродливыми фраками и душными галстуками усатыхъ нашихъ сестръ. Правда, эти усачи говорили громко и много, но большую частью нечего было ихъ слушать. Итакъ я сказалъ, что прекрасный полъ ухаживалъ за старишкомъ и называлъ его своимъ камергерчикомъ. Но мужчины, или изъ того, чтобы идти на перекоръ дамамъ, или изъ зависти къ свѣтскому лоску старого камергера, отзывались о немъ слегка, особенно же записные помѣщики и скопидомы. Доставалось бѣдному старцу и за то, что протеръ онъ глаза наследственнымъ дѣдовскимъ денежкамъ и одѣвъ за другими спускалъ помѣстья на разныя любовныя шашни, да на заграничныя поѣздки. Вотъ и теперь, добавляли они, остался у него всего-на-все одинъ выселокъ, а онъ все еще не научился хозяйничать и не

выбить барства у себя изъ головы: вмѣсто того, чтобы встать по-раньше, надѣть сафьяные сапоги, осмотрѣть амбары и житницы, заглянуть на кухню, онъ спить до десятаго часа, рядится каждый день какъ кукла, сыплетъ пудру на голову и приказываетъ читать себѣ французскія книжки. Такъ-то обыкновенно осуждали его за-глаза; а въ глаза были съ нимъ необыкновенно вѣжливы, потому что стариkъ внушалъ всякому невольное уваженіе, если не достаткомъ, такъ учтивостью и значеніемъ въ свѣтѣ. Осуждать его осуждали, а жить безъ него не могли. Семейный-ли праздникъ, крестины-ли, свадьба-ли, масляница-ли подойдетъ, дѣло безъ него не обходилось, потому что никто не умѣлъ забавлять такъ общество. И кому же было удерживать безъ него шумливыхъ гостей въ достодолжныхъ границахъ, кого посадить на первое мѣсто за столомъ, кого поставить въ первой парѣ полонеза? Словомъ, шамбелянъ былъ душой нашего околодка и солнцемъ, около котораго все вращалось. Съ дѣтства я привыкъ называть его дѣдушкой и уважать его, какъ будто онъ былъ мнѣ дѣдомъ и взаправду. Онъ меня также очень полюбилъ, бралъ меня къ себѣ на-домъ, читывалъ со мною книжки, рассказывалъ о чужихъ краяхъ, о людяхъ, съ которыми сталкивался въ большомъ свѣтѣ, а иногда, вечеркомъ, при огни камелька, припомнить свои старыя приключенія, и для меня они казались гораздо занимательнѣе, чѣмъ книжные рассказы. Я съ нетерпѣніемъ ожидалъ, чтобы на камергера нашла повѣствовательная минута, тѣмъ болѣе, что онъ облекалъ свой разсказъ въ такую изящную форму, какъ будто находился въ кругу самыхъ избранныхъ слушателей и въ великосвѣтскомъ салонѣ. Никогда въ самомъ дружескомъ кругу не разставался онъ съ своими дворскими приемами и съ цѣлтистою рѣчью, а постоянно держался своего правила, что порядочный человѣкъ долженъ быть всегда однимъ и тѣмъ же, и съ самимъ собою и въ присутствіи постороннихъ. Быстрота соображенія и свѣжая память позволяли ему забавлять меня, какъ гостя, самыми разнородными воспоминаніями. Правда, гостю было не болѣе девяти-десати лѣтъ, но стариkъ всегда умѣлъ найти какойнибудь разказецъ, доступный понятіямъ ребенка. Позднѣе, когда изъ меня сложился юноша и я прїезжалъ изъ школы на вакацію, не одинъ вечеръ проводилъ я съ старикомъ и наслушался отъ него достаточно вольныхъ разсказовъ о любовныхъ похожденіяхъ. Надобно припомнить, что значительная часть его жизни протекла въ эпоху явнаго разврата, что съ него не могъстереться окон-

чательно отпечатокъ этой эпохи, такъ что старику трудно было помириться съ современнымъ пуританизмомъ и не преслѣдовать его подъ-часъ остроумными нападками. „Если мы, говоривалъ онъ, дурачились и безчинствовали въ старое время, такъ наше легко-мыслie было чисто поверхности и не вліяло на то, что въ глубинѣ души мы привыкли считать неприкосновенною святынею; конечно, теперь наружность стойчески сурова, да внутри-то все меньшe и меньшe святыни. Прежде, добавлялъ онъ, было растлѣніе тѣлесное, теперь—духовное.

Не разъ спорилъ я съ нимъ до слезъ и приводилъ аргументы усвоенные въ школѣ, говорилъ о прогрессѣ, о духовномъ освобождѣніи отъ предразсудковъ и тѣсныхъ рамокъ мысли, глядѣлъ ему въ глаза съ юношеской горделивостью, а онъ только усмѣхался и стоялъ на своемъ: „Поживешь подальше, узнаешь свѣтъ, такъ убѣдишься, что стариkъ былъ правъ.“ Особенно разгорячился онъ на меня, когда я разъ завелъ рѣчь о примѣтахъ, предчувствiахъ, о сюевѣріи, о явленiи духовъ, и сталъ доказывать, что все это вздорные вымыслы, недопускаемые здравымъ разсудкомъ, а лучше сказать—допускаемые, какъ чистая нелѣпца.

„Если тебя этому тамъ учать, напустился на меня стариkъ, заложивши руки за-спину, жаль мнѣ тебя: какъ поживешь своимъ умомъ, прійдется тебѣ отучаться отъ многаго. Ясное солице правды свѣтить на всѣхъ одинаково, а тебя поучаютъ бѣлымъ даемъ съ фонаремъ ходить. Ходи—себѣ, доискивайся, пясняй: посмотримъ, далеко-ли уйдешь? Убѣждать мнѣ тебя нечего, и пользы нѣть: кого влечетъ потокъ современности, тому не мѣшаеть разокъ другой захлебнуться, и дна не достать—самъ призоветъ на помощь дѣтскую простоту и вѣру малыхъ.... А теперь хочется мнѣ познакомить тебя съ долей житейской правды: расскажу тебѣ давнишній случай... Самъ былъ очевидцемъ и свидѣтелемъ. Рѣчь пойдетъ о предчувстvияхъ, по твоему недостойныхъ вѣры, объяснимыхъ просто умомъ. Не могу пожаловаться, чтобы Господь Богъ не вложилъ и въ меня зернышко здраваго разсудка и пытливаго невѣria, а все таки убѣжденъ, что съ помощью этихъ проводниковъ, не всякое явленiе можно объяснить и доказать математически. Насъ, старииковъ стали-славовскаго времени, провозгласили вольнодумцами, материалистами, однакоже философія энциклопедистовъ скользнула только по поверхности нашего духа, но въ глубь его укрылись такія жизненныя тайны, какихъ и не вѣдастъ нынѣшняя молодежь, затѣмъ что жить не

умѣть и жизни не понимаетъ, погребенная за-живо въ тыли книжной премудрости и въ мертвыхъ теоріяхъ.“

Я не смѣлъ ничего отвѣтить камергеру, во первыхъ потому, что онъ былъ очень взволнованъ, а во вторыхъ потому, что боялся не отдали бы его философскія воззрѣнія отъ обѣщанного разсказа. Принявъ мое молчаніе за полное признаніе его доводовъ, старикъ опять развеселился, придвигнуль кресло къ камельку, досталь табакерку съ портретомъ короля Августа Станислава, нюхнулъ нѣсколько разъ, отряхнулъ жабо и началъ такъ:

„Было это лѣтомъ, въ саду у Красинскихъ, душнымъ вечеромъ, сулившимъ ночную грозу. Четверо или пятеро молодыхъ людей сидѣли въ сторонкѣ, прохлаждались лимонадомъ и слушали музыку.

Въ нашемъ кружкѣ, обыкновенно шумливомъ и веселомъ до пустоты, господствовало молчаніе, не потому, чтобы музыка была очаровательна, а потому, что дневной зной и удущливый воздухъ отняли всякую охоту къ разговорамъ. Каждый изъ наасъ окидывалъ мутнымъ взоромъ то гулявшихъ, то своихъ пріятелей; ни у кого не вырывалось ни остроумнаго замѣчанія, ни шутки надъ смѣшными личностями и нарядами. Я также чувствовалъ себя рѣшительно ни къ чему не способнымъ, и не смотря на врожденную живость, осовѣль какъ и другіе. Оглядывая моихъ пріятелей, я вдругъ былъ пораженъ необычайною блѣдностью сидѣвшаго противъ меня кастеланского сына, Ливскаго.

Съ юныхъ лѣтъ наасъ связывали тѣснѣйшее знакомство и пріязнь. Меня встревожила эта внезапная перемѣна въ чертахъ его лица и я съ беспокойствомъ спросилъ: „что съ тобой, панъ Станиславъ. На тебѣ лица нѣть: ужъ не боленъ ли ты?“ Съ этими словами взяль я его за руку—рука была холодная и дрожала. „Ты вѣрно схватилъ лихорадку? прибавилъ я. Если тебѣ нездоровится, мой экипажъ къ твоимъ услугамъ?“

— Нѣть, мнѣ ничего, отвѣтилъ кастеланский сынъ, отирая на лбу потъ,—только сейчасъ по мнѣ пробѣжала какая-то невольная дрожь и сердце сжалось какимъ-то страннымъ, безотчетнымъ страхомъ.

Едва успѣль онъ это сказать, какъ какой-то незнакомый намъ рослый мужчина, остановился противъ наасъ и обратился съ рѣчью къ Станиславу, поднявъ вверхъ палецъ:— „Мнѣ кажется, что я понимаю душевныя ваши ощущенія. Никакого нѣть сомнѣнія, что

каждый изъ насъ, особенно посреди вечерней тишины, когда человѣкомъ овладѣваетъ задумчивость, испыталь внезапный, невѣдомый страхъ, такъ что кровь застыла въ жилахъ, по тѣлу пробѣгали мураски и волосъ вставалъ дыбомъ на головѣ. Сколько бы ни было рыцарской смѣлости въ сердцѣ, а дрожишь какъ листъ, не смѣешь глазъ поднять, и болѣе всего боишься взглянуть въ темный уголъ, откуда вотъ-вотъ появится страшный призракъ. Совсѣмъ приготовившися къ сверхъестественной встрѣчѣ, вдругъ, совершенно неожиданно опять приходишь въ себя и готовъ смыться надъ собственной слабостію. Признайтесь, что недавно испытанное вами ощущеніе похоже на мой очеркъ, какъ двѣ капли воды?

— Совершенно справедливо, отвѣчалъ Станиславъ, я все это испыталъ.

— Въ простомъ народѣ есть повѣрье, вмѣшался я въ разговоръ, что въ это мгновеніе смерть заглядываетъ человѣку въ глаза, или кто нибудь поираетъ ногою будущую его могилу.

— Въ каждомъ краю толкуютъ розно одно и тоже явленіе, продолжалъ незнакомецъ. Я слыхалъ отъ арабовъ, что, по ихъ понятіямъ, Господь въ это мгновеніе назначаетъ часъ смерти самого человѣка, или дорогой ему особы.

— Я съ своей стороны не вдаюсь ни въ метафизику, ни въ суевѣrie, возразилъ нашъ постоянный собесѣдникъ и шутникъ Мольскій: „Полагаю, что по мнѣ всегда пробѣгаєтъ такая дрожь послѣ доброго обѣда или ужина...“

— А какъ-же объяснить, замѣтилъ незнакомецъ, что всѣ народы, и образованные, и дикие, принимаютъ эту дрожь за темное предчувствіе и предвѣстіе близкой бѣды? Отчего, наконецъ, съ этимъ невольнымъ трепетомъ связывается представленіе какого нибудь необычайного событія? Понять этого я не въ силахъ, и долженъ вѣрить.

— Чему вѣрить? спросилъ Мольскій съ любопытствомъ.

— Вѣрить тому, продолжалъ незнакомецъ, что трепетъ этотъ порождается въ насъ вслѣдствіе тревоги и противодѣйствія какой то незримой силѣ, несочувственной земному естеству человѣка.

— Стало быть, панъ вѣрить въ духовъ? подхватилъ Мольскій.

— Не вполнѣ, а отчасти... Если мнѣ трудно допустить существованіе духовъ, зарожденныхъ въ пустыхъ головахъ метафизиковъ, не знаю—почему бы не допустить мнѣ возможности существъ, неуловимыхъ для взора, какъ тѣ твари, что мы поглощаемъ съ каж-

дой струей воздуха,—существъ, преисполненныхъ сатанинской злобы? Когда въ каплѣ воды физики разсмотрѣли подъ микроскопомъ существа, столько же хищныхъ какъ львы и тигры, отчего же около насъ не могутъ роиться незримые духи, готовые вредить намъ не хуже Люцифера? Кто не извѣдалъ острыхъ жаль искушенія, подготвляющихъ человѣка къ бездѣлѣ преступленія и злодѣйствія? Что-жъ это также, если не продѣлки повсюду роящихся злыхъ духовъ? Положитесь въ чемъ вибудь на инстинктъ, на авось, и объясните мнѣ,—почему вы почти всегда ошибаетесь? Передъ вами расходятся двѣ дороги: вы ужъ конечно надлежащей не выберете. Надѣвайте перчатку не глядя: вамъ всегда попадется не та. Могъ бы я привести много и другихъ доказательствъ, но ужъ и такъ виѣшался въ вашу компанію непрошенный: извините мою нескромность, не издѣвайтесь черезъ чурь надъ иллюминаторомъ и визіонеромъ, и позвольте пожелать вамъ доброй ночи“.

Проговоривъ это привѣтствіе, незнакомецъ учтиво поклонился, отошелъ отъ насъ и скрылся въ темной улицѣ.

— Однако кто-же этотъ господинъ? спрашивалъ Станиславъ.— Мольскій долженъ знать его.

— Знаю, какъ и всѣ,—то есть—всёе не знаю. Правду сказать, хотѣлось мнѣ съ нимъ познакомиться, да это вѣкъ чему не повело. Знаю только, что онъ уже вѣсколько мѣсяцевъ въ Варшавѣ, что помѣщеніе у него отличное, живеть онъ на большую ногу и бываетъ только у сіятельной супруги маршала, а ворочемъ рѣдко—гдѣ показывается. Первый разъ онъ представился, къ немалому удивленію общества, подъ именемъ Задора, потому что это собственно названіе герба, а не фамилії. Не смотря на это, онъ такъ умѣлъ заставить всѣхъ разсказами о своихъ путешествіяхъ, изяществомъ пріемовъ и безукоризненностью французского выгесора, что никто и не спросилъ—откуда онъ родомъ, а всякий былъ радъ его слушать и разговаривать съ нимъ. Болѣе всего онъ вскружилъ головы женщинаамъ... Теперь разскажу, какъ я вошелъ съ нимъ въ болѣе короткія отношенія, хотя напередъ знаю, что всякий изъ васъ подумаетъ: Мольскій—стиходѣй, и все это выдумаль.

— Говори! говори! закричалъ Станиславъ. Таинственная личность этого лана Задоры необыкновенное интересуетъ меня. Въ то мгновеніе, какъ по мнѣ пробѣжала дрожь, онъ проходилъ мимо, и взгляды наши встрѣтились. Конечно не его я испугался, потому что въ цѣлой Варшавѣ я не знаю мужчины представительнѣе; но есть

въ немъ что-то такое, что оказываетъ на меня вліяніе... Разскажи-
вай-же, Мольскій: жду съ любопытствомъ твоей исторіи.

— Необыкновенного въ ней ничего нѣтъ, а все таки она до сихъ
поръ мнѣ непонятна... Зашелъ я разъ вечеромъ на партю бачка къ
извѣстному вамъ генералу. Передъ банкометомъ лежала огромная
груда золота: взяла меня охота — попытать счастія, тѣмъ болѣе, что
я недавно выигралъ нѣсколько сотень червонныхъ. Ставлю карту,
другую, гну пароли, гну на шесть: все бьютъ!.. Въ мгновеніе ока
не только опустѣли мои карманы, но еще на слово проигралъ... Грызу
сь досады пальцы, отошелъ въ отчаяніи отъ зеленаго стола, какъ
вдругъ этотъ самый господинъ — мы съ нимъ познакомились въ домѣ
маршала — подходитъ ко мнѣ, беретъ меня за руку и говоритъ: „Се-
годня вамъ измѣнила фортуна, только вѣдь она пресвоенравная ко-
кетка: кажется, рѣшительно не благоволить, а глядишь — тутъ-то и
исполнитъ наши желанія! Пань любить игру, а я ее иенавижу, но
не хочу оставаться вразднымъ зрителемъ. Поставьте этотъ кошелекъ
на карту; проигрышъ мой, выигрышъ — пополамъ“.

Не мало озадачило меня такое странное предложеніе, притомъ же
отъ едва знакомаго человѣка. Но... въ глазахъ у меня звонко —
пересыпалось золото; кровь заговорила... я согласился.

— Хорошо, съ тѣмъ, что и проигрышъ пополамъ, сказалъ я,
принимая кошелекъ.

— Какъ вамъ угодно, ствѣчалъ онъ съ улыбкой, но вы должны
выиграть, только ставьте туза.

Я поставилъ туза — выигралъ, загнулъ пароль — выигралъ, и
такъ далѣе, наконецъ въ карманахъ не стало мяста для золота.
Счастье мое было такъ нежданно и внезапно, что не только банкометъ
потерял голову, но и поктеры стали горячиться, а одинъ молодой
шляхтичъ, Ленчиканинъ, которому перестало везти, забылся до того,
что чуть не обвинилъ меня и Задору въ плутовствѣ.

— Мы начѣмъ не нарушили правилъ игры, хладнокровно воз-
разилъ Задора. Обычная колея: одинъ выигрываетъ, другой проигры-
ваетъ — не упрекать-же насъ за то, что мы съумѣли воспользоваться
мимолетной улыбкой фортуны.

Ленчиканинъ, горячая голова, принялъ это скромное и спокой-
ное объясненіе за трусость и — слово за словомъ — вызвалъ Задору
на поединокъ.

— Я ссоры не ищу, сказалъ Задора, но и передъ обидой отступать не стану.

Вышли мы потихоньку изъ залы въ смежный садъ. Мѣсяцъ свѣтилъ такъ, что булавку можно было поднять съ земли. Разумѣется, я былъ секундантомъ у Задоры. Онъ отвелъ меня въ сторону и сказалъ.

— Этотъ Ленчичанинъ разомъ покончить свою глупую карьеру. Нѣкоторое время, пока все это дѣло не затихнетъ, мнѣ нельзя будетъ показываться въ обществѣ. Позаботьтесь, чтобы шлахтича похоронили въ монастырѣ Кармелитовъ, въ родовомъ склепѣ...

— Стало-быть, вы знаете его фамилію? спросилъ я.— И почему вы такъ увѣрены, что онъ падеть отъ вашей руки? Вѣдь Ленчичане хорошо дерутся.

— Знаю. Да неужели вы думаете, что —не будь онъ самъ увѣренъ въ своей ловкости—такъ-бы и сталъ задирать первого встрѣчнаго? Это ссора, о ней-же вѣщаетъ евангеліе: поднявшій мечъ отъ меча погибнетъ. Какъ я сказалъ, прикажите похоронить его у Кармелитовъ, рядомъ съ отцомъ, и добавьте, что это была послѣдняя воля покойнаго.

Вскорѣ подошелъ и Ленчичанинъ; онъ былъ взбѣша, запыхался, а о мировой и слышать не хотѣлъ. Противники стали на мѣста, смирили другъ-друга глазами и скрестили шпаги: оба носили это оружіе, потому что одѣвались по французски.

Расправа была горячая, но короткая. Обидчикъ повалился на земль. Я подскочилъ къ нему, въ надеждѣ, что ему можно оказать помощь и что ударъ не смертельный, но сразу убѣдился въ противномъ: кровь широкою струею лила у него изо рта; онъ страшно поводилъ глазами.

— Не дадите-ли какого порученія? спросилъ я.— Не послать-ли за ксендзомъ? Наконецъ, гдѣ прикажете похоронить вѣсть? Онъ ничего не могъ отвѣтить, только руками показывалъ, что далеко у себя въ деревнѣ. Секундантъ его побѣжалъ отыскивать лекаря, или цирюльника, и я остался одинъ при умиравшемъ.

Можетъ быть, вамъ угодно, сказалъ я, чтобы васъ похоронили въ родовомъ склепѣ, рядомъ съ вашимъ отцомъ?

При этихъ словахъ, лицо ему передернуло судорогой; глаза выкатились на лобъ; онъ заскрежеталъ зубами и испустилъ послѣдній вздохъ. Этотъ, за мгновеніе полный силъ, юноша лежалъ бездыханія...

— Ты рассказываешь намъ какую-то страшную исторію! крикнули мы въ одинъ голосъ. Вѣрно тебѣ хочется, чтобы мы ночь не спспали.

— Подождите конца, продолжалъ Мольскій. Такъ какъ у покойнаго былъ свой домъ въ Варшавѣ, я отправился туда, отыскалъ его похороненного и объявилъ (да простить мнѣ Господь эту ложь на страшномъ судѣ!) что его пань, умирая, пожелалъ быть похороненнымъ рядомъ съ своимъ отцомъ, у Камелитовъ. Это желаніе и самому мнѣ казалось очень простымъ и естественнымъ. Такъ его у Камелитовъ и склонили. Но когда отперли склепъ и подняли крышу отцовскаго гроба, съ которымъ рядомъ долженъ былъ стать сыновній, бывшій при этомъ докторъ замѣтилъ на совершенно обнаженномъ отъ волосъ черепѣ старика какое-то загадочное черное пятно. Онъ дотронулся до этого пятна пальцами и — кто оишетъ его удивленіе, когда онъ вытащилъ изъ черепа полуторный гвоздь. Это открытие возбудило сильныя подозрѣнія. Припомнили, что старецъ умеръ скоропостижно и до самой смерти пользовался совершеннымъ здоровьемъ; припомнили также, что онъ непомѣрно скучъ, а сынъ, на противъ, расточителенъ и развратенъ въ полномъ смыслѣ слова. Дѣло дошло до правительства: нарядили слѣдствіе, допросили слугу, распоряжавшагося похоронами старика, и слуга признался во всемъ на духу. Оказалось, что отецъ не давалъ сыну воли, а сынъ ужъ давно добирался до отцовской шкатулки, покусился на адскій умыселъ и совершилъ отцеубийство, не проливъ ни капли крови.“

— Но, любезный мой поэтъ! перебилъ Станиславъ, откуда же пань Задора могъ провѣдать обѣ этой тайнѣ? И какъ онъ объяснился передъ судомъ?

— Откуда онъ могъ превѣдать? отвѣтилъ Мольскій, этого я не знаю, не знаю также и объясненія передъ судомъ. Довольно, что его не преслѣдовали и сочли поединокъ болѣе Господнею справедливою карою, нежели преступленіемъ противъ законовъ страны.

— Ну вотъ, еслибы не мои исторіи, вы бы давнымъ-давно заснули, а теперь я такъ раздразнилъ вашъ воображеніе таинственной фігурой пана Задора, что врядъ-ли вы скоро заснете.

Мольскій пожалъ намъ руки и ушелъ; мы также собрались по домамъ.

— Пойдемъ со мной, сказалъ я, взялъ за руку Станислава, съ которыми мы жили рядомъ, потомъ прошелъ нѣсколько шаговъ и

прибавилъ: Знаешь ли что, любезный царь Станиславъ? Мнѣ кажется, что этотъ мрачный господинъ и его сообщникъ Мольскій задумали какіе-то ковы? Не худо намъ быть на сторожѣ, а то какъ-разъ попадешься къ нимъ въ силки.

— Позволь мнѣ не согласиться съ тобой, возразилъ Станиславъ, подумавъ: конечно нанять Мольскій слыветъ за человѣка легкомысленнаго, за вертопраха, если хочешь — даже за тунеядца, но въ сущности человѣкъ честный. Онъ позволить себѣ выдумать что нибудь, ради шутки, но такъ нагло клеветать не станетъ. Впрочемъ, ты долженъ быть взглѣдѣться въ этого пана Задору: его спокойная осанка, благородно горделивое выраженіе лица — признакъ духовнаго превосходства — отличаютъ его ясно отъ простого шарлатана, или пройдохи.

— Признаюсь, любезный Станиславъ, что Задора и на меня произвелъ впечатлѣніе; но развѣ жизнь не постоянная комедія, а люди — не актеры? Развѣ мало подобныхъ господъ скрываютъ подъ личиной добродѣтели и чувства всю гнусность своихъ намѣреній? Впрочемъ, человѣку съ неомраченной честью, человѣку безъ скрытыхъ, а подчасъ и подозрительныхъ цѣлей нѣть, по крайней мѣрѣ, никакой нужды окружать себя таинственностью. Сколько разъ ты самъ ставилъ въ честь и въ заслугу полякамъ, что всѣ они въ Коронѣ и въ Литвѣ знаютъ другъ друга, знаютъ не только по помѣстіямъ, по происхожденію, по самымъ отдаленнымъ родственнымъ отношеніямъ? При первомъ громкоѣ имени ты знаешь — какая кровь коренная, или еще свѣжая; взглянешь на человѣка и сразу угадаешь, если онъ должно присвоилъ себѣ стародавнее имя или гербъ. Панъ Задора взялся Богъ вѣсть откуда; зовется неслыханнымъ именемъ, сорить деньгами и никто не знаетъ источника его доходовъ. Вѣрь мнѣ, со временеми пресловутаго Каліостро, развелось столько загадочныхъ личностей, что онѣ начинаютъ ужъ надоѣдать. Готовъ биться обѣ закладъ, что онъ имѣеть на тебя какіе-то виды: затѣмъ и вмѣшился, непрошенный, въ разговоръ, затѣмъ и заинтересовалъ тебя разгадкою твоего душевнаго настроенія.

— Говори, что хочешь, но не могу я признать дюжинамъ человѣкомъ того, кто мимоходомъ, видя меня въ первый разъ, прошелъ въ моей душѣ мимолетное ощущеніе яснѣе и опредѣлительнѣе, чѣмъ я самъ. Впрочемъ оставимъ въ покой этотъ вопросъ. Случайное, уличное знакомство не можетъ повлечь за собой никакихъ послѣдствій.

вій, поговоримъ лучше о Маріэттѣ; мнѣ всегда скучно, если я не говорю о ней,

— Покалуй! вскрикнулъ я. Хочешь — будемъ говорить о ней и дні и ночи. Но скажи же мнѣ, какъ далеко зашли твои любовныя дѣла? Ты нешути собираешься на пей жениться! А какими глазами посмотреть твоя семья на эту интригу съ актрисой?

— Что мнѣ за дѣло до семьи! отвѣтилъ онъ небрежно. Я женюсь не для счастія семьи, а для своего собственнаго. Знаю напередъ все, что будетъ: сначала сплетни, пересуды, родственныій гнѣвъ, а кончится тѣмъ, что всѣ преклонятъ головы передъ достойной женщиной. Найди мнѣ другую дѣвушку, чтобы могла поспорить съ Маріэттой красотою тѣла и души.

— Вижу, что ты влюбился по уши.

— И въ этой любви все мое блаженство! Одна Маріэтта виновница тому, что я избѣжалъ нравственной порчи. Можно-ли же не преклоняться передъ такимъ совершенствомъ добродѣтели!

— Такъ говорять всѣ влюбленные.

— Знай ты ее ближе, и самъ заговорилъ бы тоже, даже не влюбляясь.

— Пока это будетъ, любезный другъ, сказалъ я, позволь пощелать тебѣ доброй ючи: вотъ твоя квартира. Мы пожали другъ другу руку и разошлись.

Возвращаясь домой, я сталъ раздумывать о положеніи моего пріятеля. Богатый, родовитый дворянинъ, молодой, прекрасно образованный, намѣревался вступить въ такія отношенія, которыя должны были отдалить его отъ семейства и общества. Всего хуже казалось мнѣ то, что любимая имъ особа, при всей своей невыразимой прелести и при всѣхъ качествахъ, была чужеземка, итальянка, и кто знаетъ? можетъ быть, какъ опытная искалательница приключений, не одного уже юношу поймала на удочку. Сообразивъ всѣ эти обстоятельства, я не на шутку сталъ тревожиться за будущность моего пріятеля, и уже составлялъ планы, какъ убѣдить синьору, чтобы она оставила свои преслѣдованія, и, если можно, заставить ее удалиться изъ столицы. Мнѣ очень хорошо было известно, что подобные браки всегда кончаются дурно для той или другой стороны. Пока любовь накидываетъ на все розовое покрывало, пока наполняетъ мысли благовоннымъ ароматомъ, до тѣхъ поръ жизнь полна поэзіи и чувства; но

*

когда минуетъ пора бурныхъ и страстныхъ восторговъ, большею частію гаснетъ и послѣдняя искра прежней взаимности. Прежде всего, съ одной стороны, раздаются упреки и жалобы на сгубленную молодость и будущность; съ другой — жалобы на прозу жизни и семейныхъ обязанностей, не могущихъ замѣнить блестящихъ успѣховъ на сценѣ.

Когда такой же актрисѣ мужъ совсѣмъ прискучить, ее обуяетъ тоска по театральной публикѣ, по рукоплесканіямъ и вѣнкамъ, вѣнкамъ — все болѣе свѣжимъ, рукоплесканіямъ — все болѣе желаннымъ, пока тѣ и другія не смѣняются шиканьемъ и свистками. По истинѣ мнѣ было жаль моего молодого друга: убѣдить его не было никакой надежды, да и какимъ языкомъ говорить съ влюбленными, когда они не хотятъ, или не могутъ ничего слушать, кромѣ пріятныхъ имъ словъ? Мною овладѣло недоброе предчувствіе и я долго не могъ заснуть въ ту ночь; зато раннимъ утромъ самъ смѣялся надъ моими опасеніями, и подѣломъ: синьора Маріетта была вполнѣ достойна страстной любви. Предубѣжденія мои разсыпались съ дневнымъ свѣтомъ и я снова пыталъ прежнюю дружбу къ очаровательной артисткѣ.

Но послушай, какая встрѣча ожидала Станислава въ тотъ-же день вечеромъ. Чтобъ размыкать неспокойныя думы, онъ вздумалъ отпраздновать верхомъ за-городъ, свернувъ въ поле, и бросилъ по-воды: ему хотѣлось освѣжить грудь и голову ароматнымъ вѣтеркомъ съ нивы.

Шагомъ щыхалъ онъ по узкой тропѣ, между цвѣтующихъ полосъ жита и пшеницы, какъ вдругъ его конь шатнулся въ сторону — испугался: какой-то человѣкъ нагнулся къ землѣ и разглядывалъ не то настѣкомое, не то цвѣтокъ.

Станиславъ сдержалъ коня и не мало удивился, когда узналъ въ наблюдателѣ пана Задору, съ объемистой книгой подъ мышкой.

— Вотъ не ожиданная встрѣча! крикнулъ Станиславъ пану Задору. Вѣрно вы нашли какое-нибудь рѣдкое растеніе: такъ имъ занялись, что я чуть-было не проѣхалъ мимо.

— Вы угадали, отвѣтилъ Задор, показывая бѣлый цвѣточекъ: дѣйствительно, въ корнѣ этого растенія такая дивная сила, о какой и въ голову не приходило нашимъ натуралистамъ. Не мудрено, что я и десять разъ не замѣтилъ-бы, кто проѣхалъ мимо.

— Если такъ, извините мой неумышленный проступокъ.

— Ничего, дѣло поправимое.

— Признаюсь, продолжалъ Станиславъ, нѣсколько затронутый холоднымъ обращеніемъ пана Задоры, если-бы кому нибудь вздумалось опредѣлить вашъ характеръ по вчерашней нашей встрѣчѣ въ саду, тотъ очень-бы ошибся... На сколько вы вчера, какъ человѣкъ незнакомый, были доступны и обходительны, на столько сегодня охлаждаете во мнѣ вскреннее желаніе сблизиться съ вами. Быть можетъ, я выбралъ неудобное время, но очень хотѣлось бы мнѣ убѣдиться, не даромъ-ли дѣлаю я первый шагъ къ болѣе короткому знакомству?

— Не въ моемъ обычай отклонять протянутую мнѣ руку, замѣтилъ двусмысленно панъ Задора, однако-же позвольте васъ спросить: вѣрите-ли вы вліянію небесныхъ созвѣздій на судьбу человѣка?

— Право, не знаю, отвѣчалъ Станиславъ, смущенный неожиданнымъ вопросомъ.

— Не знаете?.. Такъ я скажу вамъ, что вѣрите.

— Видно вы, панъ, знаете меня лучше чѣмъ я самъ?

— Быть можетъ... Какъ-бы то ни было, вы вѣрите и въ духовъ, и во вліяніе звѣздъ, потому что въ васъ сильно развито чувство, потому что вамъ отрадно возноситься духомъ надъ сферой ежедневныхъ житейскихъ мелочей, потому что вы энтузиасти. Если бы мы съ вами попросили какую-нибудь ворожею прочесть нашу судьбу по линіямъ руки, или какого-нибудь астролога, посвященного въ звѣздныя письмена, мы узнали-бы безошибочно, что когда ваша звѣзда взошла на небосклонъ, мое созвѣздіе бросило на нее зловѣшнюю тѣнь.

— Слыхалъ я, что вы великий естествоиспытатель, даже иллюминать, а обѣ астрологическихъ вашихъ познаніяхъ не имѣть никакого понятія... Но будьте вы себѣ астрологомъ, пожалуй чернокнижникомъ, развѣ это помѣха нашему знакомству? Я всю жизнь чичего не боялся, тѣмъ менѣе побоюсь человѣка, который проникнулъ всю глубину премудрости.

— Вы правы: страхъ не измѣнить предопредѣленія.

— Стало-быть, вы отвергаете пріязнь, хоть вами предлагаютъ ее такъ безкорыстно?

— Не отвергаю, да и не заискиваю ея. Вы сами придаете ей мало цѣны, если готовы предложить ее при первой встрѣчѣ. Можете-ли вы довѣрять мнѣ, не зная меня?

— Вчерашний ваш разговор въ саду былъ для меня очень занимательнъ.

— Скажите лучше: очень затронуло ваше любопытство.

Станиславъ, порядочно разгоряченный этимъ споромъ, даль шпоры своему коню и тутъ-же затянула поводья. Конь сталъ на дыбы.

— Для чего-жэ вы разомъ и шпорите, и осаживаете коня? спросилъ съ улыбкой Задора. Умѣй онъ говорить, какъ ослица Валаама,—навѣрное попенялъ-бы вамъ.

— И быть-бы въ полномъ правѣ, отвѣтилъ Станиславъ. Однакоже извините мою докучливость и прощайте, панъ Задора! Онъ стегнулъ коня и помчался вскачь по большой дорогѣ.

Въ это время прибыла въ Варшаву труппа итальянскихъ пѣвцовъ. На ея представленія, два раза въ недѣлю, собиралась многочисленная публика, привлеченнная не столько любовью къ музыѣ, сколько новизною, а главное—красотой примадонны, синьоры Бонафини. Помнился мнѣ, голосъ у нея былъ не величъ, но необыкновенно строенъ и звученъ. Вскорѣ послѣ свиданія Станислава съ Задорой, назначено было первое представленіе оперы Диодона. Готовились къ ней давнѣмъ-давно, потратили на постановку денегъ безъ счету. Въ самый этотъ вечеръ я былъ приглашенъ въ ложу двоюродной моей сестры, жены корсуньского старости и, понимается, не могъ сопровождать Станислава за кулисы. Донна Маріэтта дебютировала въ роли Диодоны. Невообразимое впечатлѣніе произвела тогда эта восемнадцатилѣтняя артистка на публику. Изо всѣхъ ложъ и креселъ слышались единогласные похвалы, и даже его величество король, большой любитель и не послѣдній знатокъ музыки, нѣсколько разъ крикнулъ браво, и общій энтузіазмъ дошелъ до-нельзя. Я разсудилъ, что Станиславъ нырнуль за кулисы въ половинѣ первого акта, чтобы налюбоваться вблизи предметомъ своего обожанія.

Знаю изъ вѣрныхъ рукъ, что онъ забился въ уголъ, словно окаменѣлый, не могъ надивиться голосу своей Маріэтты и конечно мечталъ о блаженствѣ обладать такой очаровательницей, какъ вдругъ чья-то рука коснулась его плеча. Словно очнувшись отъ летаргического сна, онъ оглянулся въ недоумѣніи и узналъ пана Задору.— „При выходѣ изъ театра“, шепнулъ ему Задора, „по-

старайтесь пригласить съ собой кого-нибудь изъ пріятелей, и не съ голыми руками.

— Что вы хотите этимъ сказать? Вы вызываете меня на поединокъ и заботитесь о томъ, чтобы у меня были секунданты?

— У меня нѣть никакого повода нанести вамъ обиду; я хотѣлъ только предостеречь васъ, что замѣтилъ около театра недобрыхъ людей. Они вооружены и безъ всякаго сомнѣнія сторожатъ именно васъ: ихъ, должно быть, предупредили, что вы обыкновенно возвращаетесь домой пѣшкомъ, а свою карету предлагаете къ услугамъ дамы Маріэтты Бонафини.

— Правда, мой экипажъ всегда ее отвозить... Но я не понимаю...

Станиславъ хотѣлъ объясниться, да было ужъ не съ ємъ: Задора исчезъ. Почти въ то-же мгновеніе я увидѣлъ этого таинственнаго человѣка въ придворной ложѣ, онъ очень спокойно разговаривалъ съ дворцовыми маршаломъ.

Послѣ первого акта Маріэтта бросилась за кулисы и столкнулась съ Станиславомъ. Съ восторгомъ, со слезами на глазахъ стала она поздравлять съ тріумфомъ; но въ этотъ вечеръ Маріэтта была какъ-то разсѣяна: комплименты и похвалы пролетали мимо ея ушей незамѣченными и не вызывали даже отвѣтной улыбки. Ея большие, черные глаза, оттѣненные длинными рѣсницами, привыкли прожигать насквозь самыя закаленные сердца, а теперь блуждали беспокойно, не остановились даже ни разу на лицѣ восторженного поклонника. Онъ понялъ наконецъ, что его присутствіе и разговоръ докучають Маріэттѣ, и замолчалъ. Маріэтта кликнула старую Розалию, свою наперсницу, подвела къ занавѣсу и сказала:

— Видишь его, Розалия? Тамъ, въ этой ложѣ, отъ королевской направо?..

— Кого? спросила старушка.

— Этого мужчину... Я обѣ немъ тебѣ столько разъ говорила... Онъ всегда и вездѣ слѣдитъ за мной взглядомъ... приводить въ отчаяніе своей горделивой и насмѣшиловой улыбкой... Ты замѣтила: весь театръ маѣ рукоплещетъ, а онъ сидитъ холодный, какъ статуя... Весь театръ боится проронить одно слово, одинъ звукъ моего голоса, а онъ начинаетъ разгориваться вслухъ, или кашлять. Не знаю отчего, только его похвала, его рукоплесканія были-бы для меня

всего дороже, и какъ на зло онъ недвижимъ и нѣмъ. Охъ, сердце мое надрывается и слезы на глазахъ.

— Видно, мое дитятко, дорогая моя донна, отвѣчала въ раздумья старуха, что либо онъ глухъ, либо слѣпъ. Лучше и не думай о немъ: не стоитъ.

— Не думать! Да развѣ я могу не думать? Говорю тебѣ: взгляни — рядомъ съ королевской ложей, высокій, блѣдный, черноволосый мужчина — разговариваетъ съ господиномъ въ орденахъ...

— *Jesus Maria Jozef!* вскрикнула Розалія, всплеснувъ руками. Это онъ!..

Послышался звонокъ — занавѣсь снова поднялся. Послѣ незначительныхъ сценъ наступила развязка піэсы. Маріэтта, въ роли обманутой любовницы, превзошла всякое ожиданіе; до того дошель въ ней порывъ страсти. Театръ дрожалъ; изъ ложъ махали платками, букеты сыпались на сцену. Одинъ только зритель, посреди всеобщаго восторга, оставался совершенно равнодушенъ. Это былъ Задора.

Оставивъ женское общество, я сошелъ въ кресла. Передо мной, въ первомъ ряду, сидѣлъ кавалерійскій ротмистръ, сынъ воеводы *** известный своимъ распутствомъ и самохвальствомъ. Знакомы съ пимъ мы не были. Сидя за нимъ, я замѣтилъ, какъ онъ пожиралъ глазами Маріэтту и какъ безпрестанно шептался съ какимъ-то военнымъ, болѣе впрочемъ похожимъ на челядинца-факtotума, чѣмъ на товарища и сослуживца. До меня долетало нѣсколько словъ изъ ихъ разговора, и между прочимъ: — „она должна быть мою, сегодня же, хоть бы пришлось разыграть свадебную комедію, для успокоенія совѣсти бѣдняжки. Все-ли готово, Бржехѣвъ?

Наперникъ, мизерная, изрытая осپой фигура нашептывалъ съ злобной улыбкой: „Все, господинъ ротмистръ, только никакъ поклонникъ-то снуетъ за кулисами... Онъ всегда оставляетъ ей карету, а теперь, чего доброго, вздумаетъ уѣхать вмѣстѣ съ нею.

— Въ такомъ случаѣ — понимаешь. „При этомъ ротмистръ сдѣлалъ такое движенье, что я сразу понялъ, какая опасность грозила моему приятелю. Признаюсь, у меня ноги подкосились и сердце захолонуло; но я осилилъ свое волненіе и кинулся отыскивать Станислава, въ ту самую минуту, какъ занавѣсь опускался. Какъ насмѣхъ, у самого выхода меня обступила цѣлая толпа молодежи и атаковала просьбами разрѣшить чье мнѣніе справедливо объ игрѣ

сеньоры Бонафини. Нарасло отдѣльвался я общими мѣстами, на-
прасно порывался на волю; не слушаютъ и не выслушаютъ изъ круга.
Въ это время мимо меня прошелъ Задоръ и шепнулъ: — „Вашему
приятелю грозитъ опасность, увезите его“. При этомъ предостереже-
ніи я рванулся какъ сумасшедшій, растолкалъ докучныхъ болту-
новъ и къ счастію встрѣтилъ Станислава у подъѣзда; онъ грустно
слѣдилъ взоромъ за каретой, увозившей его милую.

— Другъ мой! крикнулъ я ему, садись со мной — экипажъ мой
здѣсь, не далеко.

— Благодарю за приятельскую память.

— Благодари Задору: онъ предостерегъ и подаль благой со-
вѣтъ. Не всегда безопасно бродить ночью по нашимъ улицамъ. Но
вотъ и мой фаетонъ — садимся.

— Опять этотъ Задоръ! всыльчиво крикнулъ Станиславъ.
Зачѣмъ этотъ человѣкъ путается въ мои дѣла? Ужъ нѣть-ли како-
го замысла похитить у меня Маріэтту? Не сяду я съ тобою, пойду
пѣшкомъ, прощай!

— Ради Бога! Что ты дѣлаешь? стать я его усовѣщевать. Въ
экипажѣ тебѣ безопаснѣй.

— Ничего не боюсь! И онъ пустился рысью по улицѣ слѣдомъ
за каретой артистки.

Зная грозившую опасность, я рѣшился не отставать отъ Станислава.

Тѣмъ временемъ его карета катилась минутъ уже десять по пустымъ и отдаленнымъ улицамъ, къ дому Маріэтты, но вдругъ остановилась на перекрестѣ. Маріэтта взглянула въ окно, и при слабомъ мерцаніи звѣздъ — фонарей нигдѣ не было — увидѣла, что ея возчика стащили съ козель и держатъ двое какихъ то людей, а третій отворяетъ каретныя дверцы.

— Не бойтесь ничего, пани, сказалъ по французски началь-
никъ шайки: потрудитесь только пересѣсть въ другой экипажъ,
васъ доставлять въ безопаснѣе мѣсто.

Онъ распахнулъ свой плащъ, обнялъ гибкій станъ Маріэтты
и осторожно притянулъ ее къ себѣ.

— Если тебѣ жизнь мила, — прочь! закричала Маріэтта, и
въ ея рукѣ блеснулъ кинжалъ. Ротмистръ, — это былъ онъ, отскочилъ
и приказалъ обезоружить дѣвушку.

Уже одинъ изъ шайки подошелъ — было исполнить приказаніе, но

сообщники его не пустили. Бржехво завопилъ: „Измѣна, господинъ ротмистръ!“ и оба схватились за сабли.

— Позвольте, господа! крикнулъ начальникъ шайки. Пере-станьте шумѣть, а лучше отправляйтесь, откуда пришли. Сопро-тивленіе ни къ чему не поведеть.

— Это твоя продѣлка, Бржехво! кричалъ воеводскій сынъ, выѣхъ себѣ отъ гнѣва, и оттолкнулъ отъ себя своего помощника.

— Клянусь вамъ, не моя! защищался Бржехво; этихъ оборван-цевъ кто-то подбушилъ.

— Вы можете заявлять претензію только ко мнѣ, панъ рот-мистръ! проговорилъ самый видный мужчина изъ шайки. Меня зовутъ Задора, и я готовъ дать вамъ удовлетвореніе по первому ва-шему вызову.

Такимъ образомъ, осадивъ воеводскаго сына, панъ Задора вeko-чилъ на козлы рядомъ съ возчикомъ, самъ взялъ возжи, ударилъ по конямъ и побѣжалъ неторопливо, словно показывая, что не боится нападенія.

У ротмистра, какъ говорится, языки прильнули къ гортани; какъ окаменѣлые, стояли они оба съ Бржехвой, пока не увидѣли двухъ, быстро подходившихъ къ нимъ людей. Это были мы съ Станиславомъ, и пріятель мой началъ у нихъ разспрашивать, не видѣ-ли они кареты съ возчикомъ въ зеленої ливреѣ?

— Разумѣется, видѣли, отвѣтилъ ротмистръ, выходя изъ оцѣ-пенія. Къ нему возвратилось все его самохвальство и онъ при-бавилъ: „Кромѣ того мы были свидѣтелями похищенія двухъ ка-кихъ-то дамъ вмѣстѣ съ ихъ экипажемъ; одна показалась намъ очень красивой. При этомъ уличномъ насилии, и гдѣ-же? возлѣ самаго дворца, въ столицѣ, мы обнажили сабли на защиту прекраснаго пола; но пес Hercules contra plures: мы должны были уступить силѣ и отретировались.

— Адская измѣна! крикнулъ Станиславъ, господа, прошу васъ, какъ благородныхъ людей, не откажите намъ въ вашей помощи... Насъ будетъ четверо.

Я узналъ по голосу и ссанкѣ ротмистра и понялъ, что мой другъ самъ отдается въ руки предателей. Я схватилъ его за руку и хотѣлъ было удержать, чтобы объяснить все дѣло; но Станиславъ, словно обданый кипяткомъ, не далъ мнѣ разинуть рта, рванулся впередъ и закричалъ: ето честный человѣкъ—за мной!

Ротмистръ и его товарищъ также обнажили сабли и съ криками—впередъ! смерть негодяямъ! пустились бѣгомъ. Върный своему приятелю, я послѣдовалъ ихъ примѣру, хотя не спускалъ съ глазъ нашихъ новыхъ помощниковъ. Вчетверомъ намъ не трудно было напасть на карету, которая остановилась при нашемъ приближеніи. Едва мы успѣли добѣжать, какъ изъ разныхъ угловъ выскочили на насъ вооруженные люди, окружили насъ и стали тѣснить. Въ ночной темнотѣ, увеличенной еще болѣе тѣнью развѣстыхъ лицъ, ничего нельзя было разглядѣть, и только звукъ желѣза доказывалъ, что дѣло завязалось не на шутку. Я держался какъ можно ближе къ моему другу, нанося частые удары, такъ удачно, что около насъ начинало становиться просторище. Вдругъ какой-то высокій человѣкъ врывается въ толпу, расталкиваетъ, опрокидываетъ всѣхъ, и толпа разсѣялась: остался только я одинъ, тщетно отыскивая Станислава, который отбился отъ меня въ тѣшнотѣ.

На этотъ шумъ, изъ домовъ выбѣжали обыватели, принесли отгна. И какая же представилась сцена! Станиславъ, при самыхъ дверцахъ кареты, бѣтесь съ великаномъ. Противники взглянули другъ другу въ глаза, и шпаги выпали у нихъ изъ рукъ. Бросаюсь къ Станиславу съ вопросомъ:

— Ты раненъ?

— Въ правое плечо, отвѣтилъ онъ слабымъ голосомъ.

— Это еще счастіе: рана не должна быть опасна.

— Конечно, только я еще раненъ подъ самое сердце... умираю... повтори Маріэттѣ, что я любилъ ее больше жизни, и гибну отъ руки человѣка, который мнѣ предсказалъ, что его звѣзда бросила на мою зловѣщую тѣнь.

— О неумолимый рокъ! крикнулъ Задора, опускаясь на колени возлѣ умирающаго.

— Ты убилъ у меня друга! сказалъ я, схвативъ его за грудь. Убей-же и меня и вотъ тебѣ поводъ: я беру синьору Бонафини подъ свое покровительство и ты перешагнешь къ ней только чрезъ мой трупъ.

— Да что вы потеряли головы! проговорилъ Задора вставая: ротмистръ хотѣлъ похитить у меня дочь, а я защитилъ ее, какъ отецъ.

— Твою дочь?

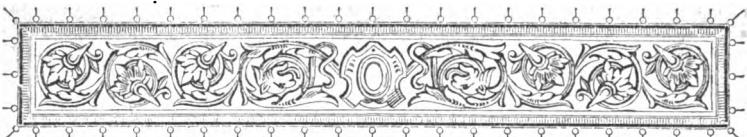
— Разумѣется!.. Только сегодня получилъ я документы, свидѣ-

тельствующіе, что она мнѣ дочь и что я оставилъ ее въ Италии, когда уѣхалъ съ Пуласкимъ въ Америку. Вотъ этому несчастному юношѣ, продолжалъ онъ, указывая на умирающаго Станислава, отдавалъ я руку дочери и все мое состояніе; но грозное предопредѣленіе судило мнѣ быть его убійцей.

Станиславъ могъ еще разслышать послѣднія слова, протянулъ Задорѣ руку и прошепталъ: „награди тебя Богъ!“

Маріетта, очнувшись отъ обморока и ужаса, бросилась на безжизненные останки своего милаго, а когда ее оттащили насильно, изъ груди у ней вырвался отчаянный, раздирающій душу крикъ: „Отѣць! вези меня въ монастырь!“

ЯНЪ ИЗЪ НЕПОМУКЪ.



ЯНЪ ИЗЪ НЕПОМУКЪ.

(Чешская легенда).

Карлъ IV, Божію милостію, цезарь римскій и король чешскій, мудрый и набожный монархъ, послѣ долгаго и хваленаго царствованія, кончилъ дни свои въ 1378 г. Ему наслѣдовалъ сынъ его Вацлавъ.

Какъ Неронъ, онъ подаваль сначала болыія надежды, но потомъ, окруженный толпою развратной молодежи обоего пола и растлѣнной роскошью, онъ забыль объ обязанностяхъ монарха, потеряль голову и сталъ жестокимъ.

Жена Вацлава была Ioanna. Набожная и разсудительная, могла ли она равнодушно смотрѣть на предосудительные поступки мужа? Поэтому, со слезами упрашивала она его опомниться, перемѣнить образъ жизни и старалась наставить его на путь истинный. Но могла ли она нравиться тому, кто жадными устами осушаль кубокъ разврата? Онь не любиль и не хотѣль, чтобы ему напоминали объ обязанностяхъ, пренебреженныхъ и затоптанныхъ иль въ прахъ. Душеспасительные разговоры добродѣтельной супруги возбудили ненависть въ ея мужѣ, а услужливые придворные прихлебатели постарались очернить Ioannу, ославить ее невѣрной женой.

Въ прагскомъ каноническомъ капитулѣ находился знаменитый строгостю и святостю жизни Янъ изъ Непомукъ, духовникъ и милостынникъ королевы. Однажды, уже позднимъ вечеромъ, когда, въ скромной своей обители, капелланъ стоялъ на моленіи, дверь въ

его келью отворилась и вошелъ одинъ изъ придворныхъ короля. Каноникъ подумалъ, что королева, по заведенному обычаю, посыпаетъ ему или исповѣдную милостыню, или какое нибудь приношение въ прагскій соборъ. Но каково было его удивленіе, когда онъ услыхалъ изъ устъ посланца, что самъ король желаетъ немедленно видѣть каноника Яна изъ Непомукъ...

Много мыслей прошло въ его головѣ, и все-таки онъ не могъ понять причины такого поздняго призыва. Чтобы не разосадовать его величество, онъ тщательно пріодѣлся и отправился въ королевскій замокъ. Почтительно—увѣренно вооруженный чистой совѣстью, сталь онъ передъ королемъ. Покорно, но безъ тревоги онъ спрашиваетъ его—что ему прикажутъ?

— Ничего не прикажу я тебѣ, отвѣчалъ Вацлавъ, хочу только поговорить съ тобою, именитый мужъ, объ одномъ важномъ для меня дѣлѣ: на душѣ лежитъ оно камнемъ. Жду отъ тебя помощи. Королева мнѣ измѣнила... Есть у меня на это и доказательство, есть и свидѣтели.

— Король! Гнѣвишь ты Господа, обвиняя свою безгрѣшную супругу. Клеветники, для своихъ цѣлей, подшептали тебѣ на нее. Сердце королевы...

— Сердце женщины! перебилъ вспыльчиво король. Это лабиринтъ, и его извилины можетъ знать только одинъ человѣкъ—духовникъ. Королева обнажаетъ свою совѣсть только тебѣ. Слушай, отче! Даю тебѣ королевское слово: проси, чего хочешь... Понимаешь?..

— Прости меня, король, отвѣчалъ Непомукъ: не понимаю, да и врядъ ли пойму, къ чему клонится эта рѣчъ... Ты не намѣренъ же принудить меня къ святотатству? Не забудь: я и помнить не долженъ чужихъ грѣховъ.

— Не понимаешь—скажу яснѣе. Цезарь и король Вацлавъ приказываетъ тебѣ, своему подданному, пересказать исповѣдь королевы... Теперь понялъ?

Измученный пытками и голодомъ, въ темницѣ, слабо освѣщенной сверху, поднявъ глаза и руки къ небу, молился капелланъ на связѣ соломы.

Молился онъ за себя, чтобы ему Господь послалъ мужество—перенести присныя и будущія муки; молился и за короля, чтобы тотъ отогналъ отъ себя преступную мысль. Въ это время растворились

двери темницы и вошло нѣсколько человѣкъ, съ факелами; съ ними и Вацлавъ. Видѣ святого старца растрогаль бы самое затвердѣлое сердце; но сердце Вацлава было звѣрски—дико. Отъ руки незнакомый съ чувствомъ милосердія, онъ похвалился имъ тогда передъ Непому-комъ.

— Видишь ли, говорить,—до чего ты меня доводишь своимъ упрашество? Ты меня покоя лишилъ, плачомъ твоимъ сѣдалъ... Но я отдамъ тебѣ свободу, награжу за все претерпѣнное, чтобы знать ты,—какъ Вацлавъ IV казнить и милуеть... Надѣюсь, ты за это услужишь... Для тебя это бездѣлица, для меня теперь—самое важное дѣло.

Зналъ Непомукъ безбожную жестокость короля, но отвѣчалъ ему твердо, что ни муки, ни награды, даже и смерть не принудятъ его къ лже-присягѣ.

— Своего слова назадъ я не беру, возразилъ Вацлавъ: ступай себѣ на всѣ четыре стороны, но и желанія не беру назадъ. Буду ждать, что исполнишь его.

Евангельскимъ, смертнымъ текстомъ началъ Непомукъ свою прощальную проповѣдь съ прихожанами. Говорилъ о своей близкой смерти. Плачъ и стоны зазвучали подъ сводами древняго храма.

Ни новыя угрозы, ни новые приказы, ни новыя обѣщанія короля не измѣнили твердыхъ убѣжденій поборника церкви: не такъ ли и старый дубъ противится бурѣ, пока она его, наконецъ, не вырветъ съ корнемъ.

Вечерѣло. Дребезжали колокольчики францисканскаго монастыря. Молдава струилась спокойно...

Кто же это идетъ по мосту, изнуренный дорогой и блѣдный? Это Янъ изъ Непомука возвращается изъ Болеславова, куда ходилъ приложиться къ образу Богоматери. На встрѣчу ему, въ толпѣ пристыженниковъ, Вацлавъ—глаза искрятся, на губахъ пѣна.

— Погляди, говоритъ Непомуку, погляди на рѣку: она—твой гробъ... И будешь ты самоубійцей, и никто не оправдаетъ тебя. Въ послѣдній разъ повелѣваю тебѣ исполнить мою волю...

— Король! отвѣчалъ святой человѣкъ: ты—мой государь, и я долженъ быть тебѣ послушнымъ во всемъ, что не противъ Божьей воли. Но лжеприсяга—противъ Бога... Ты меня покараешь на время, а Богъ—на вѣки. Напрасны угрозы твои, король: я своимъ обязанностямъ не измѣню.

Стать онъ на колѣни и тихимъ голосомъ началъ читать отход-
ней, т. ш.

ную. Приспѣшики хотѣли ужъ утопить его, но Вацлавъ подскочилъ къ нему и схватилъ его за руку.

— Бѣднякъ! завопилъ онъ. Перешелтася ли ты съ дьяволомъ, что въ тебѣ такое упорство? Или ты надѣешься, что ангелы застутятся за тебя и вырвутъ изъ рукъ смерти?

Капелланъ прижималъ въ это время къ груди крестъ и творилъ молитву. Вацлавъ вырвалъ у него изъ рукъ крестъ и, кощунствуя, кинулъ въ рѣку. За крестомъ кинули и его поклонника. Молдава приняла его на свое лоно. Но крестъ выплылъ подъ самыя руки мученика: лѣвою рукою принялъ онъ его, а правою благословилъ короля и его приспѣшниковъ.

Надъ головой его заблисталь звѣздный вѣнецъ.

Надъ Прагой ночь и сонь, но не спится Вацлаву... Хоть и давно привыкшій къ убѣствамъ, не могъ онъ отогнать отъ себя грустныхъ мыслей, что напрасно погубиль человѣка, повсюду оглашенаго святымъ. Тоскливо водилъ онъ глазами по комнатѣ, блѣдно озаренной свѣтомъ ламцы. Что же это?

Призракъ, или въ самомъ дѣлѣ кто-то, высокій и страшный, стоитъ посрединѣ комнаты и смотрить на него, словно ножомъ пронзаетъ сердце? Вотъ онъ нагнулся надъ постелью и смигается сатанинскимъ смѣхомъ.

А лампа вспыхнула въ послѣдній разъ и угасла...

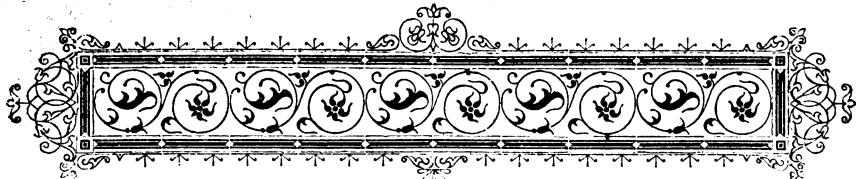
Вацлавъ закрылъ глаза, но какая-то сила раскрыла ихъ снова. Смотрѣть и слушаетъ. . Надъ головой у него вьется пламя; змѣи вились ему въ тѣло, шумить въ ушахъ; ударили громъ; потомъ все стихло.

Утромъ король уѣхалъ изъ Праги въ замокъ Цѣбрахъ.

Вѣсть о погибели Яна изъ Непомука поразила горестью весь городъ. Каноники скоронили останки его въ соборѣ, и съ той поры, Непомукъ — патронъ чеховъ. Его изваяніе украшаетъ мостъ на Молдавѣ. Памятнику надъ его гробницей поклоняются и художники, и богомольцы, и память о немъ доселѣ жива въ Чехіи. Не на одномъ перекресткѣ, возвышается его изваяніе, въ поминъ его кончины. Память его празднуется 16 мая, и доселѣ еще раздаются звуки музыки передъ его изображеніями въ Познани и въ Менджевичѣ Корецкомъ и поютъ бурсаки:

«Господь, за наши прегрѣшевыя,
Караетъ такъ, что нѣтъ терпѣнья.
Спаси насы отъ кары и муки,
Святитель нашъ, Йинъ Непомукъ!»

СВЯТОЧНАЯ ПѢСНЯ.



Святочная пѣсня

въ прозѣ

(Чарльза Диккенса).

Первая строфа. Призракъ Мэрлея.

Начнемъ сначала: Мэрлей умеръ. Въ этомъ не можетъ быть и тѣни сомнѣнія. Метрическая книга подписана приходскимъ священникомъ, причетникомъ и гробовщикомъ. Росписался въ ней и Скруджъ, а имя Скруджа было громко на биржѣ, гдѣ-бы и подъ чѣмъ-бы ему ни благоугодно было подписатьсь.

Дѣло въ томъ, что старикъ Мэрлей вбить бытъ въ могилу, какъ осиновый коль.

Позвольте! Не подумайте, чтобы я самолично убѣдился въ мертвенноти осинового кола: я думаю, напротивъ, что ничего нѣть мертвеннѣе въ торговлѣ гвоздя, вколоченного въ крышку гроба...

Но... разумъ нашихъ предковъ сложился на подобіяхъ и пословицахъ, и не моей нечестивой рукѣ подобаетъ коснуться священнаго живота вѣковъ — иначе погибнетъ моя отчизна...

И такъ, вы позволите мнѣ повторить съ достодолжною выразительностью, что Мэрлей бытъ вбить въ могилу, какъ осиновый коль..

Спрашивается: зналъ-ли Скруджъ, что Мэрлей умеръ? Конечно зналъ, да и какъ же не зналъ то бы? Оять и Мэрлей олицетворали собою торговую фирму.

— Богъ вѣсть — сколько ужъ лѣтъ Скруджъ бытъ душеприкащицомъ, единственнымъ повѣреннымъ, единственнымъ другомъ и единственнымъ провожатымъ мэрлевскаго гроба. По правдѣ, смерть

друга не на столько его огурчила, чтобы онъ, въ самый день похоронъ, не оказался дѣловымъ человѣкомъ и бережливымъ распорядителемъ печальной процессіи.

Вотъ это-то слово и наводить меня на первую мою мысль, а именно, что Мэрлей безъ сомнѣнія умеръ, и что, слѣдовательно, если-бы не умеръ онъ, въ моемъ разсказѣ не было-бы ничего удивительнаго.

Если бы мы не были убѣждены, что отецъ Гамлета умеръ до начала піесы, никто изъ насъ не обратилъ бы даже и вниманія на то, что господинъ почтенныхъ лѣтъ прогуливается некстати, въ по-темкахъ и на свѣжемъ вѣтеркѣ, по городскому валу, между могиль, съ единственной цѣллю — окончательно разстроить поврежденныя умственныя способности своего возлюбленнаго сына. Что касается собственно Скруджа, ему и въ голову не приходило вычеркнуть изъ счетныхъ книгъ имя своего товарища по торговлѣ: много лѣтъ послѣ смерти Мэрлея, надъ входомъ въ ихъ общей магазинъ красовалась еще вывеска съ надписью: „Скруджъ и Мэрлей“. Фирма торговаго дома была все также: „Скруджъ и Мэрлей“. Случалось иногда, что некоторые господа, плохо знакомые съ торговыми оборотами, называли этотъ домъ: Скруджъ — Скруджъ, а иногда и просто: Мэрлей; но фирма всегда готова была откликнуться одинаково на то, или на другое имя.

О! Скруджъ вполнѣ изучилъ свой ручной жерновъ и крѣпко держалъ его въ кулакѣ, милѣйшій человѣкъ — и старый грѣшникъ: скунецъ на показъ, онъ умѣлъ и нажать, и прижать, и поскоблить, а главное — не выпустить изъ рукъ. Неподатливъ онъ былъ и крѣпокъ, какъ ружейный кремень, — изъ него-же даромъ и искры не выбѣшь безъ огнива; молчаливъ былъ, скрытенъ и отшельнически — замкнутъ, что устрица. Душевный холодъ заморозилъ ему лицо, нащипалъ ему заостренный носъ, наморщилъ щеки, сковалъ походку и окислилъ голосъ. Постоянныи иней убѣлилъ ему голову, брови и судорожно-лукавый подбородокъ. Всегда и повсюду вносилъ онъ съ собою собственную свою температуру — ниже нуля, леденилъ свою контуру даже въ каникулы и, ради самыхъ святочъ, не возвышалъ сердечнаго термометра ни на одинъ градусъ.

Вѣшнай жарь и холодъ не имѣли на Скруджа ни малѣйшаго вліянія: не согрѣвалъ его лѣтній зной, не зябъ онъ въ самую жестокую зиму; а между тѣмъ рѣзче его никогда не бывало осеннаго вѣтра; никогда и никому не падали на голову, такъ безпошадно, какъ

онъ, ни снѣгъ ни дождикъ; не допускалъ онъ ни ливня, ни гололѣдицы, ни изморози — во всемъ ихъ изобиліи: этого слова Скруджъ не понималъ.

Никто, и не разу не встрѣчалъ его на улицѣ привѣтливой улыбкой и словами: „Какъ вы живете, почтеннѣйший мистер Скруджъ? Когда-же вы наѣстите насть“? Ни одинъ ницѣй не рѣшился протянуть къ нему руки за полушкой; ни одинъ мальчишка не спросилъ у него: „который часъ?“ Ницѣй, ни мужчина, ни женщина, въ теченіи всей жизни Скруджа, не спросили у него: „какъ пройдти туда-то!“ Даже собака — вожатый уличного слѣпца, кажется, — и та знала Скруджа: какъ только его увидѣть, такъ и засвѣдѣть своего хозяина либо подъ ворота, либо въ какой нибудь заѣулоекъ, и начинать помахивать хвостомъ, словно выговаривается: „Вѣднажка мой хозяинъ! знаешь-ли, что лучше ужъ еслѣпнуть, чѣмъ сглазить добрыхъ людей?“

Да Скруджу то что за дѣло? Именно этого онъ и жаждалъ. Жаждалъ онъ пройдти жизненнымъ путемъ одиночко, помимо толпы, съ вывѣской на лбу: „па—ади—берегись!“ А затѣмъ — и праникомъ его не корми!“ какъ говорятъ лакомки — дѣти.

Однажды, въ лучшій день въ году, въ сочельничь, стариkъ Скруджъ сидѣлъ въ своей конторѣ и былъ очень занятъ. Морозило; падалъ туманъ; Скруджу было слышно, какъ прохожіе по переулку свистать себѣ въ кулаки, отдуваются, хлопаютъ въ ладони и отплясываютъ на панели трепака, чтобы согрѣться.

На башнѣ Сыти пробило только — еще три часа по полудни, а на дворѣ было ужъ совсѣмъ темно. Впрочемъ и съ утра не свѣтало, и огни въ сосѣднихъ окнахъ конторъ краснѣли масляными пятнами на черноватомъ фонѣ густого, почти осознательнаго воздуха. Туманъ проникалъ въ дома во всѣ щели и замочныхныя скважины; на открытомъ воздухѣ онъ до того сплотился, что, не смотря на узкость переулка, противоположные дома казались какими-то призраками. Глядя на мрачныя тучи, можно было подумать, что онъ опускаются ближе и ближе къ землѣ съ намѣреніемъ — задымить огромную пивоварню.

Дверь въ контору Скруджа была отворена, такъ что онъ могъ постоянно слѣдить за своимъ прикащикомъ, занятымъ списываніемъ нѣсколькихъ бумагъ въ темной и тѣсной каморкѣ: — нѣчто въ родѣ колодца. У Скруджа еле-еле тлѣлъ въ камелькѣ огонь, а у прикашника еще меныше: просто одинъ уголекъ. Прибавить къ нему онъ

ничего не могъ, потому, что корзинка съ угольями стояла въ комнатѣ Скруджа, и всякий разъ, когда прикащикъ робко входилъ съ лопаткой, Скруджъ предварялъ его, что будетъ вынужденъ съ нимъ разстаться. Всѣдствіе сего, прикащикъ обматывалъ себѣ шею бѣльемъ „носопрятомъ“ и пытался отогрѣться у свѣчки; но, при такомъ видимомъ отсутствіи изобрѣтательности, конечно не достигалъ своей цѣли.

— Съ праздникомъ, дядюшка, и да хранить васъ Богъ! раздался веселый голосъ.

Голосъ принадлежалъ племяннику Скруджа, заставшему дядюшку врасплохъ.

— Это еще что за пустяки? спросилъ Скруджъ. Племянникъ такъ скоро шелъ къ нему и такъ разгорѣлся на морозномъ туманѣ, что щеки его пылали полымямъ, лицо раскраснѣлось, какъ вишня, глаза заскрились и изо рту валилъ паръ столбомъ.

— Какъ дядюшка: святки—то пустяки? замѣтилъ племянникъ Скруджа.—То-ли вы говорите?

— А что-же? отвѣтилъ Скруджъ. Веселые святки. Да какое у тебя право — веселиться? Разоряться-то на веселье какое право?.. Вѣдь и такъ—ужь бѣденъ...

— Полно-же-полно! возразилъ племянникъ.—Лучше скажите мнѣ: какое у васъ право хмуриться и коптѣть надъ цифирью?.. Вѣдь и такъ-ужь бѣгаты.

— Ба! продолжалъ Скруджъ, не приготовившись къ отвѣту, и къ своему „Ба!“ прибавилъ: Все это—глупости!

— Перестаньте-же, дядюшка, хандриТЬ.

— Чоневолѣ захандришь съ такими сумасшедшими. Веселые святки! Ну—его, ваше веселье!.. И что такое ваши святки? Срочное время — платить по векселямъ; а у васъ пожалуй, и денегъ-то нѣтъ... Да вѣдь съ каждыми святками вы старѣете на цѣлый годъ и припоминаете, что прожили еще двѣнадцать мѣсяцевъ безъ прибыли. Нѣтъ! Будь моя воля, я каждого такого шального, за поздравительные побѣгушки, приказалъ-бы сварить въ котлѣ,—съ его же пуддингомъ, похоронить, да ужь, заодно, чтобы изъ могилы не убѣжалъ, проткнуть ему грудь сучкомъ остролистника... Это—вотъ такъ!

— Дядюшка! заговорилъ-было племянникъ, — въ качествѣ адвоката святокъ.

— Что, племянничекъ? строго перебилъ его дядюшка. Праз-

днай — себѣ святки, какъ хочешь, а ужъ я — то отпраздную ихъ по своему.

— Отпразднуете? повторилъ за нимъ племянникъ.

— Да развѣ такъ празднуютъ?

— Ну, и не надо!... Тебѣ я желаю на новый годъ нового счастія, если старого мало.

— Правда: мнѣ кой-чего не достаетъ... Да нужды нѣть, что новый годъ ни разу еще не набилъ мнѣ кармана, а все-таки святки для меня святки.

Прикащикъ Скруджа невольно зарукоплескалъ этой рѣчи изъ известнаго намъ колодца; но, понявъ всѣ неприличіе своего поступка, бросился поправлять огонь въ камелькѣ и затушилъ послѣднюю искру.

— Если вы еще затушите, сказалъ ему Скруджъ, вамъ придется праздновать святки на другомъ мѣстѣ. А вамъ, сэръ, прибавилъ онъ, обратившись къ племяннику, я долженъ отдать полную справедливости: вы — превосходный витія и напрасно не вступаете въ парламентъ.

— Не сердитесь, дядюшка: будетъ! Приходите къ намъ завтра обѣдать. Скруджъ ему отвѣтилъ, чтобы онъ пошелъ къ... Право: такъ и сказалъ, все слово выговорилъ, — такъ-таки и сказалъ: пошелъ.... (Читатель, можетъ, если заблагоразсудить, договорить слово).

— Да почему же, вскрикнулъ племянникъ? Почему?

— А почему ты женился?

— Потому, — что влюбился.

— Любовь! пробормоталъ Скруджъ, да такъ пробормоталъ, какъ будто-бы, послѣ слова — новый годъ, любовь была самыи глупымъ словомъ въ мірѣ.

— Послушайте, дядюшка! Вѣдь вы и прежде никогда ко мнѣ не заходили: причемъ-же тутъ моя женитьба?

— Прощай! сказалъ Скруджъ.

— Я отъ васъ ничего не желаю, ничего не прошу: отчего же намъ не остаться друзьями?

— Прощай! сказалъ Скруджъ.

— Я истинно огорченъ вашей рѣшимостью... Между нами, кажется, ничего такого не было... по крайней мѣрѣ, съ моей стороны... хотѣлось мнѣ провести съ вами первый день, — ну? что-жъ дѣлать! я все-таки повеселился — и вамъ того-же желаю.

— Прощай! сказаль Скруджъ.

Племянникъ вышелъ изъ комнаты, ни полсловомъ не выразивъ своего неудовольствія; но остановился на порогѣ и поздравилъ съ наступающимъ праздникомъ провожавшаго его прикащица, а въ томъ, не смотря на постоянный холодъ, было все-таки больше теплоты, чѣмъ въ Скруджѣ. Поэтому онъ отвѣталъ радушно на привѣтствіе своего поздравителя, такъ-что Скруджъ услыхалъ его слова изъ своей комнаты и прощенталъ:

— Вотъ, еще дуракъ - то набитый! Служить у меня прикащикомъ; получаетъ пятнадцать шиллинговъ въ недѣлю; на рукахъ жена и дѣти; а туда-же радуется празднику!... Ну, какъ-же не самъ напрашивается въ домъ сумашедшихъ?

Въ это время набитый дуракъ, проводивъ племянника Скруджа, ввелъ за собою въ контору двухъ новыхъ посѣтителей: оба джентльмена казались крайне порядочными людьми, съ благовидной наружностью, и оба при входѣ сняли шляпы. Въ рукахъ у нихъ были какие-то реестры и бумаги.

— Скруджъ и Мэрлей, кажется? спросилъ одинъ изъ нихъ съ поклономъ и поглядѣлъ въ списокъ. — Съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить: съ мистеромъ Скруджемъ, или съ мистеромъ Мэрлеемъ?

— Мистеръ Мэрлей умеръ семь лѣтъ тому, отвѣтилъ Скруджъ.— Ровно семь лѣтъ тому умеръ, именно въ эту самую ночь.

— Мы не сомнѣваемся, что велиcodушie покойнаго нашло себѣ достойнаго представителя въ пережившемъ его компаньонѣ! сказаль незнакомецъ, предъявляя официальную бумагу, уполномочившую его на собраніе милостыни для бѣдныхъ.

Сомнѣваться въ подлинности этой бумаги было невозможно; однако-же, при досадномъ словѣ: *велиcodушie*, Скруджъ нахмурилъ брови, покачалъ головой и возвратилъ своему постѣтителю свидѣтельство.

— Въ эту радостную пору года, мистеръ Скруджъ, заговорилъ посѣтитель, взявъ перо, „было-бы всего желательнѣе сбратъ посильное пособіе бѣднымъ и неимущимъ, страдающимъ теперь болѣе, чѣмъ когда-нибудь: тысячи изъ нихъ лишены самого необходимаго въ жизни; сотня тысячъ не смѣютъ и мечтать о наискромѣйшихъ удобствахъ.

— Развѣ тюрьмы уже уничтожены? спросилъ Скруджъ.

— Помилуйте, отвѣталъ незнакомецъ, опуская перо. — Да ихъ теперь гораздо больше, чѣмъ было прежде...

— Такъ, стало-быть, продолжалъ Скруджъ, пріюты прекратили свою дѣятельность?

— Извините, сэръ, возразилъ собесѣдникъ Скруджа: дай-то Богъ, чтобы они ее прекратили!

— Такъ человѣколюбивый жерновъ все еще мелеть на основаніи закона?

— Да! и ему, и закону много еще дѣла.

— О!... А я вѣдь подумалъ-было, что какое-нибудь непредвидѣнное обстоятельство помѣшало существованію этихъ полезныхъ учрежденій!... Искренно, искренно радъ, что ошибся! прогово-рилъ Скруджъ.

— Въ полномъ убѣжденіи, что ни тюрьмы, ни пріюты не могутъ христіански удовлетворить физическихъ и духовныхъ по-требностей толпы, нѣсколько особъ собрали по подпискѣ небольшую сумму для покупки бѣдныхъ, ради предстоящихъ праздниковъ, куска мяса, кружки пива и пригоршни угля... На сколько вамъ угодно будетъ подпісаться?

— Да... ни на сколько! отвѣтилъ Скруджъ.

— Вамъ, вѣроятно, угодно сохранить анонимъ.

— Мне угодно, чтобы меня оставили въ покой. Если вы, господа, сами спрашиваете — чего мнѣ угодно? вотъ вамъ мой от-вѣтъ. Мнѣ и самому праздникъ — не радость, и не намѣренъ я поощрять бражничанья каждого тунеядца. И безъ того я плачу до-вольно на поддержку благотворительныхъ заведеній... т. е. тюремъ и пріютовъ... пусть въ нихъ и поступаютъ тѣ, кому дурно въ иномъ мѣстѣ.

— Да вѣдь инымъ и поступать туда нельзя, а другимъ уме-реть легче.

— А если легче, кто-же имъ мѣшаетъ такъ и поступать, ради уменьшенія нищенствующаго народонаселенія? Впрочемъ, извините меня — все это для меня — темная грамота.

— Однако-же — вамъ ничего не стоить ей поучиться?

— Не мое дѣло! возразилъ Скруджъ... Довѣрятъ днеси злоба его. А у меня собственныхъ дѣлъ больше, чѣмъ дней. Позвольте съ вами проститься господа!...

Понявъ всю бесполезность дальнѣйшихъ настоящій, незнакомцы удалились.

Скруджъ опять усѣлся за работу въ самодовольномъ расположе-ніи духа.

А туманъ и потемки все густѣли, да густѣли, такъ-что по улицамъ засверкали уже свѣточи, предназначенные уздоводить извѣщичыхъ коней и наставлять ихъ на правые пути. Старая колокольня съ нахмуреннымъ колоколомъ, постоянно наблюдавшимъ изъ любопытства, въ свое готическое окно, контуру Скруджа, вдругъ исчезла изъ вида и стала трезвонить уже въ облакахъ четверти, получасія и часы. Морозъ крѣпнуль.

Въ углу двора нѣсколько работниковъ поправляли газопроводные трубы и разогрѣли огромную жаровню; кругомъ тѣснилась цѣлая толпа мужчинъ и оборванныхъ ребятишекъ: они съ наслажденіемъ потирали себѣ руки и шурились на огонь. Кранъ запертого фонтана обледенѣлъ такъ, что смотрѣть было противно.

Газовые лампы магазиновъ озаряли вѣтки и ягоды остролистника и бросали красноватый отблескъ на блѣдныя лица прохожихъ. Мясные и зеленныя лавки сіали такою роскошью, представляли такое великолѣпное зрѣлище, что никому-бы и въ голову не пришло соединить съ ними идею разсчета и барыша. Лордъ-мэръ, въ своей крѣпости Mansion-House, отдавалъ приказы, направо и налево, какъ и подобаетъ лордъ-меру въ сочельникъ, своимъ пятидесяти поварамъ и пятидесяти ключникамъ. Даже бѣднаго портной (не далѣе — какъ въ прошлый понедѣльникъ подвергнутый денежной пени въ пять шиллинговъ, за пьянство и буйство на улицѣ), даже и тотъ принялъ на свое мѣсто чердачкѣ хлопотать о завтрашнемъ пуддингѣ, и тощая его половина съ тощимъ сосункомъ на рукахъ, отправилась на бойню купить необходимый кусокъ говядины.

Между тѣмъ, туманъ становится гуще и гуще, холодъ живѣе, жестче, пронзительнѣе. Вотъ онъ крѣпко ушищнулъ за нось уличного мальчишку, тщедушнаго, обглоданнаго голodomъ, какъ кость собакой: владѣлецъ этого носа прикладываетъ свой глазъ къ замочной скважинѣ скруджской kontоры и начинаетъ Христа славить, но при первыхъ словахъ:

Господи спаси васъ,
Добрый господинъ!

Скруджъ такъ энергично схватываетъ линейку, что пѣвецъ, въ ужасѣ, отбѣгаetъ со всѣхъ ногъ, покидая замочную скважину въ добычу тумана и мороза, а они тотчасъ же врываются въ комнату... конечно изъ сочувствія къ Скруджу...

Наконецъ пора запереть kontору: Скруджъ угрюмо сходитъ съ своего табурета, словно подавая молячаливый знакъ своему прика-

щику убираться скорѣе вонъ: прикащикъ мгновенно тушить свѣчу и надѣваетъ шляпу.

— Предполагаю, что завтра вы цѣлый день останетесь дома? спрашиваетъ Скруджъ.

— Если это вамъ удобно, сэръ.

— Нисколько это мнѣ неудобно, да и вообще, съ вашей стороны, несправедливо. Если бы, за завтрашній день, я удержанъ изъ вашего жалованья пол-кроны, я увѣренъ — вы бы обидѣлись?

Прикащикъ слегка улыбнулся.

— А между тѣмъ, продолжалъ Скруджъ, вы не сочтете въ обиду для меня, что я долженъ вамъ платить за цѣлый день даромъ.

Прикащикъ замѣтилъ, что это случается только одинъ разъ въ годъ.

— Плохое оправданіе и плохой поводъ — запускать руку въ чужой карманъ каждое 25 декабря, возразилъ Скруджъ, застегивая пальто до самаго подбородка. Тѣмъ не менѣе, я полагаю, что вамъ нуженъ цѣлый завтрашній день: постарайтесь-же вознаградить меня за него послѣ-завтра, и какъ можно по раньше.

Прикащикъ обѣщалъ, и Скруджъ, ворча себѣ подъ носъ, вышелъ изъ дома. Контора была занерта во мгновеніе ока, и прикащикъ, скрестивъ оба конца «носопрѣта» на жилетѣ (сюртукъ онъ считалъ роскошью) пустился по Корнгильской панели, посколькунувшись разъ двадцать вмѣстѣ съ толпой мальчишекъ, то и дѣло падавшихъ въ честь сочельника. Во весь духъ добѣжалъ онъ до своей квартиры къ «Кэмден-тоунѣ», чтобы поспѣть на жмурки.* Скруджъ усѣлся за скудный обѣдъ, въ своей обычной грошевой харчевнѣ. Пере-читавъ всѣ журналы и очаровавъ себя, къ концу вечера, просмотромъ своей счетной книжки, онъ отправился на ночевку домой. Занималъ онъ бывшую квартиру своего покойнаго сотоварища; длинный рядъ темныхъ комнатъ въ старинномъ, мрачномъ зданіи, на самомъ концѣ закоулка. Богъ-вѣсть, какъ оно туда попало? Такъ и казалось, что съ молоду оно играло въ братки съ другими домами, спряталось, да потомъ и не нашло дороги. Ветхо оно было и печально, потому, что окромѣ Скруджа, въ немъ никого не жило: остальные квартиры были заняты разными конторами и бюро. Дворъ былъ до такой степени теменъ, что самъ Скруджъ, хоть и зналъ наизустъ каждую плиту,

*) Игра въ жмурки составляетъ къ Англіи необходимую принадлежность сочельника и вообще всѣхъ святоч.

долженъ былъ пробираться ощущью. Холодъ и туманъ крѣпко прижались къ старой входной двери, — и вы бы подумали, что на ея порогѣ присѣлъ гений зимы, погруженный въ грустныя размышленія.

Фактъ одинъ, что въ дверномъ молоткѣ не было ничего замѣчательнаго, кромѣ непомѣрной величины; другой фактъ тотъ, что Скруджъ видѣлъ этотъ молотокъ ежедневно, утромъ и вечеромъ, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ поселился въ домѣ; что при всемъ этомъ Скруджъ обладалъ такъ называемымъ воображеніемъ менѣе даже корпораціи иотэблей и альдерменовъ *). Не слѣдуетъ также забывать, что, въ теченіе дѣлыхъ семи лѣтъ, значить какъ-разъ со дня смерти Мэрлея, Скруджъ ни разу не подумалъ о покойникеѣ. Объясните же мнѣ, пожалуста, если можете: какимъ образомъ случилось, что Скруджъ, повернувъ ключъ въ замкѣ, своими глазами увидѣлъ на мѣстѣ дверного молотка лицо Мэрлея? Истинно говорю вамъ: лицо Мэрлея! Оно не было непроницаемой тѣнью, какъ всѣ остальные предметы на дворѣ, напротивъ: оно свѣтилось какимъ-то синеватымъ блескомъ, подобно гнилому морскому раку въ темномъ погребѣ. Въ выраженіи его не было ничего гнѣвнаго и свирѣпаго: Мэрлей глядѣлъ на Скруджа — какъ и всегда, приподнявъ призракъ очковъ на призракѣ лба. Волосы его шевелились на головѣ какъ будто отъ какого-то дуновенія, или отъ горячаго пара; Мэрлей глядѣлъ во всѣ глаза, но они были неподвижны. Это обстоятельство и синеватый прѣтъ кожи приводили въ ужасъ, хотя ужасъ Скруджа происходилъ не отъ мертвеннаго выраженія лица, а — такъ-сказать отъ самого себя.

Приостановивъ взглядѣвшись въ это явленіе, Скруджъ снова увидѣлъ одинъ только дверной молотокъ. Мы бы погрѣшили передъ совѣстью, еслибы сказали, что Скруджъ не ощутилъ ни дрожи, ни страшнаго, дотолѣ незнакомаго ему волненія въ крови. Однако онъ быстро повернулъ ключъ, вошелъ въ комнату и зажегъ свѣчу. На мгновеніе онъ остановился въ нерѣшительности и, прежде чѣмъ запереть дверь, поглядѣлъ нѣтъ-ли за ней кого, словно боялся, что вотъ-вотъ покажется въ сѣняхъ тонкій носъ Мэрлея. Но за дверью не было ничего, кромѣ гаекъ и винтовъ, придерживавшихъ изнутри дверной молотокъ. «Ба! ба!» сказалъ Скруджъ и сильно захлопнулъ дверь.

По всему дому прошелъ громовой гулъ. Каждая комната наверху

*) Т. е. представителей всевозможныхъ цеховъ и гильдій.

и каждая бочка внизу, въ винномъ погребѣ, приняли особенное участіе въ этомъ концертѣ эха. Скруджъ былъ не изъ таковскихъ, чтобы пугаться эха: крѣпко заперъ дверь, прошель сѣнями и стала подниматься на лѣстницу, поправивъ по дорогѣ свѣчу.

Вы мнѣ станете рассказывать о старинныхъ, блаженной памяти, лѣстницахъ, по которымъ могла бы проѣхать карета въ шесть лошадей рядомъ, или пройдти процессія съ однимъ изъ маленькихъ парламентскихъ дѣлъ, а я вамъ скажу, что лѣстница Скруджа была иѣчто иное: по ней можно было провести drogi поперегъ, такъ, чтобы одинъ конецъ былъ обращенъ къ стѣнѣ, а другой къ периламъ, и это ничего-бы не значило, пожалуй еще мѣсто-бы осталось. По самой этой причинѣ, Скруджу и показалось, что передъ нимъ въ темнотѣ поднимается по лѣстницѣ погребальное шествіе. Полдюжины уличныхъ газовыхъ рожковъ едавали могли-бы освѣтить достаточно сѣни: можете-же представить себѣ, какое яркое сіяніе разливала свѣчка Скруджа!...

Онъ поднимался какъ ни въ чёмъ не бывало: вѣдь темнота ничего не стоитъ, а потому Скруджъ и не чувствовалъ къ ней никакого отвращенія. Но, прежде всего, войдя къ себѣ, онъ осмотрѣлъ всѣ комнаты, видимо беспокойный воспоминаніемъ о таинственномъ лицѣ.

Гостиная, спальня и кладовая оказались въ порядкѣ. Никого не было подъ столомъ, никого подъ диваномъ; комелекъ тлился и нагревалъ кострюлю съ кашицей (у Скруджа былъ наスマркъ); никого не было также и въ спальняхъ подъ постелью, и въ кладовой; никто не спрятался за висѣвшими на стѣнѣ халатомъ. Вполнѣ успокоившись, Скруджъ заперъ дверь на замокъ, въ два оборота, надѣлъ халатъ, туфли, ночной колпакъ, усѣлся передъ огнемъ и принялъся за кашицу.

Печка была сложена очень давно, вѣроятно, какимъ-нибудь голландскимъ купцомъ. На изразцахъ были изображенія заимствованные изъ бібліі: Каины и Авели, дщери Фараона, царицы Савскія, Валтасары... а все-таки надъ всѣми ними, казалось, мелькало неотступное лицо Мэрлея....

— Вздоръ! проговорилъ Скруджъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Вдругъ его глаза остановились на старомъ звонкѣ, давно уже не бывшемъ въ употребленіи и проповѣденомъ, для какой-то цѣли, въ нижнее жилье дома. Вообразите-же изумленіе и ужасъ Скруджа, когда этотъ звонокъ началъ шевелиться: сперва онъ только кач-

нулся почти безъ звука, но вслѣдъ затѣмъ колокольчики такъ и зазилюсь, и ему подхватили всѣ остальные колокольчики въ домѣ.

Звенѣли они никакъ не болѣе минуты, но эта минута показалась Скруджу цѣлымъ часомъ. Колокольчики смолкли, таѣ же, какъ и зазвенѣли: всѣ разомъ. Ихъ звонъ смѣнило бряцаніе жѣлѣза, — словно кто-то внизу, въ винномъ погребѣ, волочилъ по бочкамъ тяжелую цѣпь. Скруджъ вспомнилъ, что всѣ привидѣнія волочатъ за собою цѣпи.

Погребная дверь распахнулась съ ужаснымъ стукомъ, и Скруджъ услыхалъ звукъ цѣпи сначала въ первомъ жильѣ, потомъ на лѣстницѣ, и наконецъ прямо противъ своей двери.

— Все это сущій вздоръ! сказалъ Скруджъ. И вѣрить не хочу!

Однако-же онъ перемѣнился въ лицѣ, когда призракъ вошелъ въ комнату прямо сквозь запертую, толстую дверь. Умирающій огонекъ всыхнулъ въ камелькѣ, словно проверичалъ: «Я его узнаю! это призракъ Мэрлея!» и затѣмъ погасъ. Совершенно,—совершенно лицо Мэрлея: та же тонкая коса; —тотъ же обыкновенный его жилетъ, тѣ-же панталоны въ обтяжку: и шелковые кисточки на сапогахъ по прежнему качаются въ ладь съ косою, съ полами платья и съ тунеемъ. Цѣнь обхватывала ему поясъ и волочилась за призракомъ длиннымъ хвостомъ. Скруджъ разсмотрѣлъ, что она была составлена изъ кассовыхъ ящиковъ, изъ связокъ ключей, жѣлѣзныхъ засововъ, замковъ, большихъ книгъ, папокъ и тяжелыхъ стальныхъ кошельковъ.

Тѣло призрака было до того прозрачно, что Скруджъ, взглянувъ на его жилетъ, ясно увидалъ сквозь него двѣ пуговицы, приткнутыя къ спинкѣ кафтана. Но хотя Скруджъ припомнилъ, что и при жизни Мэрлея (по сосѣднимъ сплетнямъ), у него не было внутренностей, все еще не вѣрилъ своимъ глазамъ, однако-же замѣтилъ все до малѣйшей подробности, даже до фуляра на головѣ, повязанного подъ подбородкомъ.

— Что это значитъ? спросилъ онъ холодно и насмѣшило, какъ и всегда.—Чего вы отъ меня хотите?

— Многаго.

Нѣть никакого сомнѣнія: голосъ Мэрлея.

— Кто вы такой?

— То есть: Кто я былъ такой.

— Ну, кто же? переспросил Скруджъ, возвышая голосъ... Для призрака вы большой пуристъ...

— При жизни я былъ вашъ сотоварищъ Джэбокъ Мэрлей.

— Можете вы.... присѣсть?

— Могу.

— Садитесь-же.

Скруджъ предложилъ призраку присѣсть для испытанія въ состояніи-ли сидѣть такое прозрачное существо, и для избѣжанія непріятнаго объясненія. Призракъ сѣлъ очень развязно.

— Вы въ меня не вѣритѣ? замѣтилъ онъ.

— Не вѣрю.

— Какого-же доказательства въ моей дѣйствительности требуете вы, кроме свидѣтельства вашихъ чувствъ?

— И самъ не знаю.

— Отчего-же вы не довѣряете вашимъ чувствамъ?

— Оттого, что ихъ можетъ извратить всякая случайность, всякое разстройство желудка, и въ сущности вы, можетъ быть, ни что иное, какъ ломть непереварившагося мяса, или пол-ложечки горчицы, кусокъ сыра, кусочекъ сырого картофеля? Во всякомъ случаѣ, отъ васъ пахнетъ скорѣе можжевеловкой, чѣмъ можжевельникомъ.

Скруджъ вообще не жаловалъ остротъ, и теперь всего менѣе чувствовалъ охоту острить, но онъ пошутилъ для того, чтобы дать другое направленіе мысламъ и побѣдить свой ужасъ, для того, что голосъ призрака заставлялъ его трепетать до самого мозга костей.

Скруджъ выносилъ чертовскую пытку, сидя противъ призрака и не смѣя свести взгляда съ этихъ неподвижныхъ, стеклянныхъ глазъ. И, въ самомъ дѣлѣ, было что-то ужасное въ адской атмосферѣ, окружавшей призракъ: Скруджъ, разумѣется, не могъ ее самъ ощущать, но онъ видѣлъ, что призракъ сидѣлъ совершенно неподвижно, а между тѣмъ его волосы, полы каftана и кисти сапогъ шевелились, будто отъ сѣрнаго пара, вылетавшаго изъ какого-то горила.

— Видите вы эту зубочистку? спросилъ Скруджъ, чтобы разсѣять свой страхъ и хоть на мгновеніе оторвать отъ себя холодный, какъ мраморъ, взглядъ призрака.

— Вижу, отвѣтилъ призракъ.

— Да вы на нее даже и не смотрите!

— Это не мѣшаѣтъ мнѣ ее видѣть.

— Такъ — вотъ: стоитъ мнѣ только ее проглотить — и я до мѣй, т. ш.

конца моихъ дней буду окружень легиономъ домовыхъ собственного моего произведения. Все это—вздоръ, говорю вамъ... Вздоръ!

При этомъ словѣ, призракъ страшно вскрикнулъ и такъ оглушительно, такъ заунывно потрясъ цѣпью, что Скруджъ ухватился обѣими руками за стулъ, чтобы не упасть въ обморокъ. Но его ужасъ удвоился, когда призракъ вдругъ сорвалъ съ головы фуляръ и при этомъ нижняя его челюсть свалилась на грудь.

Скруджъ упалъ на колѣни и закрылъ лицо руками.

— Боже милосердный! вскрикнулъ онъ. Проклятое привидѣніе!... Зачѣмъ ты появилось терзать меня?

— Душа плотская, душа земная! отвѣтилъ призракъ. — Вѣришь ли ты теперь въ меня?

— Долженъ вѣрить поневолѣ!... сказалъ Скруджъ. Но зачѣмъ-же духи бродятъ по землѣ и зачѣмъ ко мнѣ заходятъ?...

— Обязанность каждого человѣка, отвѣчалъ призракъ, сообщиться душою съ ближнимъ: если онъ уклоняется отъ этого при жизни, душа его осуждена блуждать въ мірѣ послѣ смерти... Осуждена она быть безполезной и безучастной свидѣтельницей всѣхъ дольнихъ явлений, тогда-какъ при жизни она могла-бы слиться съ другими душами для достиженія общаго блага". Призракъ вскрикнулъ разъ и заломилъ свои безплотныя руки.

— Вы скованы? спросилъ дрожавшій Скруджъ; но скажите—за что?

— Я ношу цѣпь, которую самъ-же сковаль себѣ въ жизни, звѣно за звѣномъ, аршинъ за аршиномъ; самъ надѣлъ ее на себя добровольно, что-бы добровольно-же носить ее всегда. Можеть быть, тебѣ нравится этотъ образчикъ?

Скруджъ дрожалъ болѣе и болѣе.

— Или тебѣ хочется, продолжалъ призракъ, узнать тяжесть и длину твоей собственной цѣпи? Семь лѣтъ тому, изо-дня въ день, она была такъ-же длинна и тяжела, какъ моя; потомъ ты еще потрудился надѣй нею, и теперь—славная цѣпь вышла...

Скруджъ посмотрѣлъ кругомъ себя на полъ, нѣтъ-ли на немъ самомъ желѣзной цѣпи, сажень—эдакъ въ пятьдесятъ? Но цѣпи не было.

— Джекобъ, сказалъ онъ умоляющимъ голосомъ, старый мой другъ Джекобъ Мэрлей, поговорите еще со мною, скажите мнѣ нѣсколько словъ утѣшенія, Джекобъ!

— Не мнѣ утѣшать, отвѣтилъ призракъ: утѣшеніе принес-

сится свыше, иными послами, и къ инымъ людямъ, чѣмъ ты, Эвенизэръ Скруджъ! Я тебѣ и сказать не могу всего, чтобы мнѣ хотѣлось сказать: я обреченъ блуждать безъ отдыха и нигдѣ не останавливаться. Ты знаешь, что на землѣ моя душа не преступала предѣловъ нашей конторы, и вотъ—почему мнѣ суждено теперь сдѣлать еще много тяжелыхъ путешествій!

У Скруджа была привычка, когда онъ задумывался, засовывать руки въ карманъ панталонъ: такъ поступилъ онъ и теперь, при послѣднихъ словахъ призрака, но съ колѣнъ не всталъ.

— Вы, должно быть, порядкомъ запоздали? замѣтилъ онъ, какъ истый дѣловoy человѣкъ, однако-же съ покорностью и съ почтительностью.

— Запоздалъ! повторилъ призракъ.

— Семь лѣтъ умеръ, разсуждалъ Скруджъ, и все время въ дорогѣ...

— Все время! сказалъ призракъ... и ни отдыха, ни покоя, и безпрерывная пытка угрызенія совѣсти...

— Быстро вы путешествуете? спросилъ Скруджъ.

— На крыльяхъ вѣтра, отвѣтилъ призракъ.

— Должно быть, много странъ видѣли! продолжалъ Скруджъ. При этихъ словахъ, призракъ вскрикнулъ въ третій разъ и такъ загремѣлъ цѣпью, что дозоръ имѣть-бы полное право—представить его въ судь за ночной шумъ.

— О! горе мнѣ, скованному узнику! простоналъ онъ. Горе мнѣ за то, что я забылъ обязанность каждого человѣка—служить обществу, великому дѣлу человѣчества, предназначенному верховнымъ существомъ, забылъ, что позднимъ сожалѣніемъ и раскаяніемъ не искупилъ утраченного случая къ пользѣ и благу ближняго! И вотъ мой грѣхъ, вотъ мой грѣхъ!

— Однако-же вы всегда были человѣкомъ исполнительнымъ, умѣли отлично вести дѣла... пробормоталъ Скруджъ, начиная применять слова призрака къ самому себѣ.

— Дѣла! крикнулъ призракъ, снова заламывая себѣ руки: моимъ дѣломъ было все человѣчество; моимъ дѣломъ было общее благо, человѣколюбіе, милосердіе, благодушіе и снисходительность: вотъ какія были у меня дѣла! А торговые обороты—одна капля въ безбрежномъ океанѣ моихъ былыхъ дѣлъ!

Онъ поднялъ пѣнь во всю длину руки, словно указывалъ на

причину своихъ бесплодныхъ сожалѣній, и снова бросилъ ее на полъ.

— Болѣе всего я страдаю, продолжалъ призракъ, именно въ эти послѣдніе дни года. Зачѣмъ проходилъ я тогда мимо толпы со взорами, склоненными долу на блага земные, и не возносить ихъ горѣ, къ благодатной, путеводной звѣздѣ волхвовъ! Быть можетъ, ея свѣтъ привель-бы и меня также къ какой нибудь бѣдной обители...

Скруджъ очень испугался подобнаго оборота рѣчи и задрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Слушай! крикнулъ ему призракъ: назначенный мнѣ срокъ скоро долженъ кончиться...

— Слушаю, сказалъ Скруджъ, только прошу вѣсть пощадить меня, Джэкобъ: нельзя ли поменьше риторики...

— Не могу объяснить тебѣ — почему я тебѣ явился въ теперешнемъ моемъ образѣ?.. Мнѣ столько и столько разъ приходилось сидѣть рядомъ съ тобою незримо.

Это признаніе было не слишкомъ изъ пріятныхъ: Скруджъ содрогнулся и вытеръ на лбу холодный потъ.

— Да — еще это наказаніе — не самое тяжелое... Я посланъ изъвестишь тебя, что тебѣ предстоитъ удобный случай и надежда избѣгнуть моей участіи. Слушай-же, Эвенезеръ!..

— Вы всегда были ко мнѣ благосклонны и дружелюбны, сказалъ Скруджъ. Благодарю вѣсть.

— Тебя посыпать три духа, прибавилъ призракъ. Лицо Скруджа мгновенно подернулось такою-же блѣдностью, какъ у самого призрака.

— Про этотъ-то удобный случай и про эту надежду говорили мнѣ вы, Джэкобъ? спросилъ онъ ослабѣвшимъ голосомъ.

— Да.

— Я... я... полагаю, что лучше-бы безъ нихъ какъ нибудь?

— Безъ ихъ посыщенія, для тебя нѣтъ надежды избѣгнуть моей участіи. Ожидай «перваго» завтра, ровно въ часъ.

— Не могу-ли я принять всѣхъ ихъ трехъ разомъ, Джекобъ? замѣтилъ вкрадчиво Скруджъ.

— Ожидай «второго» въ томъ-же часу на слѣдующую ночь, а «третьаго» — на третью, какъ только пробьетъ послѣдній ударъ двѣнадцати часовъ. Меня не надѣйся увидать еще разъ; но ради собственной выгоды, попамятуй о томъ, что было между нами.

Послѣ этихъ словъ, онъ ваялъ со стола и повязалъ по прежнему, свой набородникъ. Скруджъ поднялъ глаза и увидалъ, что его таинственный поэйтитель стоять передъ нимъ, весь обмотанный цѣпью.

Привядѣніе попятилое къ опускному окну, и, съ каждымъ его шагомъ, окно поднималось выше и выше, и наконецъ поднялось совсѣмъ.

Тогда призракъ поманилъ Скруджа къ себѣ, и тотъ повиновался. На разстояніи послѣднихъ двухъ шаговъ, тѣни Мэрлея подняла руку, не допуская подходить ближе.—Скруджъ остановился, но уже не изъ позишенія, а изъ изумленія и страха: въ воздухѣ пронесся какой-то глухой шумъ и раздались несвязные звуки: вопли отчаянія, тоскливыя жалобы, стоны, вырванные изъ груди раскаленіемъ и угрызеніемъ совѣсти.

Призракъ прислушивался къ нимъ мгновеніе, а потомъ присоединилъ свой голосъ къ общему хору и исчезъ въ блѣдномъ сумракѣ ночи.

Съ лихорадочнымъ любопытствомъ подошелъ Скруджъ къ окну и заглянулъ въ него.

Воздухъ былъ наполненъ блуждавшими и стонавшими призраками, Каждый, подобно тѣни Мэрлея, влачилъ за собою цѣпь; некоторые (можетъ быть секретари министровъ съ одинаковыми политическими убѣжденіями), были скованы попарно; свободныхъ не было ни одного. Нѣкоторыхъ, при жизни, Скруджъ зналъ лично. Наказаніе всѣхъ ихъ состояло очевидно въ томъ, что они усиливались, хотя уже и поздно, вмѣшаться въ людскія дѣла и сдѣлать кому-либо добро; но они утратили эту возможность навсегда.

Сами-ли слились эти фантастическія существа съ туманомъ, туманъ ли вскрылъ ихъ своею тѣнью? Скруджъ ничего не зналъ; только они исчезли, голоса ихъ смолкли разомъ, и ночь опять стала такой, какой была при возвращеніи Скруджа домой.

Онъ закрылъ окно и тщательно осмотрѣлъ входную дверь: она была заперта въ два оборота и замки были цѣлы. Изнеможенный, усталый Скруджъ бросился, не раздѣвалась въ постель, и тотчасъ-же заснулъ...

Вторая строфа.

ПЕРВЫЙ ИЗЪ ТРЕХЪ.

Когда Скруджъ проснулся, было такъ темно, что онъ еле-еле разглядѣлъ—гдѣ прозрачное окно, гдѣ непрозрачныя стѣны комнаты?... Тщетно усиливался онъ напрягать свои хорьковые глаза—

до тѣхъ порь, пока часы сосѣдней церкви не пробили четырехъ четвертей: Скруджъ прислушивался и все-таки часа не узналь.

Къ великому его изумлению, тяжелый колоколь пробилъ сначала—шесть, а потомъ—семь, а потомъ—восемь, и такъ—до двѣнадцати, затѣмъ остановился.

Полночь! Онъ уже спалъ два часа, стало-быть?.. Часы, что ли невѣрно бываютъ? Не попада-ли въ волосокъ льдинка? Полночь!

Скруджъ прижалъ машинку своихъ часовъ съ репетиціею, чтобы провѣрить колокольные часы, по его маѣнію, звонившіе вздоръ. Скоренькіе часишкі ударили двѣнадцать разъ и смолкли.

— Какъ-такъ! Не можетъ быть, сказалъ Скруджъ, чтобы я спалъ цѣлый день и проспалъ еще ночь. Не можетъ быть, чтобы солнце повернулось съ полуночи на-полдень! Эта вдяя расшевелила его до того, что онъ соскочилъ съ постели и подошелъ къ окну. Пришлось ему вытереть рукавомъ халата стекло, чтобы разглядѣть что нибудь. Увидалъ онъ только, что очень холодно, что туманъ не снимался, что разные господа проходили взадъ и впередъ, проходили и шумѣли, какъ и подобаетъ, когда ночь и морозъ прогонятъ день, и завладѣютъ міромъ. Скруджу было это большое облегченіе, ибо, безъ этого, чтѣ бы были всѣ заемныя трехъ-дневныя обязательства, подписанныя на имя мистера Эвенезера Скруджа? Были-бы они только залогами на Гудсонскіе туманы.

Скруджъ не понялъ бы трехъ часовыхъ четвертей, не понялъ бы и четвертой, если-бы, зазвонивши, она не напомнила ему объ ожидаемомъ имъ духовномъ посѣщеніи.

Легь онъ опять на постель и рѣшилъ не спать до тѣхъ порь, пока на колокольнѣ не прозвонитъ послѣдняя четверть: заснуть—значило-бы поглотить мѣсяцъ. Рѣшимость Скруджа, была, по крайнему нашему убѣжденію, самая разумная. Эта четверть часа показалась ему такою долгую, что онъ засыпалъ нѣсколько разъ, самъ того не замѣчая и не слыша, какъ били часы. Наконецъ онъ услыхалъ:

- «Динь! Донъ!»
- Четверть! счелъ Скруджъ .
- «Динь! Донъ!»
- Полчаса! сказалъ Скруджъ.
- «Динь! Донъ!»
- Три четверти! «сказалъ Скруджъ.
- «Динь! Донъ!“

— Часъ! крикнулъ восторжествовавшій Скруджъ, и никого! Это говорилъ онъ, пока били часы, но не затихъ еще послѣдній

ударъ глухой, тоскливый, похоронный, — комната облилась яркимъ свѣтомъ и кто-то отдернула постельный занавѣски.

Но не тѣ, что были за спиной, не тѣ, что были въ ногахъ, а тѣ, что были — лицомъ къ лицу. Занавѣски были отдернуты, Скруджъ приподнялся — и лицомъ къ лицу предсталъ передъ него таинственный посѣтитель, отдернувшій занавѣски.

Фигура была странная... Похожа на ребенка, и на старика, что то сверхъ-естественно среднее, что-то такое, получившее способность скрывать свой ростъ и прикидываться ребенкомъ. Волосы у него обвивались около шеи и падали на спину, сѣдые, будто, и въ самомъ дѣлѣ, отъ старости, а на лицѣ не было ни морщинки; кожа была свѣжа, какъ у ребенка, а длинныя руки красовались своими мускулистыми кистями, — признакъ необыкновенной силы. Голыя ноги и икры были у него такъ развиты, какъ будто - бы легко и безчувственно несъ онъ на нихъ все бремя жизни. На немъ была бѣлая бѣлая туника, перетянутая яркимъ, блестящимъ поясомъ.

Въ рукахъ онъ держалъ зеленую вѣтвь остролистника, только что срѣзанного и, вѣроятно ради противорѣчія этой эмблемѣ зимы, былъ усѣянъ все-возможными лѣтними цвѣтами. Но что еще было страннѣе въ его одѣждѣ, это-то, что поверхъ его головы сверкало сияніе, озарившее, вѣроятно, въ минуты радости и горя всѣ мгновенія жизни. Свѣть этотъ выходилъ, какъ я уже сказалъ, изъ его головы, но онъ могъ его затушить, когда хотѣлъ, большой воронкой, или — чѣмъ-то въ родѣ ея, положимъ, — воронкой, прижатой подъ мышкой.

Тѣмъ не менѣе этотъ инструментъ, какой-бы онъ ни былъ, не привлекъ на себя исключительного вниманія Скруджа. Занять его собственно говоря, поясь; то тамъ блеснетъ, то здѣсь, то потухнетъ, и вся физиономія его обладателя, такъ или не такъ, пріиметь соотвѣтственное выраженіе. То — существо однорукое, то — одногоное, то — на двадцати ногахъ безъ головы, то — голова безъ тѣла: члены исчезали, не дозволяя видѣть перемѣны въ своихъ причудливыхъ очеркахъ. А потомъ онъ снова становился самимъ собою, больше чѣмъ когда-нибудь.

— Милостивый государь! спросилъ Скруджъ: вы-ли предсказанный мнѣ духъ?

— Я.

Голосъ былъ такъ сладокъ, такъ пріятенъ, и такъ тихъ, какъ-будто шепталъ не на-ухо Скруджу, а гдѣ-то далеко.

— Да кто-же вы? спросилъ Скруджъ.

— Прошлый праздникъ.

— Прошлый? а давно-ли? продолжалъ Скруджъ, вглядываясь въ ростъ карлика.

— Послѣдній.

Если-бы кто-нибудь спросилъ Скруджа — почему? Онъ-бы-не отвѣтилъ, а все-таки сгораю желаніемъ — нахлобучить на своего посѣтителя извѣстную уже читателямъ воронку, и попросилъ объ этомъ духа.

— Вотъ - еще! крикнулъ призракъ. Не угодно-ли вамъ затушить мірскими руками небесное пламя? Вотъ еще!.. Да не выли одинъ изъ тѣхъ, что надѣли на меня эту шапку изъ одного черстваго самолюбія и заставили нести ее вѣки и вѣки?..

Скруджъ отрекся почтительно отъ всякаго намѣренія оскорбить, или «принакрыть» какого-бы то ни было духа. Потомъ онъ осмѣлился его спросить: что ему угодно?

— Вашего счастія, отвѣтилъ призракъ.

Скруджъ поблагодарилъ, но никакъ не могъ удержаться отъ мысли, что покойная ночь гораздо-бы скорѣе достигла предложенной прѣли. Вѣроятно, духъ поймалъ его мысль на лету, потому-что немедленно сказалъ:

— Вашего счастія, т. е. вашего спасенія... такъ берегитесь-же...

При этихъ словахъ, онъ протянулъ свою крѣпкую руку, и тихонько взялъ подъ руку Скруджа.

— Встаньте и идите за мной! сказалъ онъ.

Напрасно Скруджъ проповѣдывалъ-бы, что время года и часъ не соотвѣтствовали пѣшеходной прогулкѣ, что на постель ему гораздо теплѣе, чѣмъ на дворѣ, что термоиметръ его стоитъ гораздо ниже нуля, что онъ слишкомъ легко одѣтъ, т. е. въ туфляхъ, въ халатѣ и въ ночномъ колпакѣ, да къ тому-же у него и насморкъ — напрасна была-бы вся эта проповѣдь: не было никакой возможности освободиться отъ пожатія этой женственно-мягкой руки. Скруджъ всталъ, но, замѣти, что духъ направляется къ окону, ухватился за полы его одежды, умоляя.

— Вы подумайте: я вѣдь смертный, — упасть могу.

— Позвольте только прикоснуться сюда, сказалъ духъ, положивъ ему руку на сердце: вамъ придется вынести много еще пытокъ. Не успѣлъ онъ договорить, какъ они пролетѣли сквозь стѣ-

ны и очутились на полѣ. Города какъ не бывало. Разомъ исчезли и потьмы, и туманъ, потому-что день былъ зимній и снѣгъ забѣлѣлъ.

— Господи! сказалъ Скруджъ, всплеснувъ руками, и всматривался. Да вѣдь здѣсь я выросъ!

Духъ посмотрѣлъ на него благосклонно. Тихое, мгновенное его прикосновеніе пробудило въ старику бытую чувствительность: пахнуло на него чѣмъ-то прошлымъ, чѣмъ-то такимъ ароматнымъ, что такъ и повѣяло воспоминаніями о прежнихъ надеждахъ, прежнихъ радостяхъ и прежнихъ заботахъ, давнимъ-давно забытыхъ!

— У васъ губы дрожать! сказалъ призракъ. И что это у васъ на щекѣ?

— Ничего, прошепталъ Скруджъ странно-взолнованнымъ голосомъ: не страхъ мнѣ вырвалъ щеку, это, не признаю его, а просто—ямочка. Ведите меня—куда надо.

— А дорогу вы знаете? спросилъ духъ.

— Я-то! крикнулъ Струджъ. Да я найду ее съ завязанными глазами.

— Странно, въ такомъ случаѣ, что вы ее забыли въ теченіе столькихъ лѣтъ! замѣтилъ духъ. Пойдемте.

Пошли по дорогѣ: Скруджъ узнавалъ каждые ворота, каждую верею, каждое дерево, до тѣхъ поръ, пока передъ ними не показался въ отдаленіи городокъ, съ мостомъ, соборомъ и извилистой рѣчкой. Нѣсколько длиногривыхъ пони, запряженныхъ въ телѣжки, проплели мимо. На пони сидѣли мальчишки и весело перекликались.

— Это вѣдь только тѣни прошлага, сказалъ призракъ: они не видѣть насъ.

Веселые путешественники проѣзжали мимо, и Скруджъ узнавалъ каждого изъ нихъ, и называлъ по имени.

И почему онъ былъ такъ доволенъ ихъ видѣть? И почему его взглядъ, постоянно безжизненный, вдругъ ожилъ?

И почему его сердце задрожало при видѣ этихъ проѣзжихъ? И почему былъ онъ такъ счастливъ, когда услыхалъ обоюдныхъ поздравленія съ наступающимъ праздникомъ, на пути ко всякому перекрестку? И развѣ могъ быть для Скруджа веселый рождественскій праздникъ? Для него веселый рождественскій праздникъ былъ—парадоксъ. Ничего онъ ему никогда не принесъ.

— Школа еще не совсѣм опустѣла: тамъ остался еще одинокій ребенокъ, забытый всѣми товарищами! сказалъ духъ.

— Узнаю, подтвердилъ Скруджъ, и вздохнулъ глубоко. Свернули они съ большой дороги на проселокъ, коротко знакомый Скруджу, и приблизились къ строенію, изъ темнаго кирпича, съ флюгеркомъ на верху.

Надъ крышей висѣлъ колоколъ; домъ былъ старинный; надворные строенія пустовали: стѣны ихъ просырѣли и обомшились, стекла въ окнахъ были перебиты, двери соскачили съ петлей. Въ конюшняхъ чванливо кудахтали куры; сараи и амбары поросли травою. И внутри не сохранило это зданіе своего быаго видѣя, потому-что кто-бы ни вступилъ въ темныя сѣни, кто-бы ни взглянулъ въ раскрытые двери на длинный рядъ отворенныхъ комнатъ, увидаль-бы, какъ онѣ обѣднѣли, обветшали, какъ онѣ холодны и какъ одиночествуютъ. Пахло холодной, нагою тюрьмой, или рабочимъ домомъ, гдѣ каждый день выбивались изъ силъ, и все-таки голодали. Прошли духъ и Скруджъ въ заднюю сѣнную дверь, и увидали длинную, печальнную залу съ сосновыми школьнными скамьями и пульпитами, выровненными въ рядъ. У одной изъ пульпитъ, пригрѣтый слабымъ печнымъ огонькомъ, сидѣлъ одинокій ребенокъ и что-то читалъ. Скруджъ сѣлъ на скамейку и заплакалъ, узнавъ самого себя, постоянно забытаго и покинутаго.

Не было ни одного отзыва, заглохшаго въ домѣ, ни одного писка мышей, дравшихся за обоями, ни одной полузамороженной капли, падавшей на задворкѣ изъ водомета, ни одного шелеста вѣтра въ обезлиственныхъ вѣтвяхъ тощей тополи, ни одного скрипа дверей опустѣлого магазина, ни малѣйшаго треска огонька въ камелькѣ, — ничего, ничего, чтобы ни прозвучало въ сердцѣ Скруджа, что ни выдавило-бы у него изъ глазъ обильного ручья слезъ.

Духъ тронулъ его за руку, и указалъ ему на ребенка, на этого „самого себя“ Скруджа, углубленнаго въ чтеніе.

— Вѣдній ребенокъ! сказалъ Скруджъ, и опять заплакалъ. Хотѣлось-бы мнѣ, прошепталъ онъ, засунувъ руку въ карманъ, отглядываясь, и отирая рукавомъ глаза, хотѣлось-бы мнѣ, да поздно...

— Что такое поздно? спросилъ духъ.

— Ничего, отвѣтилъ Скруджъ, ничего. Вспомнилъ я о мальчикѣ... Вчера у меня Христа славилъ... Хотѣлось-бы мнѣ ему дать что-нибудь: вотъ и все...

Раздумчиво улыбнулся призракъ, махнулъ Скруджу рукой, чтобы замолчать, и проговорилъ:

— Посмотримъ на новый праздникъ.

Скруджъ увидалъ самого себя уже подросткомъ въ той же залѣ, только побольше темной и побольше закоулѣй. Подоконники рас трескались; перелопались стекла; съ потолка свалилась кучами из вестка и оголила матицу. Но — какъ это все въ очио совершилось, Скруджъ не понялъ, точно такъ-же, какъ и вы, читатели.

Но понялъ онъ вотъ-что:

Что все это — было, что изъ тогдашнихъ школьниковъ остался онъ въ этой залѣ одинъ, какъ и прежде, а всѣ остальные, какъ и прежде, убрались во-своиа, повеселиться на святкахъ.

Читать онъ уже не читалъ, но шагалъ по знакомой залѣ, взадъ и впередъ, въ полномъ отчаяніи.

Скруджъ посмотрѣлъ на юнаго духа, тоскливо покачалъ головой, и тоскливо глянула на сѣнную дверь. Дверь распахнулась настежь и въ нее влетѣла стрѣлкой маленькая дѣвочка. Обвилась руками кругомъ шеи Скруджа и стала цаловать, лепеча:

— Голубчикъ — голубчикъ мой братецъ, за тобой прїѣхала? говорила она, хлопая въ ладоши маленькими своими рученками, и покатываясь со-смѣху. Домой! домой! домой!

— Домой! моя малютка Фанни спросилъ мальчикъ.

— Домой! повторила она, просиявши всѣмъ лицомъ, и на всегда, навсегда!... Папенька теперь такой добрый, что въ домѣ рай. Какъ-то вечеромъ, на ночь, стала онъ говорить со мной такъ нѣжно, что я уже не побоялась спросить у него: нельзя-ли взять тебя на праздникъ домой? Отвѣчалъ: „можно.“ И повозку со мною прислалъ. Неужели ты ужъ большой? продолжала она, поглядѣвъ на Скруджа во всѣ глаза... Стало быть, ты сюда никогда ужъ не вернешься?... на святкахъ мы съ тобой повеселимся.

— Да, вѣдь, кажется, и ты уже женщина, малюточка — Фанни? крикнулъ юноша.

Опять Фанни захлопала въ ладоши, и опять покатилась со-смѣху. Потомъ хотѣла погладить Скруджа по головѣ, но по малости своего роста, не достала, — еще разъ расхохоталась и приподнялась на ципочки — поцаловать. Тогда, во имя этого ребачески — откровеннаго поцалуя, потащила его къ двери, и поспѣлъ онъ за ней безъ малѣйшаго сожалѣнія о школѣ.

Въ сѣняхъ они услыхали страшный голосъ:

— Выкинуть чемоданъ мистера Скруджа!... Скорѣй!...

Всѣдѣ за этимъ голосомъ появился и самъ его обладатель, наставникъ школьнаго, — потрясъ ему руку такъ, что привѣтъ его въ неописанный трепетъ, ради разлуки. Затѣмъ и братца и сестрицу пригласилъ онъ въ отжившую свой вѣкъ залу, до того низкую, что можно было принять ее за погребъ, и до того холодную, что въ простынкахъ ея оконъ мерзли и земные и небесные глобусы. Пригласилъ и поподчизалъ молодую чету такимъ легонькимъ винцомъ, и такимъ тяжелымъ пирожкомъ, словомъ, такими лакомствами, что когда выслалъ невзрачнаго своего служителя — угостить чѣмънибудь дожидавшагося почтальона, — почтальонъ отвѣчалъ, что если намеднишнімъ винцомъ, ужъ лучше бы не подносиль. Тѣмъ временемъ чемоданъ мистера Скруджа былъ укрѣпленъ на верхъ повозки; радостно простились дѣти съ воспитателемъ, и весело пронеслись по садовой просѣкѣ, всѣнливая колесами экипажа и снѣгъ, и иней, обсыпавшій хмурые листья деревьевъ.

— Была въ ней искра Божьяго огонька, сказаль призракъ, и задуть ее можно было однимъ дуновенiemъ, да сердце-то у нея билось горячо...

— Правда ваша, отвѣчалъ Скруджъ, и оборони Богъ — мнѣ съ вами обѣ этомъ спорить.

— Вѣдь она, кажется, была замужемъ, спросилъ духъ и умерла, оставивъ по себѣ двухъ дѣтей?

— Одного, отвѣчалъ Скруджъ.

— Ваша правда, продолжалъ духъ: одного — вашего племянника.

Скруджу стало какъ-то неловко, и отвѣчалъ онъ коротко:

— Да.

Не смотря на то, что Скруджъ только-что выѣхалъ изъ школы, очутился онъ на многолюдныхъ улицахъ какого-то города: словно тѣни пронеслись передъ нимъ, не — то люди, не — то телѣжи, не — то кареты, оспарившіе другъ у друга мостовыя, и перекликались на мостовыхъ и шумъ, и всевозможные возгласы настоящаго города. Было ясно, по яркимъ выставкамъ товаровъ въ лавочкахъ и магазинахъ, что и тамъ празднують канунъ Рождества Христова; какъ ни темень былъ вечеръ, улицы освѣтились.

Духъ остановился у двери какого-то магазинчика, и спросилъ у Скруджа: узнаеть-ли?

— Это что за вопросъ?... сказалъ Скруджъ. Вѣдь здѣсь я учился, здѣсь прикащикомъ быль.

Оба вошли. При видѣ старичка, въ уэлльскомъ парикѣ, засѣвшаго за конторкой такъ высоко, что — будь въ этомъ джентльмэнѣ еще хоть два дюйма росту, — онъ бы навѣрно стукнулся теменемъ о потолокъ, взволнованный Скруджъ крикнулъ:

— Да, вѣдь это самъ Феццивигъ воскресъ, и да простить старика Всеышнай!

Старикъ положилъ перо и взглянулъ на часы: было семь. Весело потеръ онъ руки, обдернулъ широкій камзолъ, засмѣялся съ головы до пяточъ, и провозгласилъ:

— Эвенезеръ! Диккъ!

Былой Скруджъ вошелъ, въ сопровожденіи своего бывшаго товарища.

— Да — это навѣрно — Диккъ Уиллькинсъ! замѣтилъ Скруджъ призраку... Да смируется надо мною Богъ: это онъ, когда-то любовно мнѣ преданный!

— Ну-же-ну ребята! кричалъ Феццивигъ. — Чѣдѣ теперь за работа?.. Сочельникъ, Диккъ! Сочельникъ, Эвенезеръ! Живо — ставни на запоръ!

Вы никогда и не повѣрите, какъ кинулись оба молодца на улицу со всѣхъ ногъ: разъ-два-три — и дѣло было кончено!... Только зашыхались, какъ скакуны...

— Го-го! кричалъ Феццивигъ: долой все отсюда, ребята! Простору — простору! Мигомъ, Диккъ, мигомъ, Эвенезеръ!

Долой!.. Да они-бы сина пороха не оставили, въ глазахъ у самого Феццивига... Все подъемное исчезло во мгновеніе ока; поль былъ выметенъ и вспрыснутъ; лампы зажжены; въ камелекъ брошеннъ цѣлый ворохъ угла: изъ магазина выплыла бальная зала, такая-же теплая, сухая и освященная, какой и подобаетъ ей быть для святочного вечера. Появился вдругъ и скрипачъ со своими нотами, вскарабкался на каѳедру, и сталъ пилить по струнамъ — хоть за бока держись!.. Появилась и леди Феццивигъ — олицетворенная улыбка во весь ротъ; появились и три боготворимо-сѧющія миссы Феццивигъ, а за ними и шестеро несчастливцевъ, произненныхъ стрѣлами дѣственныхъ очей въ самое сердце, а за ними: вся молодежь, прислуживавшая въ домѣ; служанка со своимъ двоюроднымъ братцемъ булочникомъ: кухарка съ неизмѣннымъ другомъ своего брата; голодный, по подозрѣнію, что его не кормить хозяинъ, сосѣдъ

прикащикъ съ дѣвушкой, которую его хозяйка достовѣрно теребила за уши... Все—это вышло, все заплясало и совершенно сбило съ толку старую чету Феццивиговъ, неустанно путая фигуры и теряя кадансъ... Наконецъ, старику пришлось хлопнуть въ ладоши и крикнуть скрипачу: „Баста!“ Артистъ утѣшился опрокинувъ себѣ въ горло заранѣе — приготовленный жбанъ пива, и пересталъ пилить. Только немедленно же принялъся опять за свое, съ прежнимъ, нѣтъ — не съ прежнимъ, съ новымъ жаромъ, словно ему вскочилъ на плечи еще такой же ярый музыкантъ.

Потомъ еще поплясали, вынули фанты, поплясали еще опять; потомъ отвѣдали сочельническаго пирога и шипучаго лимонада, да чуть не полбыка, да пирожковъ съ мяснымъ фаршемъ, да холоднаго бульона, да многое—множество пива... Но наибольшій восторгъ, послѣ бульона и жаркого произвелъ скрипачъ (между нами,—такой чертовской плутяга, что ни мнѣ, ни вамъ не провести его), когда запилилъ; „Sir Robert de Coverley *)“. Тогда-то вышелъ на сре-дину старикъ Феццивигъ съ мистриссъ Феццивигъ. Оба они стали въ главѣ танцующихъ. Вотъ-такъ ужъ была имъ работа: вести и направлять двадцать игръ, или двадцать четыре пары, а шутить съ ними было не легко!... Но, если-бы парѣ было больше вдвое, или даже и вчетверо, старикъ Феццивигъ и тѣгда-бы не отказался пропить стѣны лбомъ, да и мистриссъ Феццивигъ также... Потому: заключала въ себѣ она достойную, истинно-полную половину мистера Феццивига... Если это не похвала, пріющите чтонибудь другое: я, со своей стороны, отказываюсь. Икры господина Феццивига,—да простятъ намъ это сравненіе,—были рѣшительно фазисами мѣсяца; появлялись, исчезали, появлялись снова... И, когда старая чета Феццивиговъ окончательно исполнила: „аванс-рекюль; руки дамамъ; баланс-салют; тир-бушонъ; нитка въ нитку и по мѣстамъ“, Феццивигъ такъ легко выдѣлывалъ антраша, какъ будто-бы перебиралъ ногами на флаголетѣ, а потомъ вдругъ выпрямлялся на тѣхъ-же ногахъ, какъ I...

Наконецъ, въ одинадцать часовъ балъ кончился и супруги, пожимая руки своимъ посѣтителямъ, поздравили ихъ, на прощанье, съ наступающимъ праздникомъ. Пожали они, на прощанье, руки и у своихъ прикащиковыхъ, а тѣ, какъ имъ и подобало, отправились—залечь въ заприлавочную.

*) Т. е. «Серь Робертъ де Коверлей», національная пѣсня, едва-ли переводичая, какъ—положимъ—наша «камаринская».

Всё это время Скруджъ былъ,—правду молвить,—чѣмъ-то въ родѣ бѣсноватаго. Душой и сердцемъ слился онъ со вторымъ я: вездѣ и повсюду онъ узнавалъ *самою-себя*, съ былыми радостями, восторгами и надеждами. Только тогда, когда его собственное и Дикка сияющія лица исчезли,—только тогда онъ опомнился, сталъ *настоящимъ* Скруджемъ и вспомнилъ о духѣ....

А Духъ впился въ него своими пронзительными взорами, и надъ его головой ярче и ярче сверкало пламя.

— А вѣдь не много требуется, сказаль онъ, чтобы внушить этимъ дурачкамъ чувство благодарности?

— Не много? повторилъ Скруджъ.

Духъ подалъ ему знакъ — вслушаться въ разговоръ молодыхъ прикащиковъ: отъ всей полноты души превозносили они Феодровига...

— А за что они его восхваляютъ? прибавилъ духъ. Кажется, изъ-за бездѣлицы: трехъ-четырехъ фунтовъ стерлинговъ, считая на ваши земные цѣны?. Неужели-же стоитъ его за это славословить?

— Не въ томъ дѣло, замѣтилъ Скруджъ, невольно преображеный въ свое былое я — дѣло не въ томъ, духъ!.. Отъ Феодровига зависить наша доля: хорошо-ли, не хорошо-ли будетъ намъ у него служить, все это зависитъ отъ него, отъ его взгляда, его улыбки, ото всего, чего ни перекинуть на счетахъ, ни въ конторскую книгу внести нельзя. И что-же! Скажетъ слово, — золотомъ осыплеть.

Скруджъ, говоря это, успѣлъ уловить пронзительный взглядъ духа, брошенный искоса, и замолчалъ.

— Что съ вами? спросилъ призракъ.

— Ничего особенного, отвѣтилъ Скруджъ.

— Однако-же мнѣ показалось?.. настаивалъ призракъ.

— Ничего! поспѣшилъ удостовѣрить Скруджъ. Ничего!.. Хотѣлось-бы мнѣ только сказать два-три слова моему прикащику... Вотъ и все.

Въ это время былое я Скруджа угасило лампу, и призракъ вмѣстѣ съ Скруджемъ очутились, бокъ-объ-бокъ, на вольномъ воздухѣ.

— Мнѣ пора! проговорилъ духъ, живѣй!

Это слово было сказано не Скруджу, не кому-либо изъ видимыхъ имъ лицъ, но воплотилось оно, и Скруджъ снова увидалъ второе я. Былъ онъ, правда, немножко постарше, — въполномъ цвѣтѣ лѣтъ, какъ говорится. На лицѣ его были уже признаки возмужа-

лости, но и скучность успѣла провести по немъ свою бороздку. По однімъ безпокойно бѣгавшимъ глазамъ можно было догадаться—какая страсть овладѣла этою душою; по тѣни можно было уже опредѣлить подростокъ дерева.

Теперь Скруджъ былъ не одинъ: рядомъ съ нимъ сидѣла молода, красивая дѣвушка въ траурѣ, и слезы въ ея глазахъ отсвѣчивали Скруджу быlyмъ сочельникомъ, озареннымъ сіяніемъ призрака.

— Нѣтъ нужды, говорила она тихимъ голосомъ, нѣтъ нужды,— вѣмъ—по крайней мѣрѣ! Другая страсть замѣнила вашу, передъ другимъ идоломъ преклонилась ваша душа.

— Передъ какимъ это идоломъ? спросилъ Скруджъ.

— Передъ золотымъ тельцомъ.

— И вотъ людская справедливость! вскрикнулъ онъ. Ничего люди такъ жестоко не преслѣдуютъ, какъ бѣдность, и не противъ чего такъ неожесточаются, какъ противъ желанія разбогатѣть.

— Вы слишкомъ боитесь общественнаго мнѣнія, такъ-же нѣжно продолжала молода дѣвушка: вы пожертвовали лучшими вашими надеждами,—для избѣженія позорного свѣтскаго приговора. Была я свидѣтельницей, какъ ваши благороднѣйшия стремленія стирались одни за другими,—все въ жертву единственной вашей страсти: корысти. Правда?

— Такъ что-же? Положимъ, что я умию съ годами... Для васъ-то я все тотъ-же!

Она покачала головой.

— Развѣ я измѣнился?

— У насъ давнишнія обязательства... Скрѣпили мы ихъ, бѣднаги, оба—довольные убогимъ жребіемъ, и оба выжидали случая устроиться. Вы очень измѣнились съ тѣхъ поръ...

— Да вѣдь я тогда былъ ребенкомъ, нетерпѣливо замѣтилъ Скруджъ.

— Ну, а теперѣ васъ тяготятъ наши прежнія обязательства?

— Я этого не говорилъ, опять замѣтилъ Скруджъ.

— Не говорили, но показывали. А если-бы я васъ освободила отъ вашего слова, предложили-ли-бы вы мнѣ свою руку, какъ прежде?

Скруджъ хотѣлъ было отвѣтить, но она продолжала:

— Вы поступили-бы плохо, женившись на мнѣ, потому что скоро-бы раскаялись, и съ радостью ждали-бы дна нашей несомнѣнной разлуки.

Воть что сказала она, и изчезла.

— Духъ! началь Струджъ.—Нельзя-ли мнъ ничего такого не показывать? Отведите меня домой... что вамъ за охота меня мучить?

— Еще одна твѣ! крикнулъ призракъ.

— Ой, нѣть—нѣть!.. завопилъ Скруджъ.—Не показывайте ужъ мнъ ничего такого...

Но неумолимый призракъ сжалъ его въ своихъ крѣлкихъ объятіяхъ, и заставилъ насильно вглядываться въ былое.

Мигомъ перенеслись они въ иное мѣсто, и иной видъ поразилъ ихъ взоры. Увидали они небольшую, не роскошную, но пріятную и удобную комнату. У жарко разведенного, зимняго камелька сидѣла хорошенъкая молодая дѣвушка, до того похожая на первую, что Скруджъ сбился было съ толку. Но скоро увидалъ онъ и свою первую знакомку, уже мать семейства, окруженнюю, не считая старшей дочери, цѣлой ватагой дѣтей. Нельзя, даже и приблизительно, представить себѣ, что это быдъ за шумъ и гамъ, поднятый ребятишками. Такъ и напоминали они собой старую сказку о сорока молчаливыхъ дѣтяхъ, только наоборотъ: каждый изъ нихъ пошелъ-бы одинъ за сорокъ.

И вдругъ все смолело...

Съ громомъ распахнулась сѣнная дверь, и вошелъ самъ отецъ семейства—съ игрушками... Вмигъ были они расхватаны, и вмигъ скрылась вся ватага въ свѣтельку. Освободившійся счастливый отецъ усѣлся между женою и дочерью. Тогда-то понялъ Скруджъ значеніе великихъ словъ отца и мужа, и понялъ все, что онъ потерялъ въ жизни. Оттеръ онъ себѣ глаза...

— Белла, сказалъ мужъ, видѣлъ я сегодня вечеромъ твоего старого старого друга...

— Неужели Скруджа?

— Его. Шелъ мимо конторы, увидалъ свѣть, заглянуль въ окно одинъ, какъ всегда... Говорять,—его подручный умираеть.

— Духъ! прошепталъ, задыхаясь Скруджъ: увѣли-бы вы меня отсюда...

— Я вамъ обѣщалъ, сказалъ духъ, показать тѣни прошлаго, не пеяйте-же на меня, если былое было...

— Уведите меня, говорилъ Скруджъ: не могу я больше переносить этого зрѣлища!...

Взглянуль онъ на духа, увидалъ, что по непонятному стечению, т. п.

нию обстоятельствъ, усматриваетъ онъ на его лицѣ всѣ былые, знакомыя ему лица,—увидалъ и бросился на него.

— Отстань отъ меня! Оставь меня! Перестань меня мучить! кричалъ онъ.

Среди возникнувшей борьбы, если можно употребить слово,— «борьба» (потому, что духъ и пальцемъ не юшевелилъ), Скруджъ замѣтилъ, что сіяніе надъ головой его противника разгоралось больше и больше.

Примѣня это обстоятельство къ вліянію, производимому на него духомъ, Скруджъ ухватился обѣими руками за извѣстную читателемъ воронку-гасильницу и нежданно нахлобучилъ ею призрака духа. Тотъ такъ и присѣлъ, на сколько хватило воронки.

Но тщетно налегалъ Скруджъ всѣмъ тѣломъ на этотъ гасильникъ: сквозь его металлическія стѣнки такъ и пробивались яркіе лучи и разсыпались по полу. Скруджа давно уже клонило ко сну; сдѣлалъ онъ послѣднее усиленіе изнеможенной рукою,— надавилъ гасильникъ, и упалъ на свою постель,—сонный, что мертвый...

Третья строфа.

•ВТОРОЙ.

Разбуженный чымъ-то богатырскимъ храпомъ, Скруджъ приподнялся на постелѣ, и нечего было ему говорить: «который часъ?» Сердцемъ онъ его почуялъ: былъ именно часъ! «Вспомниль Скруджъ очень ясно вѣщія слова Мэрлея, и пробѣжалась у него дрожь отъ головы до пятокъ, когда кто-то отдернулъ у него занавѣски, прямо съ лицевой стороны кровати...

Неугодно-ли, господа вольнодумцы, полежать минутку-другую подъ одною простынею съ досточтимъ мистеромъ Скруджемъ?..

Никто не отдергивалъ занавѣсоѣ; но изъ ближайшей комнаты врывался во всѣ скважины какой-то фантастической свѣтлы, и Скруджъ началъ положительно раздумывать: нѣтъ-ли, и въ самомъ дѣлѣ, кого-нибудь тамъ, рядомъ?

Разумѣется такъ: его кто-то даже и позвалъ. Отворилъ онъ дверь, на голось, въ ближайшую комнату, вошелъ со свѣтлой и увидалъ вотъ что:

Увидалъ онъ собственную свою гостиную, но значительно измѣненную. Стѣны и потолокъ были затканы свѣткой зелени и красовались алыми ягодами, словно въ гостиной цѣлая роща поднялась за вечеръ...

Въ листочкахъ остролистника, омелы и плюща свѣтъ отражался и игралъ, какъ въ мириадахъ маленькихъ зеркалъ. Въ каминѣ таѣлъ и трещалъ, такъ и пылалъ огонь, да такой, что такого огня, никогда, ни въ одну зиму, даже и не подозрѣвалъ тощій, холодѣющій камелеонъ «Скрудж и Мэрлеа». На полу лежали высокой кучей, чѣмъ-то въ родѣ престола: индѣйки, гуси, всякая дичь и живность, всякое мясо, — поросыта, окорока, аршинныя сосиски, колбасы, пирожки съ фаршемъ, плом-пуддинги, боченки съ устрицами, печеные каштаны, румяные яблочки, сочные апельсины и груши, громадные «крещенскіе» пироги, — и, за всѣмъ за этимъ, полныя аромата пуншевыя чаши... Веселый великанъ — «на показъ» засѣдалъ, потягиваясь, на диванѣ; въ рукѣ у него было что-то въ родѣ свѣточа, похожаго на «рогъ изобилия», и онъ его приподнялъ, когда Скруджъ заглянулъ въ полуоткрытую дверь.

— Войдите! крикнулъ призракъ. Войдите, не бойтесь... Познакомьтесь со мною, любезный!

Скруджъ вошелъ съ робкимъ поклономъ: былъ онъ уже не прежній хмурый Скруджъ, и хотя благосклоннымъ взоромъ глядѣлъ на него духъ, Скруджъ все-таки не поднималъ глазъ.

— Я — нынѣшній *праздникъ*! сказалъ духъ. — Взгляните на меня...

Скруджъ почтительно повиновался. *Праздникъ* былъ не то въ халатѣ, не то въ тунике, но только въ чёмъ-то темно-зеленаго цвѣта и съ бѣлой мѣховой выпушкой. Эта одежда была накинута на него такъ небрежно, что вся его широкая грудь вышла наружу. Ноги также были обнажены, а на головѣ только и убора, что вѣночекъ изъ остролистника, осыпанный алмазами инея. Длинные кудри его черныхъ волосъ развѣвались по волѣ; глаза горѣли, рука была протянута дружески; голосъ звучалъ радостно; всѣ его пріемы были положительно непринужденны. При бедрѣ у него висѣли ржавые ножны безъ шапки.

— Вы еще никогда *такого* не видали? крикнулъ духъ.

— Никогда еще, отвѣтилъ Скруджъ.

— Развѣ вамъ никогда не случалось столкнуться по дорогѣ съ моими меньшими... виновать! — съ моими старшими братьями?.. Я вѣдь такъ еще молодъ!.. говорилъ духъ.

— Боюсь, право боюсь, что не случалось, отвѣчалъ Скруджъ. — А много у васъ братьевъ, духъ?

— Да... тысяча восемь сотъ съ чѣмъ-то проговорилъ духъ.

— Семейка! прошепталъ Скруджъ. Вотъ-такъ расходель на дому....

Духъ приподнялся съ мѣста.

— Послушайте! сказалъ Скруджъ. Сведите меня куда-нибудь сегодня я получилъ такой урокъ, что во вѣкъ не забуду...

— Притроньтесь къ моей одеждѣ, отвѣчалъ ему духъ.

Скруджъ такъ и вѣнился. Остролистникъ, омела, красныя ягоды, плющъ, индѣйки, гуси, дичь, живность, окорока, поросата, сосиски, устрицы, пироги, пуддинги, плоды и чуншъ, — все разомъ исчезло. Исчезли также и комната, и огонь въ каминѣ, и красноватый отблескъ огня, даже и ночь сама, — все исчезло.

Очутились они уже утромъ, рождественскимъ утромъ, на улицѣ. Холодненько было; обыватели разыгрывали нѣсколько дикій, но оживленный концертъ, скреби панели передъ своими домами, и сметая снѣгъ съ крышъ, къ вѣщей радости мальчишекъ, восторгавшихся этими искусственными лавинами.

Фасады домовъ черѣли на бѣлой скатерти снѣга, и еще болѣе чернѣли на ней черныя окна... Но все это не мѣшало чистильщикамъ на крышахъ: перекликались они между собою, перекидывались снѣжками и хохотали отъ чистаго сердца, если промахивались.

Зеленныя лавки и фруктовые магазины сияли въ полномъ вѣблескѣ: пузатые каштаны, которыхъ, —такъ вотъ и кажется—хватить ударъ; испанскій чеснокъ — фотографія рыжеватыхъ монаховъ его родины, съ задирающими взглядами на дѣвушекъ; опять-таки груши, опять-таки яблоки, скученные во вкусныя пирамиды; кисти винограда, затѣйливо развѣшенныя продавцами, именно на томъ мѣстѣ, чтобы у покупателей слюнки потекли; вороха орѣховъ мицкѣихъ и смуглыхъ, съ запахомъ любовныхъ лѣсныхъ прогулокъ, по щиколотку въ сухихъ листьяхъ, сочные апельсины и лимоны,—все это такъ и просилось прямо въ ротъ. Золотыя и серебрянныя рыбки, не смотря на всю апатичность своей природы, также суетливо разѣвали рты, какъ-будто собирались что-нибудь проглотить. Именно въ этотъ самый день, у прикащика Скруджа, мистера Кретчита, происходило нижеслѣдующее:

О! какой-же былъ у его многочленной семьи дивный пуддингъ!.. Бобъ Кретчить объявилъ, совершенно спокойно и серьезно, что этотъ пуддингъ онъ признаеть наилучшимъ произведениемъ мистриссъ Кретчить со дня ихъ свадѣбы. Мистриссъ Кретчить замѣтила на это, что теперь, когда у нея отпало отъ сердца такое тяже-

лое бремя, должна она заявить о своей былой болезни: не очень-ли много перенесла она муки? Каждый изъ семьи счел долгомъ выразить по этому поводу свое мнѣніе; но никто не упомянулъ о томъ, что для такой семьи пуддинга было очень мало. Откровенно говоря: не хорошо было бы обѣ этомъ подумать и сказать; и всякой изъ Кретчитовъ, при этой мысли, сгорѣлъ бы со стыда.

Наконецъ пообѣдали, сняли скатерть, подмели, огонекъ расшевелили. Бобъ сдѣлалъ грогъ—оказался отличнымъ; поставили на столъ яблоки и апельсины, поставили и полную пригоршню печеньихъ каштановъ. Тогда-то вся семья собралась у каминка, какъ выражался Кретчить: *кругомъ, т. е. сказать-то онъ хотѣлъ полу-кругомъ*; тогда и поставили передъ нимъ, Бобомъ, всѣ семейные хрустали, какъ-то: двѣ рюмки и молочникъ безъ ручки. Ну что жъ изъ этого все равно: въ нихъ налилась все та же кипучая жидкость, которая налилась-бы и въ золотыя чаши. Бобъ предложилъ такой тостъ:

— Съ веселымъ праздникомъ, храни насъ Богъ!

Вся семья откликнулась.

— Да хранить насъ Богъ!

— Духъ! сказалъ Скруджъ. Добрый духъ!.. Неужели ктонибудь изъ нихъ умретъ отъ нищеты?

— Не знаю! отвѣчалъ духъ: если кто и умретъ, только уменьшить безполезное народонаселеніе.

Скруджъ покаянно наклонилъ голову.

— Слушай ты! сказалъ ему духъ.— Сиѣшь-ли ты разсудить о смерти?.. Господи Боже мой! Какое-то наскѣкомое сидитъ у себя на листѣ и разсуждаетъ о жизни и смерти другихъ насѣкомыхъ!..

Скруджъ покорно принялъ этотъ упрекъ, и весь дрожа, потупилъ взоры въ землю. Но скоро онъ поднялъ ихъ, услыхавъ.

— За здоровье мистера Скруджа! кричалъ Бобъ.

— Предлагаю всѣмъ выпить за здоровье моего хозяина, мистера Скруджа!

— Хорошъ хозяинъ! перебила мистриссъ Кретчить. Попадись онъ мнѣ въ лапы, показала-бы я ему...

— Да милый дѣти!... замѣтилъ Бобъ, праздникъ...

— Развѣ на то праздникъ, чтобы пить за здоровье такого скажиаго, Робертъ! Ты самъ знаешь...

— Милая моя! Такимъ-же нѣжнымъ голосомъ продолжалъ Бобъ.—Попомни: вѣдь сегодня сочельникъ.

— За твое здоровье я выпью, выпью и за сочельнинъ, возразила мистрисс Крэтчт; но только не за него! А если и выпью, ему не поздоровится... А впрочемъ, Богъ съ нимъ—для праздника!

Дѣти выпили за здоровье мистера Скруджа, вслѣдъ за своею матерью, хотя и не охотно.

Одно напоминовеніе его имени кинуло тѣнь на ихъ свѣтлый, дѣтскій праздникъ.

Но тѣнь эта была минутная, и пронеслась она...

Оторвавшись отъ этой семейной сцены, Скруджъ, вмѣстѣ съ духомъ, понесся по пустыннымъ улицамъ города.

Мрачно и черно надвигалась ночь; снѣгъ падалъ хлопками; но и въ кухняхъ, и въ гостиныхъ сверкали огоньки съ необыкновеннымъ эффектомъ. Вотъ здѣсь, мерцающее пламя обозначало приготовленіе къ семейной трапезѣ, съ подогрѣтыми тарелками и съ багровыми занавѣсками, предохранительницами отъ уличного холода и мрака. Вотъ тамъ все ребятишки выбѣжали на встрѣчу или замужнихъ сестрицъ, или братцевъ, или двоюродныхъ братцевъ, или дядей или тетокъ, чтобы на перерывъ поздравить ихъ съ праздникомъ. Далѣе на сторахъ рисовались силуэты дѣвушекъ красавицъ, въ капорахъ и въ мѣховыхъ ботинкахъ: собирались они, говорливые пташки, куда-то на вечеръ... И горе холостаку (онъ уже наворожили), и горе ему, если онъ взглянетъ на ихъ щечки, нарумзанные морозомъ. Судя по числу прохожихъ, можно было подумать, что ужъ въ домахъ не осталось ни одного человѣка для привѣта желанныхъ гостей, а между тѣмъ, не было ни одного дома, гдѣ-бы гостей не ждали, гдѣ-бы для нихъ не пылало биткомъ набитаго угольями камина. Потому-то, Господи праведный! Какъ-же восторгался духъ! Какъ раскрывалъ онъ свою широкую грудь! Какъ протагивалъ мощную руку! Какъ онъ парилъ надъ этой толпою, пригоршнями брызгая на нее своей свѣтлою радостью, края всѣхъ, кто подвертывался подъ руку! Даже и фонарщикъ, сей возжигатель и сѣятель искорь сѣята по темнымъ улицамъ, даже и онъ совершенно уже одѣтый на вечеръ, даже и онъ заходталъ при взглядѣ на духа, хотя и не подозрѣвалъ, что встрѣтился лицомъ къ лицу съ самимъ великимъ „праздникомъ“.

Вдругъ духъ, не говоря ни слова, перенесъ своего собесѣдника въ такое пустынное болото, обсаженное такими громадными камнями, что конечно можно было его назвать кладбищемъ великановъ. Вода

просачивалась повсюду, — такъ и била ключомъ изъ земли, — да морозъ наложилъ на нее руку и удержалъ въ достодолжномъ повиновеніи. Кромѣ моха, кромѣ дрока и кое-какихъ тощихъ былинокъ, ничего не было вокругъ.

По край-небу, съ заката, солнце провело своими лучами багровую дорожку надъ этой безотрадной мѣстностью, и — надо было видѣть, — какъ закатывалось оно, какъ жмурилось и дремало, и какъ наконецъ, совсѣмъ заснуло...

— Гдѣ мы? спросилъ Скруджъ.

— Въ самомъ сердцѣ земли, гдѣ трудятся столько лѣтъ рудокопы... Да вотъ поглядите!...

Сказавши эти слова, духъ пронесся со Скруджемъ мимо хижины, где старый дѣдъ угольщикъ праздновалъ Рождество со своими внучатами... Взглянули они на радостныя лица и полетѣли далѣе...

Пронеслись они и надъ шумнымъ моремъ, прямо къ маяку; о маякѣ разбились пѣнныя волны, брыжжа на крылья бурныхъ чаекъ. Дочери, быть можетъ, самого вѣтра, — опускались и поднимались чайки надъ пловучими лужайками морской травы и водорослей.

Но, даже и здѣсь двое мачтныхъ сторожей развели праздничный огонекъ, и колыхался онъ искрами на волнахъ.

Протянувъ другъ-другу намозленные руки, сторожа пригубили грога и поздравили другъ-друга съ праздникомъ. Старшій изъ двоихъ затянулся какую-то дикую пѣсню, да такъ затянулся, что его голосъ можно было принять за ревъ бури.

Духъ все летѣлъ, все летѣлъ надъ темными, разыгравшимися моремъ, пока не опустился вмѣстѣ со Скруджемъ, далеко отъ берега и всякой земли, на какой-то корабль.

Останавливались они то около рулевого, то около вахтенныхъ часовыхъ и офицеровъ, и всматривались въ эти темныя, фантастические лица; но каждый, къ кому-бы они ни подходили, или напѣвали праздничную пѣсню, или думали о празднике, или напоминали своему товаришу о какомъ либо минувшемъ празднике, — и все это было связано съ радостной надеждой — благополучно возвратиться въ объятія родной семьи. Всѣ, и худые, и хорошие, и злые, и добрые, всѣ обиѣнялись привѣтствіями, всѣ припомнили о родныхъ и друзьяхъ, зная, что милые имъ люди думаютъ, въ свою очередь, также и о нихъ.

Несказанно было удивленіе Скруджа, когда онъ вслушивался въ завыванія вѣтра и вдумывался въ этотъ ночной полетъ надъ невѣдо-

мыми, таинственными какъ смерть, бездны, — несказанно было удивлѣніе Скруджа — при чьемъ-то, вдругъ раздавшемся, веселомъ хохотѣ. Но удивлѣніе его преступило всякия границы, когда онъ узналъ хохотъ своего племянника, и самъ очутился въ свѣтлой, теплой, сверкающей чистотою комнатѣ. Духъ стоялъ съ нимъ рядомъ и глядѣлъ на племянника нѣжно и любовно.

— Ха! ха! ха! заливался племянникъ Скруджа. Ха! ха! ха!

Если-бы вамъ, противъ всякой вѣроятности, случилось познакомиться съ человѣкомъ, одареннымъ способностью смѣяться, ото всей полноты души, — болѣе и задушевнѣе Скруджевскаго племянника, я скажу вамъ одно: неотступно просиль-бы я васъ представить вашему знакомому и меня. Сдѣлайте милость представьте меня. Очень счастливая, правдивая и благородная идея была у судьбы — вознаградить человѣка, за всѣ его заразительныя болѣзни и печали, еще болѣе заразительныя и неотразимо веселыя смѣхомъ.

И такъ, племянникъ Скруджа хохоталъ во все горло; хохотали ото всей души и жена его и приятели: Ха — ха — ха!

— Честное слово! крикнулъ племянникъ: онъ мнѣ сказалъ, что святки — пустяки, и — повѣрьте онъ самъ крѣпко убѣждѣнъ въ этомъ!

— Тѣмъ стыдно для него, Фредъ! замѣтила съ негодованіемъ нареченная племянница Скруджа.

Вообще — вѣдь женщины ничего не дѣлаютъ въ половину и за всякое дѣло принимаются неспутя.

Племянница — она-же и супруга племянника Скруджа, была мила т. е. въ высшей степени мила, съ очаровательной головкой, съ простодушнымъ, искреннимъ выраженіемъ лица; и при этомъ — что за увлекательная улыбка, что за живые искрометные глазки!

— Большой чудотворъ — мой старикъ! продолжалъ племянникъ. Спору нѣть, могъ-бы онъ быть нѣсколько пообходительнѣе; но его недостатки наказываются сами собою, и мнѣ противъ него сказать нечего.

— Кажется, онъ очень богатъ, Фредъ?

— Э! до что толку въ его богатствѣ, моя милая? Богатство ему ничего не приносить: онъ не можетъ быть полезенъ не только другимъ, даже самому себѣ. У него нѣть даже удовольствія подумать... ха — ха — ха! — что вскорѣ настѣ же придется ему навредить.

— Я его терпеть не могу! сказала племянница. Сестры ея и прочія дамы согласились съ ея мнѣніемъ.

— О! я снисходительнѣе васъ! возразилъ племянникъ. Мнѣ его только жалко. Кому вредять его своенравныя выходки? ему-же... Я это не потому говорю, что онъ отказался пообѣдать съ нами— въ этомъ случаѣ, онъ только въ выигрышѣ: избавился отъ плохого обѣда.

— Въ самомъ дѣлѣ?... А маѣ — такъ кажется, что онъ потерялъ очень хороший обѣдь!.. перебила его молоденькая жена.

Всѣ гости раздѣлили это убѣжденіе, и—надо сказать правду— могли быть въ этомъ случаѣ неумѣстными судьями, ибо только-что изволили покушать, и въ настоящее мгновеніе десертъ не сходилъ еще со стола, и все общество столпилось у камелька, при свѣтѣ лампы.

— Честное слово мнѣ очень пріятно разубѣдиться: я до сихъ поръ плохо вѣрилъ въ умѣніе юныхъ хозяевъ. Не правда-ли, Топперъ?

Вѣроятно Топперъ взглянуль на одну изъ сестеръ племянницы Скруджа, потому-то отвѣтилъ: я холостякъ и ничего иное, какъ жалкій шарія и не въ правѣ — выражать своего сужденія о подобномъ предметѣ; а сестра племянницы Скруджа — вотъ это полночное созданіе въ кружевной косынкѣ, что вы видите, вся такъ и зардѣлась.

— Продолжай- же, Фредъ! крикнула его жена, нетерпѣливо забавъ въ ладоши. Начнетъ и остановится... какъ это не-сносно!

— Я хотѣлъ только прибавить, что старикъ самъ себя лишилъ пріятной компаніи; ужъ конечно она веселѣе его мыслей и темной сырой конторы. Впрочемъ я еще не унался: каждый годъ буду ходить къ нему съ привѣтствіемъ: катъ вали здоровье дядюшка? съ праздникомъ имѣю честь поздравить! Если я его такъ расшевлю, что онъ, по крайней мѣрѣ, откажется своему бѣдному прикащику тысячу двѣсти фунтовъ, — ужъ и это будетъ хорошо. Не знаю почему, только маѣ кажется, что я сильно поколебаль его вчера...

Пришлося теперь гостямъ посмѣяться надъ чванливымъ притязаніемъ хозяина— поколебать Скруджа. Но Фредъ былъ добрѣйшій малый, несколько не обидѣлся шутками, а еще придалъ обществу веселья круговой бутылкой.

Послѣ чая занялись музыкой, потому что всѣ собесѣдники, увѣраю васъ, были замѣчательными исполнителями разныхъ аріетокъ и ритурнелей, а особенно Топшеръ: онъ артистически переливалъ изъ тона въ тонъ свой басъ, не напрягая жиль на лбу и не краснѣя, какъ ракъ.

Хозяйка оказалась превосходной арфисткой; въ числѣ прочихъ пѣсокъ, она сыграла простую пѣсенку, такую простую, что можно было насвистать ее на память въ двѣ минуты; но Скруджъ вздрогнулъ: эту пѣсенку напѣвала когда-то посѣщавшая его въ школѣ маленькая дѣвочка...

Послѣ музыки начали играть въ фанты, и прежде всего въ жмурки.

Въ жмуркахъ опять отличился Топшеръ своимъ плутовствомъ и ловкостью въ преислѣдованіи полнѣнкѣй дѣвицы въ кружевной ко-сынкѣ: какъ ни роняла она-то каминную рѣшетку, то стулъ, какъ ни пряталась за занавѣски—поймалъ-таки ее въ какомъ-то углу.

Хозяйка не принимала участія въ жмуркахъ, а усѣлась въ сторонѣ, на покойное кресло и положила ноги на табуретъ; за кресломъ стояли духъ и Скруджъ. Зато она приняла живое участіе въ фантазіи и тутъ-то, въ вящему удовольствію Фреда, показала себя: всѣхъ заткнула за поясъ, даже и сестерь, хотя онѣ были далеко не глупы—спросите вотъ—хоть Топшера... Особенно отличалась она въ „какъ вы его любите и въ „идѣ, когда и почему?“ Самъ Фредъ такъ и разсыпался и духъ не сводилъ съ него благосклонныхъ взоровъ, до такой степени, что Скруджъ началъ его умолять, какъ ребенокъ, — подождать до разѣзда гостей; но духъ сказалъ, что этого невозможно.

— Вотъ еще новая игра! говорилъ Скруджъ: еще полчаса, духъ, только полчаса...

Играли въ „Да и нѣтъ“. Фреду пришлось быть въ отвѣтѣ: онъ долженъ былъ задумать какое-либо слово, а играющіе должны были отгадывать, предлагая ему вопросы и, требуя отъ него въ отвѣтѣ или да или нѣтъ? Осыпанный перекрестнымъ огнемъ вопросовъ, Фредъ волей-неволей былъ вынужденъ на нѣсколько признаній, а именно что думалъ онъ о животномъ: что животное это—живое; животное непріятное, дикое; что иногда оно рычитъ, иногда хрюкаетъ, а прежде говорило; что водится оно въ Лондонѣ и даже ходить по улицамъ, но что за деньги его не показываютъ, на привязи не водятъ, въ звѣринцѣ не держать и на бойнѣ не убиваютъ;

что оно ни лошадь, ни осель, ни корова, ни быкъ, ни тигръ, ни собака, ни свинья, ни кошка, ни медведь.—При каждомъ новомъ вопросѣ мошенникъ Фредъ до того заливался хохотомъ, что вскакивалъ съ дивана и начиналъ топать ногами. Наконецъ и полненькая сестрица покатилась со смѣху и крикнула.

— Угадала, угадала, Фредъ! знаю, что такое?

— Что же такое? спросилъ Фредъ.

— Вашъ дядюшка Скруджъ?

Именно такъ и было. Затѣмъ послѣдовалъ общій взрывъ похвалъ, хотя дѣло и не обошлось безъ легкихъ замѣчаній.

— Ну, что, же? замѣтилъ Фредъ. Онъ доставилъ намъ столько удовольствія, что намъ не грѣхъ-бы и выпить за его здоровье, благо у насъ въ рукахъ по стакану жженки! — за здоровье дядюшки Скруджа!

— Идеть! За здоровье дядюшки Скруджа! подхватили гости.

— Веселаго праздника и счастливаго новаго года старику, кто-бы онъ тамъ ни былъ! крикнулъ Фредъ: не хотѣлъ моего изустнаго поздравленія, пусть же пріиметъ заочно: за здоровье дядюшки Скруджа!

Скруджъ принялъ такое участіе въ общемъ весельѣ, что собрался-было уже произнести благодарственный спичъ; но вдругъ вся сцена исчезла, и духъ Скруджъ снова понеслись въ путь.

Далѣкъ былъ ихъ путь: много перевидали они мѣстностей, много посѣтили обителей и жилищъ. Духъ приникаль къ изголовью больныхъ, и они забывали свои недуги; и на мгновеніе казалось страждущему изгнанику, что онъ припадаетъ снова къ лону своей милой родины. Душу, обрекшую себя на отчаянную борьбу съ судбою, просвѣтлялъ онъ чувствомъ самоотверженія и упованіемъ на лучшую участіе; приближался къ бѣднымъ,— и они считали себя богатыми. Въ дома призрѣнія, въ больницы и въ тюрьмы, во все притоны нищеты, вездѣ, куда тщеславный и горделивый человѣкъ не могъ—свою ничтожной, преходящей властію—возбранить входъ и заградить пути безплотному духу,—вездѣ духъ висѣлъ за собою—благословенія, вездѣ слышалъ отъ него Скруджъ заповѣдь милосердія.

Длинна была эта ночь, если все случилось въ нее одну; но Скруджъ сомнѣвался; ему казалось, что нѣсколько сочельниковъ слились во-едино въ теченіе того времени, пока онъ былъ съ духомъ. Еще одна странность: Скруджъ не замѣчалъ въ себѣ ни малѣйшей

наружной перемѣны, а духъ видимо становился старше и старше. Отъ Скруджа не ускользнула эта перемѣна, но онъ не сказалъ ни слова до тѣхъ поръ, пока, выходя изъ одного дома, гдѣ толпа дѣтей славила Бѣгоявленіе, не увидалъ, что волосы на головѣ духа побѣлѣли.

— Развѣ жизнь духовъ такъ коротка? спросилъ онъ, когда они остались одни.

— Дѣйствительно, отвѣчалъ духъ, жизнь моя на земномъ шарѣ очень коротка; она кончается нынѣшнюю ночь.

— Нынѣшнюю ночь! вскрикнулъ Скруджъ.

— Ровно—въ полночь. Чу? часъ уже близокъ.

Въ это время часы пробили гдѣ-то три четверти одиннадцатаго.

— Извините мой нескромный вопросъ, сказалъ Скруджъ, пристально вглядываясь въ одежды духа: я вижу подъ полою вашего платья что-то странное, непринадлежащее вамъ... Что-это: нога или коготь?

— Это могло бы называться и когтемъ, потому что сверху немножко мяса есть, отвѣчалъ печально духъ.—Глядите!

Онъ распахнулъ колы своей одежды и оттуда вывалились двое дѣтей,—два блѣдныхъ существа—презрѣнныя, гадкія, гнусныя, омерзительныя, отталкивающія; они упали на колѣни къ ногамъ Скруджа и вѣпшились ему въ платье.

— О, человѣкъ! склони, склони взоры къ своимъ стопамъ! крикнулъ духъ.

Это были мальчикъ и девочка,—желтые, худые, въ лохмотьяхъ, съ нахмуренными лицами, свирѣпые, хотя и пресмыкающіеся—въ своемъ подломъ униженіи. Вместо привлекательного младенчества, совершенствовавшаго покрыть ихъ щеки венчимъ свѣжими румянцемъ, чья-то блеклая, высохшая рука, словно рука времени, сморшила эти ввалившіяся щеки и стерла съ нихъ жизненные краски; въ этихъ глазахъ, откуда, казалось, должны были улыбаться на Божій міръ ангелы, теперь гнѣздились демоны и метали угрожающіе взгляды. Никакія перемѣны, никакой упадокъ, никакое извращеніе человѣческаго рода, въ самой высшей степени, и при всѣхъ таинственныхъ уклоненіяхъ природы, никогда не могли произвести подобныхъ чудовищъ, отвратительныхъ и ужасныхъ.

Скруджъ отшатнулся, блѣдный отъ страха.—Впрочемъ не желаю оскорбить духа, можетъ быть, родителя этихъ чадъ, онъ хо-

тѣль-было сказать: „какія миленькия дѣти!“, но слова сами собою остановились въ горлѣ, чтобы не участвовать въ такой неимовѣрной лжи.

— Духъ, это ваши дѣти?

Воть все, что могъ сказать Скруджъ.

— Дѣти людей, отвѣтилъ духъ; они обратились ко мнѣ съ чудобитною на своихъ отцовъ. Воть этого зовутъ: „невѣжество,“ а эту — „нищета.“ Бойтесь обоихъ и ихъ потомства; но первого бойтесь больше — я на чель у него читаю: „проклятие.“ „Спѣши, о Вавилонъ! возгласилъ духъ, протягивая руку къ городу: спѣши изгладить это слово — оно осуждаетъ тебя еще болѣе, чѣмъ этого несчастнаго: его только на несчастіе, тебя на гибель! Дерзни сказать, что ты не виноватъ, клевещи даже на своихъ обвинителей: тебѣ это можетъ послужить на времія, для достижениія твоихъ преступныхъ цѣлей; но.... берегись конца!

— И у нихъ нѣть никакого пристанища! никакихъ средствъ! вскрикнулъ Скруджъ.

— Какъ!... Развѣ нѣть тюремъ? спросилъ духъ, въ послѣдній разъ насыпшіво повторяя собственныя слова Скруджа: Развѣ нѣть смирителныхъ домовъ?

Часы начали бить полночь.

Скруджъ посмотрѣлъ на духа, но духа уже не было. При послѣднемъ замѣравшемъ ударѣ, Скруджъ вспомнилъ предсказаніе стараго Джакоба Мэрлея и поднялъ глаза: призракъ величественнаго вида, окутанный въ широкую одежду съ покрываломъ, подлетѣлъ къ нему, скользя по землѣ, какъ паръ.

Призракъ приближался медленно, важный и молчаливый. Когда онъ былъ уже совсѣмъ подлѣ, Скруджъ склонилъ предъ нимъ колѣно, потому что призракъ словно разливалъ вокругъ себя въ воздухѣ какой-то мрачный и таинственный ужасъ.

Длинная черная одежда совершенно закрывала его съ головы до ногъ и оставляла наружу только одну вытанутую руку: иначе его было бы очень трудно отличить и отдѣлить отъ густыхъ тѣней ночи.

Скруджъ замѣтилъ, что призракъ высокаго роста, величавой осанки, и что таинственное его присутствіе наводить на человѣка торжественный страхъ и трепетъ.

Но болѣе онъ ничего уже не могъ узнать, потому — что призракъ не говорилъ ни одного слова, не дѣлалъ ни одного движенія.

— Въроятно, я имѣю честь находиться въ присутствіи будущаго праздника? спросилъ Скруджъ.

Призракъ не отвѣталъ, но не опускалъ вытянутой впередъ руки.

— Вы мнѣ покажете то, что должно случиться, но не случилось еще.... неправдали? продолжалъ Скруджъ.

Верхнія складки черной одежды на мгновеніе сблизились между собою, какъ-будто призракъ наклонилъ голову; но это движеніе было его единственнымъ отвѣтомъ.

Хотя и привычный къ обращенію съ духами, Скруджъ, все-таки чувствовалъ такой ужасъ въ присутствіи этого молчаливаго призрака, что у него дрожали ноги и онъ едва устоялъ на нихъ, когда приготовился слѣдовать за своимъ вожатымъ. Призракъ остановился на мгновеніе, какъ-будто хотѣлъ дать Скруджу время — собраться съ силами. Но волненіе Скруджа только усилилось, особенно, когда онъ подумалъ, что сквозь этотъ черный саванъ на него устремлены неподвижные взоры призрака.

— Духъ грядущаго! вскрикнулъ онъ. Я вѣсЬ боюсь больше, чѣмъ всѣхъ прежнихъ призраковъ; но такъ-какъ я знаю, что вы желаете мнѣ добра; такъ-какъ намѣреніе мое — перейти образъ жизни, — я съ благодарностью готовъ за вами слѣдовать.... Не заговорите-ли вы со мной?

Нѣть отвѣта. Только вытянутая рука указываетъ впередъ.

— Ведите меня! сказалъ Скруджъ. — Ночь быстро подвигается, а я знаю, что для меня это время драгоценное.

Ведите меня, духъ?

Призракъ также удалился, какъ и приблизился. Скруджъ слѣдилъ за нимъ, въ тѣни его одежды, и ему казалось, что эта тѣнь поднимаеть и уносить его съ собою.

Нельзя сказать опредѣлительно, что они вошли въ городъ: скороѣ городъ выплылъ кругомъ нихъ и охватилъ своимъ движеніемъ. Во всякомъ случаѣ, они очутились въ самомъ сердцѣ Сити на биржѣ, между негощантами: быстро шныряли негощанты во всѣ стороны, звенѣли деньгами въ карманахъ, собирались въ кучки — потолковать о дѣлахъ, смотрѣли на часы, задумчиво побрякивали огромными брелоками.... и т. д. — словомъ; все были тѣ-же, какими такъ часто видалъ ихъ Скруджъ.

Призракъ остановился подлѣ небольшой группы этихъ капита-

листовъ, и Скруджъ, замѣтивъ направленіе его руки, также подошелъ — послушать разговоръ.

— Нѣть, говорилъ высокій и толстый джентльменъ съ чудовищнымъ подбородкомъ, „больше я ничего не знаю — знаю только, что умеръ.

— Когда?

— Прошлой ночью, кажется,

— Какъ онъ распорядился своимъ состояніемъ? спросилъ еще джентльменъ съ наростомъ на носу, похожимъ на зобъ индійскаго пѣтуха.

— Право, не знаю.... Можетъ быть, завѣщалъ своему Обществу.... во всякомъ случаѣ; не мнѣ — вотъ это я знаю навѣрное.

Общий смѣхъ привѣтствовалъ эту шутку.

— Я думаю, заговорилъ джентльменъ съ наростомъ, похороны обойдутся ему не дорого: его никто не знать и охотниковъ провожать его тѣло найдется не много. Впрочемъ я, пожалуй, пойду: мнѣ была-бы только закуска!

— Ну, такъ я всѣхъ васъ безкорыстнѣе, господа! Заговорилъ джентльменъ съ двойнымъ подбородкомъ. Черныхъ перчатокъ я не ношу, на похоронахъ не закусываю, а все-таки пойду, хоть безъ приглашенія, и вотъ почему мнѣ кажется, что покойникъ считалъ меня своимъ истиннымъ другомъ — какъ ни встрѣтится, всегда поговорить.... прощайте, господа!

Группа разсмѣялась и смѣялась съ дружими. Скруджъ узналъ всѣхъ этихъ господъ и взглянуль на призракъ, будто хотѣлъ попросить у него объясненія.

Призракъ скользнулъ въ боковую улицу и указалъ пальцемъ на двухъ только-что встрѣтившихся джентельменовъ. Скруджъ опять сталъ вслушиваться, въ надеждѣ — хоть тутъ узнать слово загадки.

Джентельменовъ онъ очень хорошо зналъ: это были два богатые почтенные негощанта, и Скруджъ очень цѣнилъ ихъ уваженіе къ себѣ, разумѣется, уваженіе въ дѣлахъ, просто и положительно только въ дѣлахъ.

— Какъ вы живете? говорилъ одинъ.

— А вы какъ? спрашивалъ другой.

— Да хорошо. А старый-то „Gobseck“ *) того... совсѣмъ расчитался... Гм?

*) Непереводимое слово: явъ что въ родѣ — «кошельковца».

— Говорили мнѣ... А вѣдь, неправда-ли, холодно?

— Пора! Пора такая: святки... Вы, я полагаю, не катаетесь на конькахъ?

— Ни-ни: мнѣ есть кой-о-чемъ — другомъ подумать.... Прощайте.

И ни слова больше. Таковы были ихъ встрѣча, разговоръ и прощанье.

Скруджъ сначала удивился, почему призракъ придаетъ такую важность пустымъ разговорамъ; но, внутренне убѣдившись, что долженъ-же таинственность какой-нибудь смыслъ, онъ сталъ раздумывать про себя — какой-же это именно? Трудно предположить чтобы во всемъ этомъ скрывался намекъ на смерть Джэкуба: дѣло было такъ давно, а призракъ — провозвѣстникъ будущаго. На знакомыхъ не на кого подумать... Тѣмъ не менѣе, не сомнѣваюсь, что здѣсь готовится ему, для его-же блага, таинственный урокъ. Скруджъ рѣшился не обронить ни одного слова, не пропустить безъ вниманія ни одного малѣйшаго обстоятельства, а главное не спускать глазъ со своего второго я, при его появленіи: Скруджъ былъ увѣренъ, что поведеніе его будущаго *самого себя* послужить ему ключомъ къ разгадкѣ.

Стать онъ отыскивать *самого себя* на биржѣ, но обычное его мѣсто въ любимомъ уголкѣ было занято кѣмъ-то другимъ и, хотя биржевые часы показывали именно то время, когда онъ сюда появлялся, однако-же въ многочисленной толпѣ, тѣснившейся на крыльца зданія, не было никого, мало-мальски похожаго на его особу. Это, впрочемъ, нисколько его не удивило: онъ подумалъ, что, при будущей перемѣнѣ въ родѣ его жизни, конечно перемѣнится и родъ занятій.

Призракъ стоялъ противъ него неподвижный, мрачный, съ вытянутой рукой. Когда Скруджъ очнулся, ему показалось, по движению руки и по прямому положенію призрака, что незримые его глаза пристально устремлены *на него!* При этой мысли онъ задрожалъ съ головы до ногъ...

Покинувъ шумное позорище торговыхъ дѣлъ и сдѣлокъ, они перенеслись въ глухой закоулокъ города, гдѣ Скруджъ никогда не бывалъ, но хорошо зналъ, по слухамъ, недобрую славу про этотъ закоулокъ. Грязныя, узкія улицы; лавочки и домишкі; обыватели — полунаагіе, пьяные, на босу ногу — отвратительные... Темные, крытые ходы, словно сточная труба, извергали въ лабиринтъ улицъ — и

жильцовъ, и ихъ удущивый запахъ; весь кварталъ дышалъ преступлениемъ, грязью, нищетою.

На самомъ днѣ этого логова виднѣлась, подъ выступными навѣсами, желѣзная лавочка: желѣзо, трапки, битое стекло, кости, чепчики посуды, ржавые ключи, беззубыя пилы, засовы, чашки вѣсовъ, гири—всего въ ней было *).

Можетъ быть, въ этомъ ворохѣ замаслянного тряпья и костей крылись такія тайны, что лучше-бы ихъ и не знать...

Передъ всею этою дранью сидѣлъ господинъ, лѣтъ семидесяти, сѣдой и обрюзглый; сидѣлъ за дырявой занавѣской, повисшой на окнѣ и шокуривалъ коротеньку трубочку, наслаждаясь полнымъ одиночествомъ.

Скруджъ и призракъ предстали предъ него—какъ-разъ въ то мгновеніе, когда въ лавочку шатнулась какая-то женщина, съ тяжелымъ узломъ на спинѣ. Слѣдомъ за ней вошли другая женщина, съ такимъ-же узломъ, и какой-то мужчина, въ черномъ поноженномъ платьѣ. Всѣ они видимо изумились, увида другъ-друга. Послѣ нѣсколькихъ мгновеній недоумѣнія, раздѣленнаго и хозяиномъ, всѣ они расхохотались.

Ступайте, ступайте въ залу! проговорилъ хозяинъ.

— Ну—вотъ, сказала первая женщина. Чтѣ бы ему не поступить, какъ всѣ добрые люди? Взялъ-бы сестру милосердія: было-бы, по крайности, кому глаза закрыть... А то—околѣль въ своей конурѣ, что собака... Да что тутъ?.. Развязывай-ка мой узелъ, Джой!

Но старый Джой сначала развязалъ узелокъ мужчины—могильщика; онъ не былъ подъемистъ: печатка—другая, карандашникъ, двѣ рукавные запонки, грошовая булавка—вотъ и все... Старикъ Джой осмотрѣлъ каждый предметъ порознь и отмѣтилъ мѣломъ на стѣнѣ пристойную каждому предмету сумму.

— Вотъ-что я могу вамъ дать, сказалъ онъ, и—жарьте меня на маленькому огоньку—шести пенсовъ не прибавлю... Кто тамъ?

На очереди были двѣ «дамы».

*) Нѣкоторыя подробности разсказа Ч.—Диккенса выпущены нами, потому что изъ нихъ лежитъ непонятный, непередаваемый большинству читателей, чисто лондонскій колоритъ. Отъ этого выпуска, по крайнему нашему убѣждѣнію, разсказъ теряетъ немного... разумѣется для святой Руси.

И вообще, мы предваряемъ нашихъ читателей, что въ переводныхъ статьяхъ держимся правила «сокращенія», конечно,—гдѣ будетъ нужно.

Строки, переведенные слово въ слово,—читатели угадаютъ сами.

— Передъ дамами я всегда—пасъ! говорилъ Джой, принимая отъ второй посѣтительницы скатерть, салфетки, пару платы, двѣ старинныя чайных ложечки, сахарные щиццы и сколько-то сапоговъ.

— Передъ дамами я всегда пасъ,—и это—моя слабость!... Вотъ вашъ счетъ... Если вы запросите денежку приба вки, я принуждена буду скинуть съ первой моей оцѣнки

— Ну, теперь, Джой! развязи мой узелъ! сказала первая посѣтительца.

Джой стала на колѣни, развязалъ множество узловъ, и вытащила кусокъ какой-то темной матеріи.

- Что это? спросилъ онъ.— Постельный занавѣски?
- Конечно! отвѣчала со смѣхомъ женщина.
- Не можетъ-же быть, чтобы вы ихъ сняли *при немъ*?
- Почему-же?
- Ну!... Вы рождены богачкой, и будете...
- Что-же? У меня рука не дрогнетъ... совершенно хладнокровно спросила продавщица: неужели эдакаго жаль?
- Такъ это *его* занавѣски и простыни?
- А чьи-же? Не боишься ли ты, что онъ насморкъ схватить?
- Я надѣюсь, что онъ не умръ отъ какой-нибудь заразительной болѣзни... мы? спросилъ старый Джой, поднимая голову.
- Не бойтесь, Джой! Неужели я такъ глупа, чтобы съ нимъ связалась, если-бы?... О! Вы можете выворотить на изнанку и на лицо эту рубашку: могу вамъ отвѣтить, что хороша—лучшая его рубашка... Слава Богу, что я подвернулась: безъ меня бы пропало...
- Что-такое пропало? спросилъ старикъ Джой.

— Да вотъ что: похоронили-бы его, наявѣрное, въ этой рубашкѣ;— отвѣтила она, смѣясь: по моему,—не такъ: господину покойнику все равно въ чёмъ лежать: въ коленкорѣ или въ полотнѣ....»

Скруджъ едва-едва дослушалъ этотъ разговоръ.

Вообще всѣ лица казались ему демонами, препарировавшими, на перебой, чей-то трупъ.

Онъ отшатнулся въ ужасѣ, ибо сцена перемѣнилась, и онъ еле-еле не прикасался къ кровати, безъ занавѣсокъ: на кровати, подъ дырявой простыней, лежало *что-то*, понятное только на страшномъ языке смерти.

Комната была очень темна, слишкомъ темна, чтобы разглядѣть въ ней что-нибудь, хотя Скруджъ и впивался въ этотъ полуумракъ

пытливыми взорами. Бледный свѣтъ извѣнѣ падалъ прямо на кровать, гдѣ лежалъ трупъ этого обнаженнаго, ограбленнаго, всѣми покинутаго, никѣмъ не оплакиваемаго и нѣкѣмъ несторожимаго покойника.

Скруджъ поглядѣлъ на духа: тотъ указывалъ ему пальцемъ на голову мертвѣца. Саванъ былъ накинутъ такъ небрежно, что стоило только притронуться пальцемъ, — и все лицо покойника было бы на виду. Скруджъ это понялъ; было у него даже и пополненіе — поднять саванъ, да... силы не хватило.

О, холодное — холодное, страшное пугало — смерть! Воздвигай здѣсь твои жертвеники, окружай ихъ всѣми твоими ужасами: ты здѣсь полная владычица!... Но, если ты падешь на любимую, читимую и кому-то дорогую голову, не властна ты ни въ единомъ волоскѣ съ этой головы. Не то, чтобы эта рука не падала безжизненно тяжело, не то, чтобы не смолкъ этотъ пульсъ, нѣть! — но, эта рука бывала раскрыта честно, тепло и великолушно для всякаго; во это сердце благородно, горячо и нѣжно билось въ груди...

Рази, рази, беспощадная смерть. Твои удары тщетны: за мимолетную жизнью — безсмертіе!...

Никто не произнесъ этихъ словъ; но Скруджъ ихъ слышалъ, глядя на кровать.

— Еслибы этотъ человѣкъ ожилъ... подумалъ Скруджъ, «что бы онъ сказалъ про свое былое? Скупость, черствость сердца, жажды приобрѣтенія, — вотъ онъ къ чему приводятъ!

И вотъ онъ, вотъ онъ — лежитъ въ пустомъ и мрачномъ домѣ: нѣть ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, что могли бы сказать: Онъ мнѣ помогъ тогда-то и тогда-то, и я ему отплачу въ свою очередь, хотя бы за радушное слово.

Никого не было. Только въ дверь скреблась кошка, да подъ напольной каменной настилкой камелька грызли что-то такое крысы. И что имъ было нужно въ этой похоронной комнатѣ? Изъ-за чего такъ бѣсновались онѣ?... Скруджъ не осмѣялся даже и подумать сбѣ этомъ...

— Духъ! сказалъ онъ: эта комната ужасна. Покинувъ ее, я не забуду данного мнѣ урока... Повѣрте.. и — поскорѣе прочь!

Призракъ все-таки указывалъ своимъ неподвижнымъ пальцемъ на голову трупа.

— Я васъ понимаю, сказалъ Скруджъ, и сдѣлалъ-бы то, что вы хотите, еслибы могъ... Но у меня силы нѣть... силы нѣть у меня

Духъ!... Покажите мнѣ что-нибудь такое, гдѣ смерть напутствуется нѣжными слезами?...

Призракъ промчалъ его по знакомымъ улицамъ, и они вошли въ домъ бѣднаго Боба Кретчита. Горѣ стукнуло ему въ двери: умеръ его милый, болѣй, хроменький сынъ, котораго всегда носилъ онъ на плечѣ, умеръ его милый — милый Тини-Тимъ. Мать и остальные дѣти сидѣли у камельки... Они были спозойны, очень спокойны. Маленькие, шумливые Кретчты окаменѣли въ уголѣ и не спускали глазъ со своего старшаго брата Петра и съ развернутой передъ ними книги. Мать и дѣвочки шили что-то такое.

Вся семья была совершенно спокойна.

«И поставилъ онъ среди нихъ отрока».

Гдѣ слышалъ Скруджъ эти слова?.. но слышалъ онъ ихъ не вполнѣ. Вѣроятно, прочелъ ихъ вслухъ Петръ, когда Скруджъ и духъ переступали порогъ... Но отчего-же Петръ пересталъ читать?

Его мать положила работу на столикъ и закрыла лицо руками.

— Кажется, отецъ? сказала она немного погодя, и побѣжала навстрѣчу своему бѣдному Бобу.

Бобъ вошелъ въ своеемъ неразлучномъ „носопрятѣ“, — и хорошо, что на этотъ разъ съ нимъ не разлучался. Подогрѣтый въ камельку чай поднесла ему чуть не вся семья, на перерывъ. Оба маленькихъ Кретчта вскарабкались ему на колѣни, и каждый прижался щечкой къ его щекѣ, словно выговаривая: Не думай больше объ этомъ, панинка!.. Не огорчайся.

Бобъ былъ очень веселъ, похвалилъ работу жены и сказалъ, что вѣроятно она послѣднѣе въ воскресенія?

— Воскресенія! Стало быть, — ты навѣдывался сегодня туда, Робертъ? спросила жена.

— Да. Миѣ очень жаль, что тебя не было... мѣсто отличное — все зелень кругомъ... Впрочемъ, ты еще увидишь... я ему обѣщалъ, что буду ходить къ нему гулять по воскресеніямъ... Бѣдный мой, милый мой ребенокъ! крикнулъ Бобъ.

И безъ удержу залился слезами...

Торопливо вышелъ онъ изъ комнаты и поднялся въ верхнее жилье, освѣщенное и убранное цветами по праздничному. Противъ кровати мертваго ребенка стояло кресло, и — казалось, только-что-только всталъ съ него кто-то. Бобъ присѣлъ, въ свою очередь, посидѣлъ и всталъ, всталъ, поцаловалъ холодное, милое личико, и спустился внизъ...

Быстро-быстро умчалъ Скрудж изъ этой комнаты призракъ и нигдѣ не останавливался, пока самъ Скруджъ не сказалъ:

— Постойте!.. вотъ дворъ и домъ, давно мнѣ знакомые... позвольте мнѣ посмотреть—чѣмъ я долженъ быть?

Призракъ остановился; но рука его была вытянута по другому направлению.

— Да вѣдь-вотъ гдѣ домъ, замѣтилъ Скруджъ, „зачѣмъ-же вы меня маните дальше?

Неумолимый палецъ призрака не измѣнялъ своего положенія. Скруджъ послѣдно побѣжалъ къ окну своей kontоры и заглянулъ внутрь: kontора и осталась kontорой,—только не его. И меблировка была другая, и въ креслахъ сидѣлъ не онъ. Призракъ все указывалъ рукою куда-то...

Скруджъ совсѣмъ потерялъ голову и перенесся со своимъ вожатымъ къ какой-то желѣзной рѣшеткой.—Еще не переступая за нее, онъ оглянулся кругомъ... кладбище! Тутъ-то, вѣроятно, и лежитъ, подъ вѣсколькими футами земли, тотъ несчастный, чье загадочное имя Скруджъ сейчасъ-же узнаетъ. Ей-Богу, хорошенько было мѣсто: кругомъ стѣны сосѣднихъ домовъ: по землѣ дернъ и сорные травы; могиль-могиль столько, такъ утунили они землю, что тошно становится... Славное мѣстечко!..

Духъ показалъ на одну могилу — Скруджъ подошелъ къ ней и прочелъ:

— „Ээнезеръ Скруджъ“.

— Такъ это я себя-то видѣлъ на смертной кровати? крикнулъ Скруджъ, упавъ на колѣни.

Духъ указалъ пальцемъ на него и на могилу, потомъ — на могилу и на него.

— Нѣть, духъ, нѣть-вѣтъ-нѣть!

Палецъ духа будто застылъ въ одномъ и томъ-же положеніи.

— Духъ! вскрикнулъ Скруджъ, вѣшившись въ платье призрака, выслушайте меня: я уже не тотъ человѣкъ, не буду тѣмъ человѣкомъ, какимъ былъ до встрѣчи съ вами... Зачѣмъ-же вы мнѣ показываете все это, если для меня уже нѣть надежды?

Въ первый разъ шевельнулась рука призрака.

— Добрый духъ! продолжалъ Скруджъ, лежавшій ничкомъ: походатайствуйте за меня, смилуйтесь надо мною. Удостовѣрьте меня, что я могу переиначить всѣ эти образы, если переиначу мою жизнь?

Призракъ благосклонно махнулъ рукой.

— Ото всего сердца буду чтить я святки, и буду ждать ихъ круглый годъ. Буду жить въ прошломъ, въ настоящемъ и въ будущемъ: все-вы три духа дали мнѣ незабвенные уроки... О! скажите мнѣ, что я могу стереть эту надпись съ могильного камня?

Скруджъ отчаянно ухватился за руку призрака: рука высокользнула-было, но Скруджъ сдавилъ ее, какъ клемцами; однако-же призракъ все-еще былъ сильнѣй Скруджа, и оттолкнулъ его.

Поднявъ обѣ руки въ послѣдней мольбѣ обѣ измѣненій своей участіи, Скруджъ замѣтилъ, что одежды духа становятся тоньше и тоньше, и самъ духъ постепенно преображается, и преобразился въ занавѣсный столбикъ постели.

Дѣйствительно—это былъ занавѣсный столбикъ. Да. И столбикъ надъ собственной постелью Скруджа, и даже въ собственной спальнѣ Скруджа. Передъ нимъ былъ цѣлый день—оправиться и перемѣнить образъ жизни.

— Буду жить въ прошломъ и въ настоящемъ... повторилъ Скруджъ, соскачивая съ постели. Врѣзались мнѣ въ память три духовные уроки. О, Джэкобъ Мэрлей! Да святится праздникъ Рождества Христова.

— Не сняты онѣ, не сняты! продолжалъ Скруджъ обнимая сърыданіемъ постельные занавѣски. И кольца цѣлы... И все, что я видѣлъ,—грезы!.. Онъ малъ и переминалъ платье, самъ непонимая—что дѣлаетъ.

— Боже мой! говорилъ онъ, схвативъ въ обѣ руки чулки и становясь съ ними въ позу Даоксона, оплетенного змѣями. Господи! я легче пуха, счастливѣе безплотного духа, веселѣе школьника, пьянѣе вина!.. Съ праздникомъ! Всѣхъ имѣю честь поздравить съ праздникомъ!.. Эй! кто тамъ! Ау!.. Го-го-го!..

Однимъ прыжкомъ перескочилъ онъ изъ спальни въ гостиную и остановился въ ней, запыхавшись.

— Вотъ и кастрюлька съ кашицей! кричалъ онъ. Вотъ и дверь, сквозь нея же проникъ призракъ Мэрлея! Вотъ и уголокъ, гдѣ сидѣлъ нынѣшній Сочельникъ! Вотъ и оконко, откуда я слѣдилъ за грѣшными душами: все на мѣстѣ, все въ порядкѣ... Хаха-ха-ха!

И это было такъ... Для человѣка, не смѣявшагося столько лѣтъ, этотъ смѣхъ былъ торжественно-великолѣпенъ, былъ родонаучальникомъ нескончаемыхъ покатовъ со-смѣха.

— Не знаю я — какое у насъ сегодня число? продолжалъ Скруджъ. Не знаю — сколько времени провелъ я между духовъ Ничего не знаю: я просто ребенокъ... И какъ-бы мнѣ хотѣлось быть маленькимъ ребенкомъ... Эй, гэй, гой, гэй!..

Его восторгъ былъ умѣренъ церковными колоколами, перезванившими во всѣ тажки:

„Динь-динь-донъ-бумъ, бумъ! Динь динь-донъ, булы, бумъ, булы! Донъ, динь-донъ, бумъ“!

— Отлично! отлично! покрикивалъ Скруджъ; подбѣжалъ къ окошку и глянулъ на улицу. Не было ни изморози, ни тумана: былъ ясный, свѣжій денекъ, одинъ изъ тѣхъ, что веселятъ и укрѣпляютъ, и томятъ кровь по жиламъ въ „плясовую“. Золотое солнце; голубое небо; колокольный трезвонъ... Отлично! отлично!..

— Какой сегодня день? крикнулъ Скруджъ изъ окошка какому-то вѣроятно на него-же заглядѣвшемуся мальчишку.

— Что? спросилъ изумленный мальчикъ.

— Какой сегодня день, голубчикъ? повторилъ Скруджъ.

— Сегодня? еще разъ спросилъ мальчикъ. Да сегодня — Рождество.

— Рождество! подумалъ Скруджъ. Стало-быть, я его не потерялъ. Духи устроили все въ одну ночь. Они все могутъ сдѣлать — кто-же въ этомъ сомнѣвается? — все могутъ...

— Эй-эй, любезный?

— Ну-что? отвѣтилъ мальчикъ.

— Знаешь ты мясную лавку на углу второй улицы?

— Конечно.

— Умный ребенокъ! замѣтилъ про себя Скруджъ. — Ребенокъ замѣчательный... Не знаешь ли ты, продана, или нѣть, индѣйка — не маленькая, а которая побольше?

— А! Это такая, что съ меня будетъ?

— Восхитительный ребенокъ! прощенталъ Скруджъ. Съ нимъ и разговаривать любо... Ну, эта самая, котеночекъ ты мой!

— Не продана еще.

— Въ самомъ дѣлѣ? — пойди-же — купи.

— Шутникъ! отвѣтилъ мальчикъ.

— Нѣть, сказалъ Скруджъ: я говорю не шутя. Купи и скажи, чтобы принесли ко мнѣ. Я дамъ адресъ — куда ее отнести. Захвати съ собой какого-нибудь мальчика изъ лавки, и вотъ —

тебѣ шиллингъ. Если ты черезъ пять минутъ вернешься съ покупкою, я тебѣ дамъ еще“.

Мальчишка полетѣлъ необгонной стрѣлой.

— Я эту индѣйку пошлю къ Бобу Крэтичу, шепталъ Скруджъ, потирая руки и смыаясь: онъ и не узнаетъ—отъ кого? Она вдвое толще Тини-Тима... я увѣренъ, что Бобъ пойметъ эту шутку...

Онъ написалъ адресъ нѣсколькою дрожавшою рукой и сошелъ внизъ, на встрѣчу прикащика изъ мясной лавки. Ему бросился въ глаза дверной молотокъ.

— Всю мою жизнь буду я любить тебя! сказалъ Скруджъ, ногла дивъ молотокъ. И до сихъ поръ я не замѣчалъ его!.. А какое честное выраженіе во всей его физіономіи... Охъ ты мой добрый, мой изящный молотокъ! А вотъ и индѣйка!.. Эдакая-то вы! Эге-ге-ге-ге! Съ праздникомъ имѣемъ честь поздравить“!..

И точно—была-себѣ индѣйка!..

Не вѣрю я, чтобы это пернатое держалось когда-либо на ногахъ, онъ подломились-бы подъ нимъ, какъ сургучныя палочки. „Да вѣдь вотъ что: вамъ не снести ея въ Кэмденъ-Тоунъ, сказалъ Скруджъ: надо взять кабъ“*).

Все это было проговорено со смѣхомъ; со смѣхомъ-же, со веселымъ смѣхомъ, расплылся Скруджъ и за индѣйку и за кабъ, со смѣхомъ даль деньги мальчику, и, задыхаясь, и смыючись до слезъ, упалъ въ свое кресло.

Потомъ онъ выбрился, одѣлся въ лучшее свое платье и вышелъ прогуляться по улицамъ. На улицахъ была густая толпа; Скруджъ глядѣлъ на всѣхъ самодовольно, заложивъ руки за спину, такъ самодовольно, что трое-четверо прохожихъ зѣвакъ не удержались и привѣтствовали его словами: „здравствуйте, господинъ! Съ праздникомъ имѣемъ честь поздравить“!

Не успѣлъ онъ пройти нѣсколькихъ шаговъ, какъ на встрѣчу ему попался тотъ изящный джентльменъ, что наканунѣ приходилъ къ нему въ контору въ вопросомъ: „Скруджъ и Мэрлей кажется“? Скруджъ смутился-было; но тотчасъ же оправился и сказалъ, взавъ почтенаго джентльмена за обѣ руки:

— Какъ вы поживаете, сэръ? Надѣюсь, что вчера, къ чести

*) Кабъ—нѣчто въ родѣ кабріомета, т. е. двухколесной тараташки, или телѣжки.

вашей, выдался денекъ? Съ праздникомъ позвольте васъ поздравить, сэръ!

— Мистеръ Скруджъ?

— Да. Боюсь, что это прозвище не совсѣмъ для васъ пріятно? Позвольте мнѣ извиниться: не будете-ли вы такъ добры, что... (Скруджъ сказалъ почтенному джентльмэну нѣсколько словъ на ухо.)

— Господи! неужели? спросилъ, задыхаясь джентльмэнъ. Любезный мой мистеръ Скруджъ, вы говорите не шутя?

— Безо всякихъ шутокъ! отвѣчалъ Скруджъ. — Я уплачу старый долгъ, если милость ваша будетъ—принять?...

— Милостивый государь! перебилъ Скруджа собесѣдникъ, дружески тряся его за руку: я не знаю — какъ и хвалить такое великое...

— Ради Бога, ни слова болѣе! остановилъ его Скруджъ. Заходите ко мнѣ... вѣдь вы найдете, не правда-ли?

— О! безо всякого сомнѣнія! вскрикнулъ убѣдительно старый господинъ.

— Благодарю, сказалъ Скруджъ. Я вамъ безконечно обязанъ, и тысячу разъ приношу мою благодарность. Прощайте». Зашелъ онъ въ церковь; пробѣжалъ по улицамъ; раздалъ мальчикамъ нѣсколько легкихъ щелчковъ по головамъ; изумился пріятности своей прогулки, а по-полудни направилъ стопы къ дому племянника.

Разъ двѣнадцать прошелъ онъ мимо знакомой двери, и не решался войти. Наконецъ осмѣялся и постучался.

— Дома хозяинъ, голубушка? спросилъ Скруджъ у служанки: какая-же ты хорошенькая, ей Богу!...

— Дома, сэръ!

— Гдѣ-же, милашка?

— Въ столовой, сэръ, съ мистриссъ.... Если позовите, я васъ провожу.

— Спасибо: онъ меня знаетъ, отвѣтилъ Скруджъ, налегая на ручку замка.— Я и самъ войду.

Приотворилъ дверь и просунулъ въ нее голову.

Юная чета осматривала накрытый по праздничному столъ....

— Фредъ! произнесъ Скруджъ.

— Господи мой Боже! какъ вздрогнула нареченная его племян-

ница! Скруджъ и позабылъ, какъ она сидѣла въ креслѣ, положивъ ноги на табуретъ: иначе онъ не осмѣлился бы войти такъ нечаянно.

-- Господи! вскрикнулъ Фредъ: да кто же это тамъ?

-- Я, я, твой дядя Скруджъ.... Обѣдать пришелъ... можно войти?

Вотъ былъ вопросъ! Фредъ чуть-чуть ему руки не вывихнулъ, втачивая его въ столовую. Черезъ пять минутъ Скруджъ былъ какъ дома. Ничего не могло быть радушнѣе приема его племянника и племянницы. Точно также поступили, когда прибыли и Топперъ, и полненькая сестрица, и вся прочіе гости. Какое удивительное общество, какая удивительная игра въ фанты, какое *у-ди-си-тельное* веселье.

На другой день Скруджъ рано пришелъ въ свою контору, — о! раны-рано... Ему только и хотѣлось — пріѣдти раньше Боба Крѣтчита и уличить его на мѣстѣ преступленія.

Такъ ему и удалось! Часы прозвонили девять — Боба нѣть; девять съ четвертью — все нѣть Боба. Бобъ опоздалъ восемнадцать минутъ съ половиною. Скруджъ сидѣлъ въ растворенной двери, чтобы лучше видѣть, какъ Бобъ опустится въ свой колодезь.

Еще не растворяя двери, Бобъ снялъ шляпу и носопрятъ; а потому, во мгновеніе ока, очутился на своемъ табуретѣ и такъ пустилъ перо по бумагѣ, какъ будто хотѣлъ догнать улетѣвшіе деять часовъ.

-- Эй, господинъ! крикнулъ Скруджъ, попадая по-возможности вѣрно въ свой прежній тонъ: что-такъ поздно?

-- Минъ очень непріятно, сэръ! сказалъ Бобъ. Я немножко опоздалъ.

-- Опоздали! продолжалъ Скруджъ. Минъ дѣйствительно кажется что вы опоздали. Пожалуйте-ка сюда....

-- Разъ въ году, сэръ! замѣтилъ робко Бобъ, вылезая изъ своего кладезя. Больше не случится.... Загулялъ я вчера немножко, сэръ!....

-- Это все хорошо, сказалъ Скруджъ, но я долженъ вамъ, любезный другъ, замѣтить, что не могу терпѣть такихъ беспорядковъ. А слѣдовательно, прибавилъ онъ, вскочивъ съ табурета и толкнувъ подъ бокъ Боба такъ, что онъ отлетѣлъ къ своему колодезю, слѣдовательно — я желаю прибавить вамъ жалованья.

Бобъ задрожалъ и протянулъ руку къ линейкѣ. Было мгновеніе

ніе, когда онъ хотѣлъ ударить линейкой Скруджа, схватить его за шиворотъ и позвать людей, чтобы на Скруджа надѣли горячечную рубашку.

— Съ веселымъ праздникомъ, Бобъ! проговорилъ важно Скруджъ и дружески потрепалъ своего приказчика по плечу. Съ болѣе веселымъ, чѣмъ когда—либо. Я прибавлю вамъ жалованья и постараюсь помочь вашей трудолюбивой семье. Сегодня мы поговоримъ о нашихъ дѣлахъ за рождественскимъ стаканомъ бишофз, Бобъ!

Скруджъ не только сдержанъ слово, но сдѣлалъ гораздо — гораздо болѣе, чѣмъ обѣщалъ.

Для Тини-Тима (онъ разумѣется, и не думалъ умирать), для Тини-Тима Скруджъ сдѣлался истинно вторымъ отцомъ.

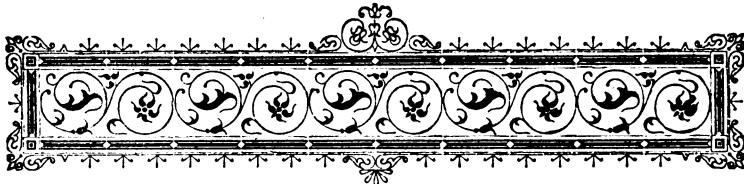
И сталъ Скруджъ такимъ хорошимъ другомъ, такимъ хорошимъ хозяиномъ и такимъ хорошимъ человѣкомъ, какъ всякой гражданинъ всякого добраго, старого города, въ добромъ, старомъ свѣтѣ. Нашлись господа, что подсмѣшивались надъ подобной перемѣной, да Скруджъ имъ позволялъ подсмѣиваться, и даже ухомъ не вель.

Въ отместку этимъ господамъ, онъ и самъ смѣялся — отъ полноты души.

Съ духами прекратилъ онъ всякия сношения; но за то завелъ съ людьми, и дружески готовился каждый годъ встрѣтить съ ними святки, и всеѣ отдавали ему полную справедливость, что никто толькъ весело не встрѣчалъ праздниковъ.

Если-бы то-же говорили о васъ, обо мнѣ, о всѣхъ насъ.... А затѣмъ, какъ выражался Тини-Тимъ: «*Да спасетъ вспахъ насъ Господь, — вспахъ, сколько насъ ни на есть!*»

УКРАДЕННЫЕ ЧАСЫ.



УКРАДЕННЫЕ ЧАСЫ.

(РАЗСКАЗЪ М. Л. ФРЭНЧА).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Эдиъ Эльпинъ.—Обманутая надежда.—Свадьба.—Обѣтъ.

Июльское утро 1764-го года золотило легкое руно облаковъ; красавая деревенка Динглльбэрри притянулась, на зацадѣ Англіи, укромнымъ гнѣздомъ между двухъ холмовъ, отгороженныхъ змѣистымъ, звучащимъ по камнямъ потокомъ; на природномъ зеленомъ коврѣ лужайки, въ яркихъ лучахъ солнца, паслось стадо.

При входѣ въ деревню, бросалась въ глаза маленькая хижина,—вся опутанная сѣткой витеекъ, козыаго листа и дикихъ розъ: съ каждымъ цвѣтомъ вѣтра такъ и разносилось кругомъ цѣлебное благоуханіе цвѣтовъ.

У раскрытаго окна сидѣла красавица-дѣвушка и пристально всматривалась въ окрестность. Свѣтлорусые волосы падали кольцами на блѣющую, нѣжную шею и на изящно-развитую грудь; лобъ—гладкій и чистый; глаза—ясная, но глубокая лазурь, съ влажнымъ и мягкимъ отблѣкомъ; на губахъ играетъ откровенная, младенчески-дѣвърчиваая улыбка.

Пока она сидѣла у окна, слѣдя за переливами тумана и, вдыхая ароматъ цвѣтовъ, дверь хижины вдругъ распахнулась,—и въ комнату влетѣли три молодыя дѣвушки. Здоровье такое и вѣяло отъ ихъ розовыхъ щекъ; беззаботность и довольство звучали въ ихъ дѣвичьемъ смѣхѣ.

— Ну, что-же, Эдиэй? крикнула одна изъ дѣвушекъ. Ну, что-жъ ты?

Эдиэй встрепенулась, встрихнула кудрями и шаловливый вѣтерокъ разнесъ ея грезы....

— Задремала! проговорила она. И теперь еще слипаются глаза... Да развѣ ужъ такъ поздно?

— Только что въ пору одѣться. Мы пришли тебѣ помочь.

Дѣвушка начала одѣваться съ помощью своихъ вѣтреныхъ подругъ.

Бѣлое кисейное платье и распуколки розановъ въ бѣлокурыхъ волосахъ придали ей волшебный видъ.

— Господа, какъ хороша! замѣтила одна изъ юныхъ подругъ,— и кровь проступила на бѣломъ, прозрачномъ лбѣ Эдиэй, потому-что и зеркало щеткало ей:

Господи, какъ хороша!

— Прелестна! подхватила другая подруга.

— Очаровательна! закончила третья.

Эдиэй и три ея подруги сошли въ гостиную.

— Развѣ его еще нѣть, Эмма? спросила Эдиэй у одной изъ подругъ.— Развѣ его нѣть-ещѣ?

Звуки ея голоса были такъ безнадежно-грустны, что Эмма поглядѣла на нее съ изумленiemъ.

— Нѣть-ещѣ, нѣть! отвѣчала она.

— Который часъ? спросила Эдиэй.

— Ровно одиннадцать.

— Ему слѣдовало быть еще полтора часа назадъ! замѣтила невѣста, и склонила на руки голову.

— Милая Эдиэй! перестань-же такъ отчаяваться изъ-за пустяковъ!... Ну... его что-нибудь задержало: сама сейчасъ узнаешь... утѣшила невѣstu Эмма.

Но Эмма не могла узнать—отчего такъ беспокойна ея бѣдная красавица-подруга, отчего у нея такъ наболѣло сердце!

Чѣмъ дальше не являлся ожидаемый женихъ, тѣмъ сильнѣе грызла тоска бѣданую Эдиэй. Приглашенное на свадьбу общество сначала ждало терпѣливо; но потомъ въ комнатѣ послышались сдержаные вздохи, и сострадательные взоры устремились на Эдиэй. Пробило двѣнадцать часовъ—и созванные на веселье гости грустно и молчаливо разошлись по домамъ.

— Какъ это странно! проговорила маленькая, черноглазая дѣвушка. Я дала-бы все на свѣтѣ, чтобы узнать — отчего мистеръ Гардинджъ не пріѣхалъ на свадьбу?

— Вѣроятно его разбили лошади? замѣтила другая дѣвушка.

— А я таlkъ вовсе не удивленъ, что Гомезъ Гардинджъ не сдер-жать своего слова! замѣтиль съ жаромъ Ральфъ Уильтонъ, высокий и красивый молодой человѣкъ.—Замѣчательно только одно, до какой степени Эдиэй не умѣеть владѣть собой...

— Стыдитесь, Ральфъ! крикнула первая дѣвушка, — и черные ея глаза загорѣлись негодованіемъ. Вы говорите это потому, что Эдиэй предпочла Гомеза вамъ. Я, съ своей стороны, гордилась-бы такимъ красавцемъ. Что за глаза, что за усы, что за величавые пріемы! Ручаюсь, что онъ вполнѣ загладить эту маленькую непрѣятность и отпразднуетъ свою свадьбу на славу.

— Я и сама это думаю, прибавила третья подруга Эдиэи.

— Дай-то Богъ! отвѣтилъ Ральфъ.

— Если Гомезъ Гардинджъ такъ же горячо любить Эдиэй, какъ я, ему будетъ стыдно поразить ея сердце холодностью, или обмануть. Дай Богъ, чтобы ваше пророчество сбылось!

Ральфъ Уильтонъ заложилъ руки за спину и задумчиво потушилъ глаза въ землю.

Происшествіе съ Эдиэю опечалило всѣхъ ея гостей, и они молча разбрелись по домамъ.

На другое утро какой-то мальчикъ принесъ Эдиэи записку; она распечатала ее, — и щеки ея облились румянцемъ, пока она, съ лихорадочною дрожью, читала: „Дражайшая Эдиэй. Мне очень жаль, что я нанесъ тебѣ такое огорченіе; но со мною вчера случилась маленькая бѣда: не успѣль я сѣсть въ экипажъ, чтобыѣхать къ тебѣ, какъ лошадь моя вдругъ понесла и выкинула меня вонъ. Къ счастію, я былъ только ошеломленъ, и теперь вовсе не въ такой опасности, какъ полагалъ сначала медикъ. Онъ говоритъ, что черезъ день, черезъ два я могу сѣсть на лошадь: до тѣхъ поръ не терай мужества и надѣйся на твоего вѣрнаго друга.

Гомезъ Гардинджъ.

Въ умѣ довѣрчивой Эдиэи не промелькнула даже и тѣнь сомнѣнія, она только тоскливо считала проходившіе дни.

Черезъ недѣлю Гомезъ Гардинджъ подѣхалъ къ хижинѣ, сошелъ съ коня, вошелъ въ пріемную — и опустился на кушетку.

Едва-едва отвѣчалъ онъ на ласки бѣдной Эдиѳи. Дѣвушка не могла не замѣтить его холодности: она поблѣдѣла и заплакала.

— Эдиѳи, проговорилъ Гомезъ: я сдержанъ свое слово и пріѣхалъ, но у меня есть дѣло: я долженъ потратить на него все мое время и вниманіе... Нельзя-ли намъ отложить свадьбу на нѣсколько недѣль?

Эдиѳи взглянула на него — и все ея лицо болѣзнею передернулось. Она потупила глаза въ землю и молчала.

— Что-жъ ты мнѣ не отвѣчаешь, милая? спросилъ Гомезъ, подвигаясь ближе къ Эдиѳи.

Она подняла свои темно-голубые глаза и впилась въ Гомеза пристальнымъ взоромъ, щеки ея покрылись мертвенною блѣдностью; губы раскрылись, но нѣсколько мгновеній она не могла сказать ни слова.

Изумленной Гардинджъ ожидалъ ея отвѣта.

Вдругъ она вскрикнула: Гомезъ!... Гомезъ вздрогнулъ онъ не узналъ ни голоса, ни лица Эдиѳи.

— Ну что-жъ ты? спросилъ онъ. Молодая дѣвушка встала.

— Зачѣмъ тебѣ такъ безсердечно лицемѣрить? крикнула она.— Гомезъ! ты никогда, никогда и не думалъ на мнѣ жениться...“

Онъ не вынесъ взгляда Эдиѳи, и она отъ него отвернулась.

— Эдиѳи! Какъ у тебя повернулся языкъ на такие слова? проговорилъ онъ отчаянно, и грустно склонилъ голову на руки; но его голосъ и приемы были холодно натянуты...

Когда онъ поднялъ голову, въ глазахъ у него сверкали слезы. Эдиѳи не выдержала — и опять заплакала.

— Богъ видѣть мою душу! говорилъ Гомезъ. — Передъ Нимъ ничего не скрыто. Онъ одинъ знаетъ — справедливъ я, или нѣтъ?

— Но, возразила бѣдная дѣвушка, останавливаясь на каждомъ словѣ, съ запылавшимъ отъ прилива крови лицомъ, и такъ тихо, что Гомезъ напряженно вслушивался въ ея шопотъ. Но... мой позоръ не можетъ долѣе оставаться тайной... Я страшусь, что меня ужъ подозрѣваютъ... О! не выставляй же на показъ моего стыда, если въ тебѣ есть хоть искра человѣческаго чувства!.

— Отчего не сказала ты мнѣ этого раньше, Эдиѳи? Боже мой! Какъ-это могъ я быть такъ легкомысленъ?.. И сколько ты должна была выстрадать, малютка моя... И все изъ-за меня!.. Но пора кончить: на днѣхъ я за тобою пріѣду и мы обвѣнчаемся. Съ не-

дѣлю, — другую ты пробудешь у себя, а какъ я только устроюсь, пріѣду за тобой. Теперь мнѣ необходимо уѣхать.. Да перестань же глядѣть безнадежно, какъ жертва закланія: передъ нами — цѣлый міръ блаженства... Онь прижалъ ее къ груди, попѣловалъ, сѣль на коня и уѣхалъ.

Уѣхалъ, а Эдиѣвъ печально сѣла за какую-то работу. Прошла недѣля, — и снова былъ назначенъ бракъ Эдиѣи. Солнце свѣтило какъ-то тускло, стлались бѣлые туманы, и вѣтеръ проносился звѣйвно... Эдиѣвъ стояла въ своемъ садикѣ и прислушивалась къ стуку колесъ по дорогѣ... Гомеза все нѣтъ, хотя уже и миновалъ назначенный срокъ... Эдиѣвъ одѣта по дорожному... И вотъ она подошла къ двери, и положила руку на запоръ, но опустила ее въ безсиліи: ей показалось, что вѣтеръ навѣваетъ ей въ уши злые укоры, что изъ тумана глядятъ на нее жгучіе глаза, встаютъ како-то насмѣшливые образы и указываютъ на нее пальцемъ...

Она поспѣшио отворила дверь и выбѣжала изъ хижины.

Пройдя около двухъ миль, Эдиѣвъ услыхала за собою стукъ экипажа.

Она остановилась и учтиво обратилась къ сѣдоку съ вопросомъ.

— Могу я спросить: куда вы ёдете?

— Въ Йоркъ, то есть — не доѣзжая мили. Не хотите-ли подвезу?

— Если я васъ не обезпокою?...

— Нисколько, отвѣтилъ сѣдокъ, выпрыгнулъ изъ экипажа и подалъ Эдиѣи руку.

Добрые кони промчали ихъ пять-шесть миль, и тогда попутчикъ обратился къ Эдиѣи съ вопросомъ:

— Вамъ нужно дальше?

— Съ милю.

— Стало быть, вы — въ городъ? Такъ что-же! Кликнуть вамъ муху *), или самому доставить?

— Благодарю! сказала Эдиѣвъ; доставьте меня въ городъ — не останетесь въ накладѣ.

Возница домчалъ ее до городской оконицы, получилъ за провозъ и пожелалъ ей доброго дня.

Эдиѣвъ не знала городскихъ улицъ, а шла — куда глаза глядѣли.

*) Муха (по англійски — «fly») загородная одноколка.



Весь ея мозгъ занялся полымяемъ, душу притянуло къ пытей. Она разсвѣяно шла все впередъ и впередъ, и вдругъ—остановилась... Ея слухъ былъ пораженъ свадебными звуками музыки, и она стала внимательно прислушиваться... Безсознательно остановилась она передъ мраморными ступенями въ какой-то вельможный домъ... Двери были отворены, — и Эдиѣвъ вошла... Собрана была блестящая свадебная компанія, въ великолѣпной залѣ. Золото и серебро давили накрытые столы.—Дворецкій провозгласилъ, что завтракъ готовъ. Его голосъ пробудилъ Эдиѣвъ: она очнулась, увидала длинные свадебные столы, отягченные серебрянной и золотой посудой, и только теперь поняла, что это столы свадебные...

Гости садились позарно. Эдиѣвъ не вздрогнула, не крикнула, хотя и видѣла ясно, что женихъ—Гомезъ Гардинджъ... Эдиѣвъ выстрадала весь пиръ. Когда онъ кончился и Гардинджъ остался одинъ, Эдиѣвъ подошла къ нему и шепнула на ухо: расплата за мюю!... Гомезъ вздохнулъ свободнѣе, потому-что, сказавъ эти слова, Эдиѣвъ скользнула изъ комнаты легче тѣни.

— Умнѣе она, чѣмъ я думалъ! проговорилъ онъ: а все, впрочемъ,—отъ разстройства нервъ... Я увѣренъ, что нынче ночью будетъ самоубійство...

И, улыбнувшисьsarкастически, Гомезъ вышелъ изъ пріемной.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Украденное дитя.—Разносчикъ.—Губертъ и Ида.—Разлука.—Много лѣтъ прошло, а Гомезъ Гардинджъ ничего не слыхалъ объ обманутой имъ Эдиѣвъ.

Однажды, по утру, мистрисъ Гардинджъ собралась сѣсть за завтракъ, какъ вдругъ схвачилась и спросила у служанки.

- Гдѣ же племянка? Развѣ нѣть ея дома?
- Не видѣла я ее! отвѣчала служанка.
- Куда же она дѣвалась? спросилъ мистеръ Гардинджъ.
- Передъ завтракомъ она взяла Кару на руки, а потомъ уже и не возвращалась, сказала мистрисъ Гардинджъ.
- Потомъ, повернувшись къ служанкѣ, прибавила:
- Посмотрите, не въ саду-ли? Служанка вышла, но также долго не возвращалась, и беспокойная мать пошла за нею...

— Я боюсь не случилось ли чего съ Кларой? сказала она вернувшись.

— Да перестань же ты! сказалъ мистеръ Гардинджъ съ досадой: вѣчно пустые страхи... Неужели ребенка не могутъ унести на нѣсколько минутъ безъ того, чтобы ты не беспокоилась?

Митрисъ Гардинджъ покраснѣла отъ стыда, и отъ огорченія, и молча сѣла на свое мѣсто. Она была премилое маленькое созданіе, одна изъ тѣхъ нѣжныхъ и покорныхъ женщинъ, которыхъ, какъ цвѣтокъ на солнцѣ, сияютъ отъ каждой ласковой улыбки и, какъ цвѣтокъ отъ мороза, вянуть отъ первого суроваго слова.

За завтракомъ супруги говорили мало, а когда онъ кончился, въ комнату вошла служанка.

Мистрисъ Гардинджъ поблѣднѣла и поглядѣла на нее съ безпокойствомъ, однако не сказала ни слова.

— Нянѣка, проговорила служанка, лежить въ саду подъ деревомъ, только я никакъ не могла ее добудиться.

— Добудиться? повторилъ мистеръ Гардинджъ.

— Да, сэръ!

Оба супруга поспѣшили къ тому мѣсту, гдѣ нянѣка лежала въ глубокомъ снѣ: соединенные ихъ усилия — разбудить ее остались тщетными.

Мистеръ Гардинджъ приказалъ перенести ее въ домъ и послалъ за медикомъ; медикъ объявилъ, что она заснула подъ вліяніемъ сильнаго опіата, и ничто на свѣтѣ не можетъ разбудить ее, пока она вполнѣ не выспится.

Крѣпко и непробудно спала она до слѣдующаго дня, а между тѣмъ о пропавшемъ дитяти производили розыски по всѣмъ направлениямъ.

Проснувшись, нянѣка не могла собрать своихъ разсѣянныхъ мыслей, пока не освѣжилась чистымъ воздухомъ и не подкрѣпила себя пищею.

Въ отвѣтъ на тоскливыя разспросы пораженной матери, она объявила, что во время эя прогулки по саду, мимо нея проходила какая то женщина съ корзинкой плодовъ на руکѣ, но видно ей очень понравиались цвѣты, потому-что она остановилась, увидала ее и ребенка и сѣла возлѣ нихъ. Тутъ она вынула три апельсина: одинъ отдала Кларѣ, другой ей, кормилицѣ, а третій стала ъсть сама.—

Помнить кормилица, что стала ъсть апельсинъ и что ее склонила дрема; а что было дальше—ничего не знаетъ.

Снова начались розыски, но уже безнадежные: небыло никаког сомнія, что дитя украдено.

Пролетѣли дни, недѣли, мѣсяцы, а маленькая Клара не появлялась на утѣшніе скорбной матери, и мистрись Гардинджъ, слабая тѣломъ и духомъ, поникла подъ бременемъ горя и умерла, оставивъ по себѣ другую дѣвочку, нѣсколькихъ недѣль, по имени Альзину.

Пролетѣло двѣнадцать лѣтъ, и желѣзная рука времени положила печать свою на всѣхъ: убѣлила сѣдиною волосы взрослого человѣка, превратила отрока въ юношу, и склонила къ землѣ старика. Время утишило печаль мистера Гардинджа по его покойной женѣ, а его малютка-дочь стала расцвѣтать красавицей-дѣвочкой, по красавицѣ горделивой...

— Купите земляники! проговорилъ бѣдно-одѣтый мальчикъ, робко подходя къ гладкимъ мраморнымъ ступенямъ большого каменного дома: на ступеняхъ стояла дѣвочка, съ черными и блестящими глазами, съ надменно-поднятою бровью и съ агатовыми локонами.

Домъ принадлежалъ мистеру Гардинджу, а дѣвочка была его дочь—Альзина.

— Хорошо! я куплю всю вашу землянику, сказала она; только вы останетесь поиграть со мной.

— Не могу: мать дожидается.

— Вась дожидается! И дѣвочка гнѣвно сжала губы. — Все-таки вы останетесь.

— Не могу: мать огорчится.

На этотъ разъ она только молча и презрительно откинула назадъ голову.

— Ждите, пока я прійду, сказала она высокомѣрно.

Вскорѣ она опять появилась въ сопровожденіи высокаго, черноволосаго господина, на вкусъ конечно очень многихъ,—необыкновенной красоты; но въ его глазахъ и въ осанкѣ было что-то странно-лукавое, что-то нравственно-недобroe, доступное скорѣе внутреннему чувству, чѣмъ взгляду.

— Альзинѣ испрѣмѣнно захотѣлось, чтобы вы у насъ побыли, мой милый! сказаль онъ ласково. Если вы согласны, я предлагаю вамъ—видите какую крупную серебряную крону *): матушка ваша

*) Крона—серебряная англійская монета, цѣною не много болѣе полутысаць рубля серебромъ.

купить себѣ на неё славное платье, а землянику вы можете отнести домой, къ обѣду.

Мальчикъ стоялъ въ нерѣшительности.

— Я останусь, сказалъ онъ, встрѣтивъ повелительный взглядъ дѣвочки.

— Онъ хороший мальчикъ! продолжалъ господинъ, погладивъ маленькаго разносчика по головѣ и вложивъ ему въ руку монету

— О чёмъ вы расплакались? плачутъ только дѣти... сказала Альзина. Вамъ стоитъ пробыть здѣсь одинъ часъ... Я васъ домой провожу.

— Не нужно мнѣ васъ: я васъ не люблю.

— Пойдемте... Потомъ полюбите.

— Ни-за-что! я васъ больше не увижу.

— Вы приѣдете и будете жить со мной.

На другой день мальчикъ усердно бралъ землянику на сосѣдній лугу, какъ вдругъ услыхалъ что его кличтъ къ себѣ мать. Онъ послѣшилъ на зовъ, но при видѣ черноволосаго джентльмена, отшатнулся назадъ.

— Подойдите ко мнѣ, мой милый! Какъ васъ зовутъ?

— Губертомъ.

— Славное имя... Не хотите-ли пойхать и пожить со мною? У васъ будетъ платье съ иголочки, своя лошадка, свой экипажъ: вы будете кататься съ Альзиной, будете ея братцемъ...

— Не люблю я Альзину, не хочу съ ней кататься, не хочу быть ея братомъ.

— Шшь, шшь, Губертъ. замѣтила мать.

Джентльменъ нахмурилъ-было брови, но тотчасъ-же улыбнулся и проговорилъ вставая.

— Завтра я за нимъ задѣду.

На другой день утромъ, мистеръ Гардинджъ заѣхалъ за мальчикомъ, увезъ его съ собой, и Губертъ Бертонъ сдѣлался пріемнымъ сыномъ этого богатаго человѣка.

Чрезъ нѣсколько времени послѣ возвращенія своего въ домъ мистера Гардинжа, встрѣтилъ онъ разъ, гуляя, прехошенную дѣвочку, изнемогавшую подъ тяжестью какого-то узла.

— Вамъ, кажется, тяжело?.. позвольте я вамъ понесу.

— Пожалуйста, пронесите немножко... Совсѣмъ устала...

— Въ самомъ дѣлѣ тяжелый узелокъ... Откуда вы его несете?

— Изъ книжного магазина Томпсона.

— Это далеко. Отъ кого вы, и что тутъ такое?

— Отъ миссъ Эдель. Тутъ... какъ ихъ? Шекспиръ, Драйденъ, Попе... и все такія жестокія имена... Миссъ Эдель говоритъ, что она никогда-бы къ нимъ и не притронулась, да въ большомъ свѣтѣ принято обѣихъ разговаривать... А вотъ я и дома: здѣсь живу.

— Какъ васъ зовутъ?

— Ида—Ида Смить. А васъ?

— Губерть Бертонъ. Часто вы выходите изъ дома?

— Да: почти каждый день. Вотъ и завтра мнѣ далеко-далеко идти.

— Хотите—я зайду за вами и отправимся вмѣстѣ?

— Ахъ, пожалуйста, заходите! вдвоемъ веселѣ... А мнѣ пора, мистеръ Губерть!.. Миссъ Эдель будеть браниться...

Они простились, но на другой день Губерть опять встрѣтилъ дѣвочку, и она ему сказала:

— Какъ я рада васъ видѣть! Такъ боялась, такъ боялась, что вы не прийдете... Мнѣ нужно идти на Юніонъ-скверъ.

— А дорогу вы знаете?

— Еще-бы!

— И никогда не плутали?

— Нѣть!.. Это было-бы смѣшино. Я знаю улицы лучше мистера Уайта. Онь говорить, что у меня сильно развита шишка мѣстности. Я спрашивала у миссъ Эдели—что это значить? Она говоритъ, что это выраженіе только и можетъ относиться къ простымъ и уличнымъ дѣвчонкамъ, какъ я. Не вѣрится мнѣ что-то... ни одному слову... А вы вѣрите?

— Нѣть. Мистеръ Уайтъ хотѣлъ сказать, что у васъ отличная память мѣсть и что вы не скоро забудитесь. Давно-ли вы живете у миссъ Эдели?

— Около трехъ лѣтъ,

— А который вамъ годъ?

— Ровно двѣнадцать.

— Получаете вы жалованье?

— Нынѣшній годъ она мнѣ платить два пенса въ день *).

*) Пенсъ—двѣ копѣйки съ половиной серебромъ.

— Что же вы на нихъ дѣлаете?

— Отдаю матери. Она покупаетъ на нихъ хлѣбъ, исправляетъ дѣтское платье... У меня есть еще братъ и три сестры.

— А можете ли вы еще что-нибудь дѣлать, кроме — какъ быть на посылкахъ?

— Конечно могу: множество разныхъ бездѣлушекъ... Вотъ я учи-
лась вышиванью и миссъ Эдель говоритъ, что вышиваю щегольски...
Да это все — пустяки...

Прошло около года; дѣти видались ежедневно, и Губертъ, под-
ростая, стала навѣщать Иду въ квартиру мистера Уайта. Замѣчатель-
но-красивый, изящно одѣтый, онъ не разъ останавливалъ на себѣ
вниманіе Эдели; но простая дѣвочка уже властновала надъ нимъ
своимъ дѣтскимъ обаяніемъ. Это такъ... только Эдель, въ глубинѣ
душі повелительно произнесла приговоръ: надо положить этому ко-
нецъ.

Вдругъ Губертъ прекратилъ свои посѣщенія и Ида не встрѣчала
его никогда нѣсколько недѣль, но однажды, сдѣлавъ нѣсколько заку-
покъ и выходя изъ лавки, она почувствовала, что ей крѣпко сти-
снули руку. Оглянулась и увидала Губерта.

— Ступайте за мной, шепнулъ онъ, только подальше, до первой
боковой улицы.

Не проронивъ ни одного звука, Ида прошла за Губертомъ
нѣсколько улицъ до боковой аллеи, гдѣ онъ остановился и подо-
ходилъ ее.

— Что? спросила она, подходя и дрожа всемъ тѣломъ.

— Ничего, не бойтесь, сказалъ онъ. Эдель меня провела, и
теперь я не могу съ вами видѣться у васъ дома.

— Отчего?

Юноша замялся, и на лицѣ его выразилось страданіе, когда онъ
проговорилъ привѣтливо, но робко: Вы знаете... Вы вѣдь не болѣе,
какъ бѣдная, маленькая... служаночка, Ида!

Ида посмотрѣла на него во всѣ глаза; потомъ взглянула на свои
грубые платья и обувь, на изящный костюмъ Губерта,—и горькая
истина разоблачилась передъ нею. Со слезами въ голосѣ спросила
она.

— Вашъ отецъ богатъ?

— Нѣть: мои родители бѣдны. Я такой же пріемышъ, какъ и вы
но между нами большая разница. За мною всѣ преимущества обожае-
маго ребенка, а вы — служанка. Мистеръ Гардинджъ далъ мнѣ луч-

шихъ учителей, и я не могу пренебрегать его заботливостью — въ ущербъ себѣ и родителямъ.

— О милый мой! Что-же мнѣ дѣлать?..

— Быть доброй дѣвочкой и поступать во всемъ — какъ можно лучше. Когда я выросту, сдѣлаюсь независимъ и богатъ, я обѣ вѣсъ не забуду. Мой французскій учитель говоритъ, что у меня, для моихъ лѣтъ, такой талантъ къ живописи, какого онъ отроду не видывалъ. Если это такъ, я буду богатъ.

— А я то! Я не могу ни читать, ни писать, кроме того, чemu меня учить мать по воскресеньямъ... А миссъ Эдель становится все круче и круче... даже бѣть меня иногда... И мнѣ столько, столько тяжелой работы, и какъ же я устаю!..

Губертъ вздохнулъ, пожалъ, не выпуская изъ руки, маленькую ручку и продолжалъ:

— Не теряйте мужества, Ида! На днѣ вашей души дремлетъ и не проснулся еще могучій гений; ваше сердце — маленький драгоценный камень, чистѣйшей воды, но еще не отполированный... Въ самыхъ дорогахъ алмазахъ миссъ Эдели то-же химическое начало, какъ и въ грубомъ углѣ, и въ удущивомъ углеродномъ газѣ... И когда вы устанете отъ работы и заботы, и когда миссъ Эдель покажется вамъ очень жестокосердой, и когда, съ годами, вѣсъ будетъ угнетать грубыи и безсмысличныи народъ, попомните, что всѣ они — полированыи колеса маленькаго чистаго алмаза. Однако я съ вами заговорилъ... Пожалуйста безъ восклицаній... скоро опять увидимся... прощайте.

— Господи! прошептала Ида.—Такъ вотъ моя неизмѣнная доля! Сердце каменѣТЬ и горячія слезы стынутъ...

И она пошла домой, дошла, и въ изнеможеніи опустилась на стулъ.

Дверь въ ея комнату отворилась.

— Ида! опять эти гримасы!.. Да когда-же будетъ конецъ?.. Воротнички опять не выглажены, и мнѣ все ждать?

Ида молча встала и пошла въ кухню; но надѣ ея головкой уже сіяли лучи...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Юный артистъ.—Исповѣдь.

Прошли года, — и маленький продавецъ земляники сдѣлался молодымъ живописцемъ. Онъ сидѣлъ въ своей мастерской, болѣе похожей на царскій чертогъ, чѣмъ на комнату художника, сидѣлъ пе-редъ мольбертомъ и глядѣлъ на картину, только-что оживленную послѣдними взмахами кисти. Маленькая дѣвочка съ узломъ, видимо для нея тяжелымъ; полиналая шляпка съ большими полями упала на плечи; блѣдное личико, преждевременно запечатлѣнное заботами; выраженіе глазъ могло остановить на себѣ вниманіе самого опытнаго, самого закаленнаго художника; крѣпко сжаты губы, признаекъ неподолимо-упорной воли — освѣщались такою нѣжною улыбкой, какъ будто въ ней сама любовь молча говорила „пора!“

— Ха — ха — ха!

Для всякаго посторонняго слуха этотъ смѣхъ прозвенѣль-бы мелодическою трелью птички, но для изучившаго всѣ его переливы молодого художника этотъ смѣхъ отозвался холоднымъ сарказмомъ.

— Какой удивительный сюжетъ для художника! Какая обворожительная поза! Что за погибъ плечъ и — Боже мой! — что за чело!.. Позвольте подойти поближе. Великолѣпно... Вѣроятно-сестрица!..

При этомъ злому намекѣ на его происхожденіе, молодой художникъ поблѣдѣлъ, какъ полотно, но сдѣлалъ надъ собой страшное усиленіе, и, повидимому, совершенно у спокоился.

— Могу я сѣсть? — И Альзина опустилась на низенький оттоманъ возлѣ Губерта. Губертъ погладѣлъ на нее съ упрекомъ и негодованіемъ; но у него были взглядъ и душа художника: идеальность и красота производили на него такое впечатлѣніе, что передъ нимъ блѣднѣло всякое другое ощущеніе и чувство. Альзина встрѣтила его взглядъ и поняла... Да и какая-же женщина не понялабы? Альзина не откинула назадъ голову съ насыщеннымъ пре-небреженіемъ, какъ у нея была привычка, — нѣть: все ея лицо освѣтилось женственною нѣжностью, и Губертъ не узналъ ее. Низко склонилась ея головка на бѣлую, оправленную въ драгоценныя камни руку, — и черными волнами скатились кудри съ ея изящно наклоненныхъ плечъ. Одѣта была она дѣвственno-строго: ро-

скошное алое платье, обшитое дорогим кружевомъ, падало вдоль ея стана грациозными и ревнивыми складками; юность, искусство и вкусъ соединились, чтобы придать этому маленькому деспоту — Альзинѣ неотразимую красоту, не умилительную, не примирительно очищающую душу, а красоту — предвестницу бѣшеной страсти.

Поза Альзины была такъ обаятельна, что Губертъ невольно наклонился и сказалъ.

— Въ чёмъ дѣло, Альзина?

Отвѣта не было, на она еще ниже наклонила голову; легкая дрожь пробѣжала по ея тѣлу и слезы пробились ручьями сквозь ея тонкие пальцы. Она схватила руку Губерта, безсознательно скжала ее, и слезы хлынули еще сильнѣе. Альзина плакала такъ, какъ могутъ плакать только глубокочувствительные женщины.

Губертъ сидѣлъ въ безмолвномъ удивленіи: ему часто случалось видѣть на щекахъ Альзины горячія слезы вслыхнувшаго гнѣва; по такія нѣжныя, такія женственные слезы, казалось, были вовсе не свойственны ея природѣ, и только онѣ могли возбудить въ сердцѣ Губерта нѣкоторое чувство любви и сожалѣнія. Онъ сидѣлъ молча, пока сдержанное рыданіе не нарушило тишины, и тогда опять спросилъ.

— Скажите мнѣ, Альзина: что васъ такъ сильно разстроило?

Она приподняла голову и отерла платкомъ слезы со щекъ.

— Знаете-ли вы, что понудило моего отца усыновить васъ?

— Я всегда полагалъ, что поводомъ было ваше неотразимое вліяніе.

— Правда. Но подъ какимъ-же вліяніемъ была я сама?

— Думаю, что подъ вліяніемъ всегдашняго преобладающаго вашего желанія — дѣлать все по своему.

— Не сомнѣваюсь, проговорила она съ милой досадой, что вы имѣете полное право такъ думать: но въ этомъ случаѣ вы ко мнѣ жестоко, хотя и невольно, несправедливы. Когда я увидала васъ въ первый разъ съ корзиночкой земляники, — у васъ, у простого мальчика, было столько нравственной величавости въ осанкѣ, столько твердаго мужества въ дѣтскихъ звукахъ голоса, столько противоположнаго во всемъ со мною и съ моимъ характеромъ, что мое ребячье сердце покорилось и переполнилось чувствомъ благоговѣнія... Тогда я не знала, что именно влечетъ къ вамъ мои чувства? теперь узнала на бѣду и на горе... Въ послѣдніе годы, когда я кружилась въ такъ называемомъ большомъ свѣтѣ, какъ-бы я рада была промѣ-

нять всю его шумных удовольствія на возможность сидѣть у вашихъ ногъ и знать, что меня ждали, что меня любятъ. Но моя необычайная, неодолимая гордость заставляла меня обращаться съ вами съ презрительнымъ пренебреженiemъ... а я его никогда къ вамъ не чувствовала. Мнѣ представлялись женихи, но что мнѣ было въ нихъ, когда въ вашемъ сердцѣ для меня не было места? Мнѣ нужно, чтобы меня полюбили, какъ я васъ люблю, не за безукоризненную симетрію чертъ, не за волнистые, блестящіе волосы, не за глубокій, пламенный, душу-проникающій взглядъ,—нѣтъ, за что-то большее, за скрытую причину изящной вѣшности. Я умираю отъ жажды такой любви, и любви вашей,—а вы ненавидите меня, возненавидѣли съ первого раза, какъ увидали!.. Скажите, продолжала она умоляющимъ голосомъ: могли-ли бы вы понемногу полюбить меня, если-бы женились на мнѣ?

При этихъ словахъ, рука Альзины вырвалась изъ рукъ Губерта, какъ-будто ея прикосновеніе было заразительно.

— Альзина! сказалъ Губертъ послѣ нѣсколькихъ мгновеній тягостнаго молчанія:—Если-бы я поощрилъ ваше признаніе хотя единымъ намекомъ, или словомъ, я быль-бы недостойнъ ни въасъ, ни самого себя. Но я не могу скрыть, что въ вашемъ присутствіи мною овладѣваетъ непонятное, отталкивающее чувство: могу-ли-же я предложить вамъ руку—вопреки голосу сердца? Я несказанно обиzanъ вамъ и вашему отцу въ денежномъ отношеніи, и даль себѣ слово расплатиться, хотя потраченная на меня вами сумма—цѣлое состояніе...

Онъ остановился, взглянуль на Альзину: пепельная блѣдность покрыла ей лицо; жилы на лбу валились кровью до-красна; всегда темные сверкающіе глаза расширялись болѣе, и болѣе, и наконецъ загорѣлись пламеннымъ гнѣвомъ.

Битыхъ пять минутъ сидѣла она, недвижная и нѣмая; но, когда приподнялась съ места,—безумецъ! вылетѣло у нея сквозь стиснутые зубы, какъ изъ раскаленной до бѣла жаровни...—Идите за мной! сказала она, направляясь къ двери. Губертъ повиновался, не доумѣвая,—что могла ей внушить безразсудная страсть? Онъ ждалъ не долго: Альзина отворила дверь на улицу: ступайте вонъ, и никогда не осмѣливайтесь перешагнуть черезъ этотъ порогъ.

— Миссъ Гардинджъ, сказалъ Губертъ съ холодной почтительностью: мнѣ очень прискорбно, но я долженъ просить васъ нѣсколько

обождать. Мне нужно собрать мои рисунки — они мне очень дороги, чтобы оставлять ихъ здѣсь. Безъ гардероба я обойдусь.

Еще нѣсколько минутъ — и дверь Гардинджа захлопнулась за Губертомъ — можетъ быть — сильнѣе чѣмъ-бы слѣдовало. Черезъ два часа ходьбы онъ былъ уже въ квартирѣ своего отца и потихоньку постучался въ дверь.

— Это ты, Губертъ? И безъ шляпы, и съ такой кипой?.. Отецъ очень нездоровъ, а то бы я давно уже легла.

Въ короткихъ словахъ объяснилъ Губертъ своей матери все... Тѣнь набѣжала на ея лицо.

— Жаль! проговорила она. — Я была такъ убѣждена, что Альзина выйдетъ за тебя замужъ, и никакъ ужъ не думала, что ты безразсудно откажешься...

— Вы не знаете Альзины Гардиндже, матушка, иначе не говорили-бы этого!

На другой день Губертъ уже бродилъ по городу, весь погруженный въ заботы о томъ, какія-бы выбрать ему занятія и работу сподручнѣе и прибыльнѣе! Разъ, ночью, возвращаясь домой онъ вспомнилъ о маленькихъ золотыхъ часахъ, подаренныхъ ему нѣсколько лѣтъ уже Альзиной. Губертъ никакъ не могъ допустить мысли оставить эти часы у себя, и направился къ дому мистера Гардинджа, чтобы, черезъ этого джентльмена передать часы прежней ихъ владѣлицѣ. Подойдя къ великолѣпному дому, Губертъ изумился его тишинѣ и мраку: домъ былъ запертъ и пустъ. Недоумѣніе Губерта было разрѣшено его матерью: мистриссъ Бертонъ сообщила ему, что, на другой-же день послѣ разлуки, Альзина объявила непремѣнное свое желаніе сдѣлать туръ по Европѣ. Отецъ попытался былъ отговорить ее, да напрасно: воля ея была непреклонна. И вотъ, приведя въ порядокъ дѣла и оставивъ ихъ въ вѣрныхъ рукахъ, онъ отправился съ дочерью за границу, на годъ, или на два. Новая мысль озорила Губерта: продастъ онъ эти часы и составить себѣ маленький капиталъ — на что придется... Узнавъ отъ ювелировъ стоимость часовъ, Губертъ былъ пораженъ ихъ цѣнностю: онъ всегда считалъ ихъ родовымъ подаркомъ...

Когда онъ ихъ продалъ, въ голову ему запала неотступная мысль — отправиться въ Италию и докончить тамъ свое художественное образованіе. Черезъ нѣсколько недѣль, былъ онъ уже на пути въ эту благословенную страну, гдѣ въ идеалѣ менѣе красотъ, чѣмъ въ дѣйствительности.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Украденные часы.—Неприятное объявление.

Ида Смитъ сидѣла въ своей небольшой кухнѣ, какъ вдругъ въ дверь, тихо и робко, кто-то стукъ-стукъ-стукъ. Ида встала и отперла.

— Это вы, матушка? Вы блѣдны, какъ тѣнь... Что вы такъ рано? Булочникъ что-ли пересталъ вѣрить... Да что-же вы словечка не вымолвите?

— Гдѣ Эдель? мнѣ ей нужно сейчасъ-же видѣть...

— Напрасно. Она готовитъ богатѣйшее платье къ балу на новый годъ, и сегодня еще утромъ мистеръ Уайтъ строго упрекалъ ее за то, что она требуетъ еще денегъ. Даль ей двадцать пять фунтовъ стерлинговъ и сказалъ, что не дастъ болѣе ни центнѣ до конца бала.

— Двадцать пять фунтовъ! Сотая доля этихъ денегъ спасла бы моихъ дѣтей отъ голода.

Именно въ это самое мгновеніе Эдель вошла въ комнату, но, замѣтивъ мистриссъ Смитъ, поклонилась официально и хотѣла быстро пройти.

— Миссъ Уайтъ, постойте!

Звукъ ея голоса былъ такъ повелителенъ, что Эдель сразу остановилась и съ изумленіемъ поглядѣла вокругъ себя. Бѣдная женщина подошла къ ней.

— Я испытала всѣ средства, миссъ Уайтъ, и теперь нѣть болѣе силъ моихъ: мнѣ нужна хоть половина моихъ денегъ.

— Я ужъ вами разъ-навсегда сказала: до 2-го числа новаго года, не могу вамъ заплатить ни полушки.

— Нѣть, я должна получить деньги: у меня дѣти умираютъ съ голоду. Гдѣ ваша матушка? Я къ ней пойду.

— Теперь нельзя: она занята.

— Все равно: мнѣ ей надо видѣть.

— Не простирайте вашего безстыдства слишкомъ далеко, иначе васъ больше въ домъ не пустятъ, сказала Эдель, вышла и затворила за собою дверь. Мистриссъ Смитъ замедлилась, но только на одно мгновеніе: передъ очами ея души возникли образы ея блѣдныхъ, изнуренныхъ дѣтей, и она смѣло пошла за Эделью. Пылающими взорами провожала Эдель бѣдную женщину, когда та отворяла дверь въ приемную. Мистриссъ Уайтъ холодно-величественно приподнялась съ

мѣста и указала на бархатное кресло. — Мистриссъ Уайтъ, сказала мистриссъ Смитъ, не принявъ предложенія — садиться: ваша дочь должна мнѣ десять шиллинговъ... Вы сами — мать, и чувства у васъ материнскія — поймите: мои дѣти больны и безъ куска хлѣба!..

— Вы очень взволнованы, мистриссъ Смитъ... Сядьте, пожалуйста и успокойтесь... Много-ли у васъ дѣтей?

— Четверо дома, и трое на мѣстахъ.

— Въ гродѣ есть много заведеній для беспомощныхъ и бесприютныхъ дѣтей: отчего вы ихъ не помѣстите куда-нибудь?

— Мистриссъ Уайтъ, вы — мать, и еще спрашиваете меня?

Молча повернулась она и вышла изъ дома.

Ида провожала мать до столовой и за дверми выслушала все, затаивъ дыханье, какъ мертвая. Когда мать ея вышла, она скользнула одной рукой себѣ лобъ, а другою — сердце. Потомъ неслышно скользнула она вдоль длинной и роскошной залы, взбѣжала на верхнее жилье по мягкимъ и безвучнымъ персидскимъ коврамъ лѣстницы, перебѣжала еще залу, остановилась передъ одною дверью и притронулась къ щеколѣѣ Щеколдка уступила; — Ида вошла въ комнату, и дико оглянулась кругомъ. Это была спальня Эдели. Возлѣ зеркала, въ маленькомъ бархатномъ футлярчикѣ, обдѣланномъ въ золото, висѣли небольшіе часы. Не медля ни мгновенія, Ида сняла ихъ со стѣны и опустила за корсетъ. Слѣдующее мгновеніе она уже бѣжала по улицѣ.

— Сколько вы повѣрите мнѣ подъ эти часы? спросила она, войдя въ лавку закладчика.

Закладчикъ подержалъ часы въ рукахъ, поглядѣль подозрительно на Иду, и отвѣталъ.

— Два фунта.

— Очень хорошо.

Ухватившись за деньги, какъ утопающій за соломенку Ида выѣждала изъ лавки. По дорогѣ она накупила разныхъ съѣстныхъ припасовъ и примчалась съ ними къ своей матери. Остатокъ денегъ она отдала то-же ей.

Межу тѣмъ въ отелѣ Уайтовъ поднялась болѣшая тревога: у Эдели прошли ея дорогіе часы. На всѣ вопросы Ида отвѣчала хладнокровно и съ полнымъ присутствіемъ духа. Даже, когда мастеръ Уайтъ грубо схватилъ ее за руку и потащилъ на очную ставку съ мрачнымъ закладчикомъ, даже и подъ бѣшенными взглядами ма-

меньки и дочки, Ида не шевельнула бровью и осталась также спокойна и невозмутима, какъ самыи записной, самыи закаленный воръ.

Молча и безропетно ишла она за полицейскими агентами.

— Вотъ ваша велья! сказалъ ей тюремщикъ. Только тогда поблѣднѣла она и вздрогнула. Дверь затворилась за этимъ господиномъ съ рѣзкимъ и ржавымъ скрипомъ. Опустившись на полъ, (въ тюрьмѣ ничего не было, кромѣ голыхъ стѣнъ), Ида простонала.

— Боже мой! Боже мой! за что ты оставилъ меня?...

Альзина стояла одна въ гостиной своего отца. Мы не видались съ ней шесть лѣтъ, и, въ это время, изъ хорошенькой дѣвушки она развилаась въ роскошно развитую красавицу. Формы ея округлились; осанка приняла царственно-величественный складъ; но въ ней не было нѣжной, мягкой прелести, а безъ нея женщина теряетъ всю свою привлекательность. Альзина была одѣта съ большимъ вкусомъ, чѣмъ когда либо: на ней было темно-голубое шелковое платье, обшитое на вороту и рукавахъ самымъ тонкимъ кружевомъ; роскошные кудри падали на потемнѣлую лазурь платья, какъ полночь на небо.

По своему temperamentу она не могла выносить бездѣствія и, хотя жаркій полдень манилъ на отдыхъ и покой, Альзина уже собиралась вѣдѣть заложить экипажъ.

Въ эту самую минуту вошла Эдель Уайтъ.

— Одѣвайтесь и поѣдемте со мною: погода такъ хороша, что грѣшно сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. Не успѣли онѣ сѣсть въ экипажъ, какъ Эдель сказала: слышали вы новость?

— Новость?.. конечно про миссъ Монро?.. Безъ сомнѣнія, она очень хороша; но не нося она такого почетнаго имени, я увѣряю васъ — дѣлъ прошла бы не замѣченной въ свѣтѣ.

— А! ревнуешь? Это Эдель только подумала, а въ самомъ-то только улыбнулась и сказала.

— Охъ, нѣтъ! я не про то. Это уже старая исторія... Правда, что миссъ Монро одна изъ самыхъ хорошенькихъ женщинъ, какихъ я видала. Прошлую субботу она была у насъ въ церкви и меня пригласили полюбоваться на нее... Вирочемъ опять таки: я не про то... Мнѣ хотѣлось сообщить вамъ о прїѣздѣ изъ Италии одного изъ нашихъ знаменитыхъ молодыхъ художниковъ. Онь намѣренъ открыть

для публики живописную галлерею: и говорять, — его картины —
двѣтъ англійской живописи.

— Я живу цѣлую милю оть города и новости доходить до меня
поздно... Странно мнѣ только, что отецъ ничего не сказалъ: въ Morning
Herald вѣрно ужъ повѣщено... Какъ имя художника?

— Постойте... Я очень забывчива на имена... Да... припом-
нила... Губертъ Бертонъ.

Всё это было сказано Эделью небрежно; но она вспомнилась взорами
въ лицо Альзина. Альзина вскакнула и перемѣнила разговоръ. Че-
резъ нѣсколько минутъ она уже была у подъѣзда своего дома.

Нѣсколько дней спустя, мистеръ Гардинджъ говорилъ: — Что
это значитъ, Альзина? такое раннѣе приглашеніе на вечеръ? И онъ
подальѣ ей изящную карточку съ надписью: Мистрисъ... такого-то
числа, — дома.

— Ахъ, это — вечеръ въ честь какой-то, не-то ирландской, не
то американской леди..

— Разумѣется, мы поѣдемъ?

— Конечно.

Было девять часовъ вечера, когда Альзина, окончательно одѣ-
тая, поджидала своего отца: онъ былъ непогрѣшительный знатокъ
въ женскихъ нарядахъ, и она вполнѣ полагалась на его приговоръ.

— Сегодня тѣ бѣ нечего бояться соперничества! сказалъ онъ, и
довольный взглядъ подтвердилъ его слова.

— Вы пристрастны, папа! Будь я вами посторонней, — вы и не
замѣтили бы меня.

— Одна только ошибка, продолжалъ онъ, словно не разслышавъ
ея словъ: черезъ чуръ много этихъ игрушекъ въ волосахъ: довольно
густыхъ кудрей... Оставь, пожалуй, одинъ этотъ амазъ: его не ви-
дно, и онъ сверкнетъ развѣ, когда откинешь невзначай локонъ.

Не прошло минуты — всѣ драгодѣйные уборы покоились въ сво-
ихъ футлярахъ.

Быстрымъ взглядомъ окинула Альзина гостиную, загроможден-
ную густой толпою. Прежде всего, въ полуслѣдѣ канделіябра, уви-
дала она молодую дѣвушку, съ привѣтливой улыбкой на губахъ,
окруженную, повидимому, толпой поклонниковъ. Судорога передер-
нула алны губы Альзины. Она подошла ближе, чтобы лучше оцѣ-
нить новую красавицу. Миссъ Монро была одѣта очень просто: тем-
ное атласное платье; въ темныхъ кудряхъ, такихъ-же густыхъ и бле-

стящихъ, какъ и у Альзины, нѣсколько свѣжихъ цвѣтовъ—и все. Къ ней подошелъ какой-то джентльменъ, по видимому, иностранецъ... Но нѣть!.. Это отмѣченное мыслю чено, эти небрежно откинутые назадъ черные волосы, эти художественно отточеннія черты,—въ нихъ нельзя было ошибиться!.. И вотъ они, могучіе глаза, сжигавшіе столько разъ до тла гордое сердце Альзины!.. Да!.. Альзина смѣялась и кокетничала со всѣми, кто къ ней ни подходилъ, но всею душою и всѣми мыслями слѣдила за двумя пріѣзжими, слѣдила, какъ только въ силахъ слѣдить зависть, ненависть и любовь. Если миссъ Монро и не доставало нѣкоторыхъ условій идеальной красоты, отсутствіе ихъ выкупалось полнымъ изяществомъ пріемовъ: каждый ея поворотъ, каждый наклонъ головы, каждый шагъ, каждое движеніе бѣлой ручки были образцемъ изящнаго достоинства и непринужденности.

Альзинѣ представили официально красавца - художника. Она только кивнула ему головой и сказала нѣсколько обычныхъ привѣтствій, а онъ откланялся ей, какъ будто видѣлъ ее въ первый разъ. Пары смѣялись парами, и Альзина видѣла, какъ мѣсто молодого художника замѣнилъ возлѣ миссъ Монро ея отецъ, какъ, при его приближеніи щеки молодой дѣвушки покрылись густымъ румянцемъ, и изъ черныхъ глазъ посыпались искры...

Мистеру Гардинджу было лѣтъ сорокъ пять; онъ былъ необычайно хорошъ собой и въ совершенствѣ владѣлъ знаніемъ человѣческаго сердца.

Мистрисъ Монро, путешествовавшая для поправленія своего здравья, была совершенно непохожа на свою рѣзвую дочь: сдержанная сосредоточенная въ самой себѣ, всегда холодно-учтивая и только по временамъ привѣтливая...

Однажды мистеръ Гардинджъ и Альзина сидѣли одни.

— А что бы ты сказала, спросилъ мистеръ Гардинджъ, еслибы я вздумалъ жениться, моя милая?

— Я думаю, что ни мое одобрение, ни мое порицаніе въ этомъ случаѣ ровно ничего не значать.

— Я не женился до сихъ поръ въ ожиданіи твоего совершенно-лѣтія и возможности располагать собой по произволу. Теперь ты, вѣроятно, уже не долго останешься со мною, а такъ-какъ представляется золотой случай, я желалъ имъ воспользоваться...

— На комъ-же ты женишься?..

— На миссъ Монро.

— Отець, да ты съ ума сошелъ!
Онъ ничего не отвѣтилъ, и продолжалъ:

— Ты лучше меня знаешь—о чём нужно позаботиться и какія перемѣны необходимы въ домѣ для ся приема. Я попрошу тебя приготовить все и пригладѣть за всѣмъ, потому что черезъ двѣ недѣли будетъ свадьба, и по моей просьбѣ, у насъ въ домѣ.

Такая соперница и такъ близко! Альзина поблѣднѣла и дрожа отъ волненія, вышла изъ комнаты.

Прошло нѣсколько дней, и вотъ однажды утромъ, гостиная мистера Гардинжа наполнилась его друзьями и родственниками; глаза всѣхъ были обращены на благороднаго жениха и красавицу-невѣсту, одѣтую съ необыкновеннымъ вкусомъ.

Пасторъ, сіающій удовольствиемъ и величiemъ, уже готовился приступить къ обряду, какъ вдругъ мать невѣсты неожиданно вышла впередъ, подошла къ мистеру Гардинжу и шепнула ему на ухо нѣсколько словъ.

Всѣ вѣсты,—что она сказала, но онъ вдругъ стала бѣлѣе платья своей невѣсты и въ изнеможеніи опустился въ кресло.

Мистриссъ Монро немедленно обернулась къ присутствовавшимъ и объявила, что сей часъ только узнала объ одномъ обстоятельствѣ, по которому необходимо отложить бракъ на нѣкоторое время. Затѣмъ она холодно поклонилась обществу, вышла вмѣстѣ съ дочерью изъ гостиной, и вскорѣ ея экипажъ загремѣлъ по улицѣ.

На другой день обѣ пріѣзжія лади сѣли на пароходъ и были уже на пути въ новый свѣтъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Тюрьма.—Отъездъ.

Губертъ Бертонъ проводилъ послѣднаго изъ своихъ посѣтителей, надѣлъ шляпу, и, по обыкновенію, вышелъ прогуляться. Множество улицъ пересѣкъ онъ, множество аллей и переулковъ, грязныхъ и зловонныхъ, обставленныхъ развалившимися домишками. Обитатели этихъ конуръ пали такъ низко, представляли собою такое полное подобіе звѣрей, что воображеніе напрагало всѣ силы и все-таки не постигало—какимъ образомъ могутъ эти жалкія, покрытыя лохмотьями существа жить въ одной и той-же сферѣ, дышать однимъ и тѣмъ-же

воздухомъ, освѣщаться и согрѣваться однимъ и тѣмъ-же солнцемъ съ богатыми и изящно-одѣтыми горожанами?

Губертъ цѣлые полчаса шелъ куда глаза глядѣли, и вдругъ остановился передъ фасадомъ громадной тюрмы.

— Что за сумасбродство! Куда-это я забрель по разсѣянности? подумалъ Губертъ. Онъ терпѣть не могъ тюремъ и повернуль-было ужъ назадъ, но остановился.

— Впрочемъ, продолжалъ онъ мысленно, сегодня—пріемный день: зайду взглянуть.

Холодно и безотрадно-сурово нахмурились надъ нимъ желѣзные столпы; рѣшетки и перегородки изъ того-же мрачнаго матеріала стояли на равномъ разстояніи другъ отъ друга, словно безмолвныя часовыя на постахъ. Онъ были тщательно украшены изящными виноградными листьями, цветами и арабесками, но все это было только для глаза: сами онъ были кѣмы и грубы, какъ желѣзная руда.

Смотритель тюрмы оказался привѣтливъ, сердечный и услужливый человѣкомъ; ему было чрезвычайно приятно—сообщить всевозможныя свѣдѣнія.

Пройдя одно отдѣленіе и завернувъ за уголъ коридора, они оба вдругъ остановились: у самыхъ ихъ ногъ лежала какая-то женщина и, повидимому, спала. Ея постелью былъ жесткій каменный полъ; подушкою — нѣжная, мягкая рука; покровомъ длинные волнистые волосы; разсыпались они по груди ниже пояса и закрыли нижнюю часть лица; но артистической взглядъ Губерта, по чистому, классическому очерку лба и головы, угадалъ всю красоту и выразительность лица.

Смотритель замѣтилъ его беспокойный, вопросительный взглядъ и сказалъ:

— Да, въ нашу западню попалась рѣдкая птичка; ее насадили сюда за покражу часовъ. Странная дѣвочка: мнѣ кажется, что разгадать ее можетъ только глубокій знатокъ человѣческаго сердца. Моя жена обыкновенно знакомится лично съ каждою изъ нашихъ заключницъ,— и отъ этой рѣшительно безъ ума. Она положила ее спать въ лучшую комнату, тѣмъ болѣе, что, повидимому, дѣвушка никогда не входила въ свой казематъ и предпочла ему холодный и жесткій полъ коридара, а у меня не достало духу принуждать ее. Разъ, при одномъ только намекѣ, она поглядѣла на меня съ такой отчаянной мольбою, такъ крѣпко вцепилась мнѣ въ платье, что у меня сердце ушло... Такъ-вотъ, сидѣть, она у насъ цѣлый день въ гостиной, есть за-

однимъ съ нами столомъ, словомъ — пользуется всѣми правами и преимуществами семьянинки. Только она ужъ черезчуръ любить мечтать и писать, и для этого всегда уходить сюда, въ свой уголокъ: вѣрононъ ей пришелся по душѣ своимъ запустѣніемъ.

При этомъ Губертъ въ первый разъ замѣтилъ на полу карандашъ и лоскутокъ бумаги. Онъ шепнулъ смотрителю:

— Какъ имя этой девушки?

— Ида Смѣть.

Губертъ вздрогнулъ съ головы до ногъ; тоскливая блѣдность покрыла его лицо, когда онъ спросилъ:

— Виновна она?

— Да. Она, откровенно и не краснѣя сознается сама, и это для меня тѣмъ болѣе непонятно, что она очень робка и очень скромна; душа ея такъ чиста, что неспособна къ обману... Воры обыкновенно скрываютъ и хитрятъ.

Губертъ наклонился, поднялъ съ полу бумажку и пробѣжалъ ее глазами.

Это были стихи:

Они дышали простотою и женственной прелестью; въ нихъ слышались тосклевые, сдержаные вздохи, покорная безнадежность на земное счастіе и горачее упованіе на лучшую жизнь въ иномъ мірѣ.

Губертъ вынулъ свой карандашъ и написалъ: „У васъ есть другъ. Г. Б.“ Потомъ они осторожно прошли мимо.

— У кого она похитила часы? спросилъ Губертъ.

— У одной молодой леди, Эдели Уайтъ. Она находилась у нея въ услугеніи.

Въ тотъ-же вечеръ Губертъ сидѣлъ наединѣ съ Эделью, въ роскошной гостию отца. Эдель была вся — улыбка и увлекательное одушевленіе; Губертъ ей льстилъ, вставлялъ въ разговоръ тонкія похвалы, быть любезенъ до-нельзя; но сердцемъ своимъ онъ былъ въ далекомъ уединеніи съ прекрасной заключенницей. Было уже поздно, и Губертъ вынулъ часы.

— Господи, что за непростительная разсѣянность! Позабылъ завести часы...

Эдель вынула свои, поглядѣла и сказала: теперь — ровно десять.

Губертъ съ удивленіемъ взглянулъ на часы и проговорилъ:

— Позвольте мнѣ посмотреть на ваши часы?

— Съ удовольствиемъ.

— Такъ и есть: это мои часики! Я узналъ-бы ихъ между де-

сатью тысячами. Вы вѣрно купили ихъ у закладчика въ Генгу-
дѣ? неправдали?

— Правда. Но что понудило вѣсть разстаться съ такой милень-
кой, цѣнной игрушкой?

— Сила обстоятельствъ... Но эта бездѣлушка была причиной
моихъ удачъ и извѣстности. Какъ я радъ взглянуть на нихъ еще
разъ!.. Я думаю, вы не успѣли еще привязаться къ нимъ до того,
чтобы не могли бы разстаться съ ними: знаете, что мною овладѣло
мальчишеское желаніе приобрѣсти эти часы?

— Они у меня нѣсколько лѣтъ и я привыкла къ нимъ, какъ
къ старому другу: у меня ихъ разъ украло-было, но одинъ изъ мо-
ихъ друзей опять выручилъ; тѣмъ не менѣе, продолжала она лу-
ково, я не знаю нѣгого, кто бы сберегъ и сохранилъ ихъ лучше,
чѣмъ вы.

Губертъ поблагодарилъ ее и отправился домой. Всю дорогу въ
головѣ его роились смутныя мысли.

— Не угодно ли будетъ вамъ передать это миссъ Смитъ? гово-
рилъ, дая черезъ два, Губертъ смотрителю тюремы, вручаю ему не-
большой футлярчикъ.

— Съ великимъ удовольствиемъ! отвѣчалъ смотритель, пожимая
Губерту руку. Вы не можете себѣ представить, — какая перемѣна
произошла въ этой дѣвушкѣ послѣ вашего посѣщенія! Невыразимо
нѣжная улыбка не сходитъ съ ея губъ, и всѣ черты лица какъ будто
просвѣтлѣли.

Губертъ улыбнулся при этихъ восторженныхъ словахъ и ска-
залъ:

— Не переставайте быть къ ней великодушнымъ. Я надѣюсь
черезъ нѣсколько дней освободить ее отсюда.

Въ футлярчикѣ были часы, купленные имъ у Эдели, и записка:

«Ида! я знаю, что вы въ душѣ невиновны. Эти часы случайно
навели меня на вашъ слѣдъ: берегите ихъ, пока не услышите о ва-
шемъ

Г. Б.».

Нѣсколько дней онъ просидѣлъ дома и все время ничего не слы-
халъ ни объ Идѣ, ни объ ея добросердечномъ смотрителе.

Однажды Губертъ, утомленный тяжелой дневною работой за моль-
бертомъ, отдыхалъ въ спокойномъ откидномъ креслѣ: отъ нечего дѣ-
лать онъ взялъ послѣдній № „Утренняго Вѣстника“, и глаза его
остановились на статьѣ:

Побѣг. Вчера вечеромъ бѣжала одна изъ заключенницъ Большой Ньюстонской тюрмы, по имени Ида Смитъ, содержавшаяся за похищеніе цѣнныхъ золотыхъ часовъ. Подробностей побѣга мы еще не знаемъ».

Губерть нѣсколько минутъ просидѣлъ какъ ошеломленный; по томъ всталъ, вышелъ изъ дома и быстро направился къ тюрьмѣ. Смотритель встрѣтилъ его строгими словами:

— Какъ! вы до того дерзки, что такъ скоро опять являетесь сюда, сэръ? Вѣрно вѣсъ ужъ черезчуръ увлекла моя снисходительность.

И онъ хотѣлъ-было захлопнуть дверь; но Губерть удержалъ ее и крикнулъ:

— Ради всего святого! Что это значитъ? Позвольте же мнѣ хоть выслушать въ чёмъ дѣло?

Дверь медленно растворилась и смотритель холодно кивнулъ головою Губерту, говоря:

— Можете войдти. Когда Губерть вошелъ, смотритель продолжалъ:

— Извините за нарушеніе законовъ вѣдливости: мое коренное правило — быть учтивымъ со всѣми, всегда и при всякихъ обстоятельствахъ; но ваше неслыханное безстыдство совершенно заглушило во мнѣ всѣ человѣческія чувства.

Губерть снялъ шляпу и вытеръ на лбу холодный потъ. Послѣ нѣсколькихъ мгновеній замѣшательства, Губерть проговорилъ:

— Ваши слова удивляютъ меня еще болѣе. Если я словомъ, или какимъ-нибудь поступкомъ оскорбиль здѣсь чувство приличія, — это случилось единственно по невѣдѣнію, и прошу васъ извинить меня. Объединитесь со мной — и я готовъ подвергнуться какому угодно взысканію.

Смотритель пытливо глядѣлъ на Губерта, но ни одно движеніе, ни одинъ взглядъ не изобличали его виновности.

— Вы или рѣшительно невинны, сказалъ смотритель, слегка улыбаясь, или — подобнаго обманщика на свѣтѣ не бывало.

Въ умѣ Губерта невольно мелькнула новая мысль, и онъ поспѣшно спросилъ:

— Все это, конечно, связано, такъ или иначе, съ побѣгомъ. Иды Смитъ, не правда ли? Но какъ? Ради Бога, объясните!

— Какъ будто же сами вы вынесли ее отсюда на рукахъ, вчера.

вечеромъ? отвѣтилъ смотритель, все еще недовѣрчиво посматривая на Губерта.

— Да что вы, помилуйте! Я только чашь тому узналъ, что Ида уѣхала; а вчера я цѣлый день даваль частные уроки.

— Странно... Но вы, кажется, устали? Не угодно ли вамъ пристать?

— Очень радъ. Теперь объяснитесь.

— Извольте. Вчера вечеромъ является къ намъ молодой человѣкъ, точь-въ-точь одѣтый, какъ вы сегодня, съ такой же изящной и красивой наружностью и съ голосомъ,—Богомъ вамъ клянусь,—похожимъ на вашъ нота въ ноту. Онъ вѣль подъ руку молодую женщину, тяжело склонившуюся ему на плечо, и едва могъ поддержать ее другой рукой. Джентльменъ сказалъ мнѣ, что это—родственница Иды, очень опасно больная, и что она не можетъ умереть спокойно, не простившись съ заключенной.

Ида, по своему обыкновенію, носилась въ волшебномъ мірѣ, и я, разумѣется, съ большой готовностью допустилъ требуемое свиданіе. Черезъ полчаса джентльменъ вернулся, неся на рукахъ леди, повидимому, въ сильномъ обморокѣ. Онъ сказалъ, что свиданіе было слишкомъ тревожно для ея слабыхъ нервъ, и она лишилась чувствъ; но на свѣжемъ вечернемъ воздухѣ, вѣроятно, скоро придется въ себя. Лицо молодой леди было блѣдно, какъ мраморъ. Съ грустнымъ участіемъ заперъ я за ними дверь. Черезъ часъ я обходилъ тюрьму обычнымъ рундомъ, и, — вообразите мое удивленіе: вмѣсто Иды Смить я вижу на полу большую куклу, очень искусно сдѣланную изъ трапоекъ, ваты и т. п. Мaska была снята и надѣта на Иду — отъ того и мертвенная блѣдность лица.

— И вы говорите, что молодой человѣкъ былъ похожъ на меня?

— Голосомъ, взглядомъ, пріемами; до того похожъ, что мнѣ въ голову не приходило принять его за кого-либо другого, кромѣ васъ.

— Отчего вы тогдась же не арестовали меня?

— Изъ уваженія къ вамъ, изъ моей дружбы и симпатіи къ Идѣ. Никогда не могъ я себѣ представить, чтобы она рѣшилась на такой побѣгъ... Я полагалъ, что она смѣло и откровенно объяснить публикѣ все, какъ было, и спокойно покорится своей участии... какъ жестоко я ошибался!.. Никогда не очнусь мнѣ вполнѣ отъ этого удара!

Наступило минутное молчаніе, потомъ Губертъ сказалъ:

— Я увѣренъ, что здѣсь кроется какая-нибудь темная интрига. Произведены были тщательные розыски?

— Не думаю. Впрочемъ, полиція, конечно, не замедлитъ приступить къ дѣлу.

— Прощу васъ быть моимъ довѣреннымъ лицомъ. Я заявляю, что рѣшительно не причастенъ этому дѣлу, сказалъ Губертъ, пожимая руку смотрителю и пожелавъ ему доброй ночи.

Губертъ слѣдалъ все, что могъ для отысканія пропавшей дѣвушки: но ее не могли найти нигдѣ.

Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, — и Губертъ сдѣлался безшокой-нымъ, недовольнымъ; наконецъ, объявилъ рѣшительное намѣре-ніе — сношаѣтъ въ Италію. Галлерея его была биткомъ набита его друзьями: всѣ они приходили прощаться съ молодымъ художникомъ.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Леди подъ вуалемъ.—Интрига распутывается.

Тихо и плавно выходилъ корабль изъ гавани; спокойны и не- движны были ясныя воды. Одинъ изъ пассажировъ, Губертъ, сидѣлъ одиноко; какое-то бремя давило его всегда веселую и беззаботную голову. Онъ взялъ бумагу, карандашъ и началъ какой-то эскизъ, но бесполезно: гений его задремалъ.

Вскорѣ вниманіе его было привлечено приближеніемъ незнакомой леди; стань ея былъ изящно строенъ; движенія горделиво величавы; но Губертъ понялъ сразу, что подъ этой неприступной наружностью таится злой внутренний недугъ, и немногіе бы поняли это, потому что леди вся была закрыта вуалемъ. Она прошла мимо, не замѣтивъ Губерта: было ясно, что она погрузилась въ тяжелыя думы.

Каждый день видѣлъ ее Губертъ и всякий разъ подъ вуалемъ; вскорѣ она сдѣлалась предметомъ общаго живѣйшаго любопытства.

Однажды Губертъ сидѣлъ у борта и любовался на море: въ лазурныхъ воды, слегка подернутыя зыбью, опрокинулась звѣздная чаша яснаго неба; еле-еле скользилъ корабль, укачиваемый легкимъ вѣтеркомъ. Губертъ былъ выведенъ изъ задумчивости нѣжнымъ — мелодическимъ голосомъ; онъ сталъ внимательно вслушиваться: это говорила женщина и умоляла о чѣмъ-то. Но о чѣмъ? Губертъ притихъ дыханіе, и все-таки не разслыхалъ ни слова. Послышалось глухое рыданіе — и Губертъ не выдержалъ: всталъ и пошелъ въ

тѣни къ тому мѣсту, откуда доносились звуки. Вскрѣ онъ увидѣлъ какую то женщину: она сидѣла, закрывъ лицо руками; полу-вопли полу-рыданія вылетали изъ ея губъ. Передъ ней, ярко-освѣщенный—мѣсячными лучами, стоялъ мужчина грубой и свирѣпой наружности, со скрещенными на груди руками и съ нахмуренною бровью.

— Полно—наконецъ! сказалъ онъ. Не будь у меня безграничного терпѣнія, вы загасилибы во мнѣ послѣднюю искру любви и сдѣлали изъ меня тирана, а не любящаго мужа.

— Какъ вы смѣете?

— Въ величайшему нашему удовольствію, вы скоро узнаете,— какъ я смѣю! Даю вамъ 24 часа сроку—попытаться съ вашимъ безцѣннымъ дѣвичествомъ: черезъ сутки вѣсть поздравлять — моей обожаемой супругой, мистриссъ Цейсонъ, и вы отрете ваши слезы.

Онъ повернулся и отошелъ прочь.

Минутъ съ десять сидѣла она недвижимо, и потомъ встала съ ужасающимъ спокойствиемъ.

— Да, я отру свои слезы!

Въ этихъ словахъ слышались жесткіе, ледяные звуки отчаянной рѣшиимости. Она подошла къ низенькимъ периламъ и остановилась; Губертъ слѣдилъ за ней шагъ за шагомъ; сердце у него захолонуло. И вотъ она поставила на перила стройную ножку, потомъ другую, нагнулась впередъ и словно повисла между небомъ и водою. Наступило мгновеніе осязаемой тишины, только мгновеніе, потому-что незнакомка — вдругъ быстро прыгнула впередъ; но Губертъ стоялъ сзади съ распостертыми руками, поймалъ ее на лету и сильно притянулъ къ себѣ. Она отчаянно вскрикнула и потянулась къ периламъ; было видно, что эта женщина рѣшилась умереть. — Леди! проговорилъ Губертъ голосомъ, полнымъ трогательнаго чувства, переждавъ минуты двѣ и продолжалъ.

— Хотите мнѣ довѣриться, леди?

— Шшш! шепнула она, прижимаясь къ своему избавителю: „онъ вѣсть услышить!“

— Я все слышалъ, отвѣчаль Губертъ также шепотомъ; но у васъ сильная дрожь. Сядемте-здѣсь въ тѣни: нась никто не увидитъ.

Она боязливо оглянулась кругомъ и сѣла.

— Видѣли вы его?

— И видѣлъ и слышалъ его низкія, злыя слова. Но, повѣрте мнѣ, леди, такой неслыханный поступокъ не будетъ допущенъ на нашемъ пароходѣ.

Она сомнительно покачала головой.— Я знаю, что капитанъ—человѣкъ до нельзя подкупной, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ его влияніе здѣсь безграницно.

— Странно, непостижимо странно, что подобный дѣла совершаются въ этой свободной странѣ... Нѣть-ли у васъ какой-либо возможности—спастись бѣгствомъ?

— Увы!.. И этого средства вы меня лишили...

— Не говорите этого. Я лично буду вамъ вѣраюмъ слугою; а выйдемъ на берегъ,— правосудіе тотчасъ-же вступить въ свои права.

— Вы можете услужить мнѣ, и даже не воображаете—чѣмъ и какъ?

— Какъ?

— Богаты вы—есть у васъ деньги?

— Да. Столько, сколько я желаю.— Но въ чѣмъ-же дѣло? Послѣдній мой пенни въ вашей волѣ и въ вашемъ распоряженіи.

— Капитанъ—человѣкъ безъ правилъ: его можно перекупить, заплативъ больше того, что онъ уже получилъ, — и тогда...

— Тогда что?.. Успокойтесь пожалуйста!..

— Если-бы вы на мнѣ женились... Вы колеблетесь!.. Эgotъ бракъ не былъ-бы никакъ обязательнымъ для васъ, и разумѣется, разъ укрывшись отъ преслѣдований, я возвращаю вамъ полную свободу. Не настаиваю на моемъ предложеніи, потому-что оно связано еще съ *одной* побудительной причиной.

— Настаивать не нужно, леди: что вы сказали, будеть исполнено, и вы будете пользоваться законною свободой.

— Да благословить васъ небо, благородный чужеземецъ! И она припала къ нему на грудь головою и заплакала.

— Шшь! я слышу какой-то шумъ... Что, если это онъ?

И она со страхомъ—прижалась къ Губерту.

— Не бойтесь: васъ никто не обезпокоитъ. Вотъ опять все тихо. Теперь я провожу васъ въ каюту; но прежде всего обѣщайте мнѣ не тревожиться.

— Обѣщаю.

Въ каютахъ были шесть свидѣтелей, тамъ-же находился и па-

сторъ,— и Генрихъ Бертонъ сочетался законнымъ бракомъ съ леди подъ вуалемъ. Въ продолжение остального пути, онъ только мелькъмъ видѣлъ свою жену.

Италія. Вечеръ. Мягкая влажная атмосфера дышетъ любовью и тишиною; небо, растопленною лазурью, словно само собою, клонится къ землѣ съ нѣжнымъ сочувствиемъ; музыка то налетаетъ ближе и ближе полновзвучною гармоніею, то замираетъ вдали слабыми отзываами; то радостью переполнить она душу, то погрузить ее въ тихую задумчивость.

Въ окно роскошно-отдѣленной комнаты глядѣла молодая леди; тонкій мѣсяцъ, тая въ прозрачной синевѣ осипалъ ее лучами, но она ихъ не замѣчала, и со вздохомъ отвернулась отъ шелковыхъ занавѣсокъ. Это была леди подъ вуалемъ, вступившая въ бракъ при такихъ странныхъ обстоятельствахъ.

Занимаемые ею комнаты составляли великолѣпное отдѣльное по мѣщеніе, нанятое для нея Губертомъ: молодой художникъ жаждалъ поскорѣе сблизиться со своей странной незнакомкой. Она отошла отъ окна, задернула на-глухо занавѣсь и стала ходить по комнатѣ. Но въ душѣ ея кипѣла страстная бура: пройдя нѣсколько шаговъ, она остановилась, и грудь ея поднималась такъ высоко, какъ будто всѣ слезы подступили у нея къ сердцу и не могутъ брызнутъ изъ глазъ цѣлительнымъ ручьемъ. Послышались легкіе шаги;— она притила дыханіе; кто-то постучался въ дверь.

— Господи, помоги мнѣ! вырвалось изъ ея губъ и, совершенно закутавшись вуалемъ, она отворила дверь.

— Съ добрымъ утромъ, очаровательная леди! сказалъ Губертъ, взявъ протянутую ему ручку и поднося къ губамъ съ почтительною нѣжностью, такъ высоко-цѣнною женщинами и такъ непротизимою, если она найдеть путь къ сердцу.

— Очаровательная? сказали вы?

Эти слова произнесла она тѣмъ-же тихимъ, музикальнымъ голосомъ, какимъ всегда говорила.

— Если ваше лицо соответствуетъ идеальной симетріи вашего стана и изяществу движений,—въ цѣлой Италіи не можетъ быть никого лучше васъ.

— Какъ новобрачная, сказала она съ напряженной веселостью, имѣю я право на вашъ поцѣлуй?

— Я давно и пламенно жду его, но ваш вуаль...

Она приподняла немного вуаль, и ея трепетные губы нежно прильнули к губамъ Губерта.

— Готовтесь к худшему! сказала она и откинула вуаль.

Губертъ не могъ произнести ни слова, и только глядѣть во все глаза, пораженный изумлениемъ, какъ громомъ: передъ нимъ, въ обаятельной красотѣ, несмотря на сверхъестественную блѣдность лица, стояла — Альзина Гардиндъ.

Первою мыслю опечнившагося наконецъ Губерта было — поскорѣе бѣжать, но одинъ взглядъ на блѣдную женщину измѣнилъ его намѣреніе.

— Альзина, сказъя онъ, усаживая ее: всей глубиною души моей я жалѣю васъ и чувствую себя недостойнымъ вашей страстной и безумной любви... Скажите мнѣ, что вы сдѣлали?

— Объясненій не нужно: такая любовь, какъ моя, безумная, отчаянная, рѣшительная, изобрѣтательна и хитра. Все, что происходило на пароходѣ, было ничто иное, какъ низкая интрига. Моя душа — безобразная развалина; бѣшеная страсть сдѣлала изъ меня презрительное существо. Ненавидьте меня, если хотите, — и вы должны меня ненавидѣть, — но я благословлю даже вашу ненависть. Теперь Богъ съ вами! Сумасшедшее мое желаніе удовлетворено: вы назвали меня женой, вы произнесли супружеские обѣты, вы дали мнѣ безстранный брачный подѣлъ и, хотя я не поклонилась на вашей груди, не слыхала отъ васъ отвѣтнаго слова любви, — я довольна... Богъ съ вами!

— Альзина, вы странная девушка!.. Не знай я васъ въ дѣствїи, я непремѣнно полюбилъ бы васъ... Но вы такъ блѣдны, что на васъ страшно посмотрѣть... Лягте и успокойтесь. Альзина опустилась на роскошную софу и припала головой къ мягкой малиновой подушкѣ. Губертъ взялъ книгу, пододвинулъ къ софѣ кресло и сталъ читать. Ея лицо приняло понемногу спокойное выраженіе, и она заснула. Губертъ закрылъ книгу и долго смотрѣлъ на спящую девушку. Столько печали и отчаянія было написано на ея лицѣ, что, при взглядѣ на него, невольно приходили на память слова Попе:

«Здѣсь возсѣдаетъ печаль, и вокругъ ея трона,

«Смерти подобны, молчанье и страшный покой пребываютъ».

Губертъ всталъ, тихо вышелъ изъ комнаты и неслышно затворилъ за собою дверь.

Каждый вечеръ онъ приходилъ читать что-нибудь Альзинѣ; или они предпринимали долгія прогулки и часто бродили въ мелкомъ кустарникѣ, при блескѣ полнаго мѣсяца. Однажды вечеромъ, они присутствовали при итальянскомъ обрученіи: они упивались очаровательными звуками музыки, упивались сладострастнымъ воздухомъ юга, и не отставали отъ общѣй бѣшеной пляски до самого поздняго часа. Когда они воротились домой, лицо Альзины сияло необыкновенной привлекательностью; во всемъ ея обращеніи было столько нѣжности, столько довѣрчивости... Губертъ просидѣлъ у нея до зари, и когда ушелъ, на сердце его легъ камень: онъ уже былъ супругомъ.

«Лишь благородный человѣкъ способенъ
«Носить въ душѣ печаль, какъ ангелы криле,
«Что бы парить горѣ и очищаться».

Такъ случилось и съ Губертомъ: крѣпко жалѣлъ онъ о минутахъ самозабвенія, но поклялся въ душѣ—посвятить женѣ всю свою заботливость и нѣжность.

Проходили недѣли, мѣсяцы... И только тогда, когда Губертъ увидалъ на постели Альзину, блѣдную какъ смерть, и подлѣ нея новорожденное дитя, только тогда сокрушительная дѣйствительность предстала передъ нимъ во всей наготѣ, а онъ зналъ, что не можетъ сказать съ Томисономъ:

«Но смертныхъ всѣхъ блаженныи тѣ, кого
•Счастливыя созвѣздія связываютъ
•Судьбою, сердцемъ, благами земными
•И жизнью»...

Губертъ наклонился и поцѣловалъ блѣдный, печальный лобъ своей жены, съ отеческою нѣжностью взялъ на руки и приложилъ къ сердцу невиннаго младенца, и на его рѣчи задрожала слеза...

ГЛАВА VII.

Женщина — импровизаторъ.

— Слышали вы о замѣчательномъ поэтическомъ дарованіи одной женщины, мистеръ Бертонъ? спрашивалъ Губерта одинъ изъ его друзей, нѣсколько дней послѣ прибытія художника изъ Италии.

— Не слыхалъ. Что такое?

— Ея импровизаціи великолѣпны. Сегодня вечеромъ она гово-

рить въ Окен-Голль, и, если вы хотите ее послушать, поторопитесь достать мѣсто.

— Что это за билеты, Губертъ? спросила Альзина.

— Билеты на нынѣшній вечеръ въ Окен-Голль.

— Зачѣмъ? послушать, какъ импровизируетъ эта дѣвушка?

— Да. Ты слышала о ней?

— Слышала — и не пойду.

Альзина была спокойна, но это спокойствіе было насилиственное, и она нетерпѣливо выжидала случая, чтобы уйтти въ свою комнату.

Губертъ отправился одинъ, и занялъ мѣсто у платформы. Не успѣть онъ порядкомъ усѣться, какъ Альзина, переодѣтая, тоже садилась въ кресло, почти напротивъ.

Въ ту же самую минуту занавѣсь быль поднять.

Въ женщинѣ, стоявшей передъ многочисленной толпою, не было ничего особенно-привлекательного и красиваго. Нѣжныи и чистыи голосомъ она просила назначить ей тему для стихотворенія.

Составили комитетъ и выбрали тему. Музика расположилась нѣсколько позади артистки и начала играть подъ сурдиной.

Скрестивъ руки и опустивъ голову, артистка словно вслушивалась въ какіе-то звуки, неуловимые для ея слушателей: это быль вдохновительный шопотъ духа. Но мысль выражалась въ каждой чертѣ лица артистки, и было видно, какъ въ ея воображеніи смягчалась и округлялась каждая линія возникавшихъ въ душѣ образовъ. Она стяла, будто не замѣчая присутствующихъ и витая въ области феирной красоты и величія, области, недоступной для смертныхъ.

Начала она тихо и съ остановками; потомъ ея образы и сравненія постепенно становились ярче и ярче, воображеніе разгоралось, — мысли смылѣе и смылѣе смынили одна другую и наконецъ, — выразительное ея чтеніе достигло страстнаго одушевленія. Вдохновенный восторгъ озарилъ ея лицо неземными лучами.

Полчаса говорила она безъ малѣйшей остановки, пока не кончила. Мгновеніе болѣзеннаго молчанія — и разразился громъ рукоплесканій.

Ей предложили другую тему. Мускулы ея смягчились и затронуты были другія душевныя струны: новая тема была вовсе неподходя на первую и не требовала особой напряженности мысли. Голосъ артистки звучалъ тише и переливы его замирали гдѣ-то вдали, все нѣжнѣе и нѣжнѣе. Тонко и неуловимо-летуче проносилось всякое ощущеніе, согрѣтое пламенемъ чистѣйшей любви. По волѣ артистки,

дрожала звукомъ каждой фибра и отвѣтно отзывалась ей каждая стру на сердца.

Но во всемъ собраний былъ человѣкъ, неподвижно прикованный къ своему мѣсту, безъ силъ, безъ жизни. Никто не зналъ его мысли, кроме одной особы, сидѣвшей напротивъ, съ такими раскаленными и сосредоточенными взорами, что—замѣтъ онъ—они растопили бы ему душу. Недаромъ Альзина слилась со всѣмъ его существомъ своимъ собственнымъ я, не даромъ столько лѣтъ изучала его, чтобы не понять,—какимъ ощущеніемъ переполнилась теперь его душа.

Артистка была Ида Смить!

И могло ли волненіе не овладѣть душою Губерта и не преклонить ее, обезсиленную, передъ Идою: она была единственною любимою имъ женщиной.

Воротившись домой, Альзина стала ходить по комнатѣ въ судорожномъ волненіи; но тщетно поджидала она супруга: онъ прошелъ прямо къ себѣ.

Подъ бременемъ бурныхъ ощущеній, поздно ночью Альзина винулась на постель, и на разсвѣтѣ заснула крѣпкихъ сномъ. Стукъ! послышалось за дверью, сначала тише, потомъ громче,—отвѣта не было,—дверь растворилась, и въ комнату вошелъ Губертъ; въ лицѣ его не было ни кровинки.

— Направь меня на путь истинный, о Господи! сказалъ онъ, подходя къ постели спавшей жены.

Альзина не просыпалась. Губертъ сѣлъ къ ея туалетному столику и — отъ нечего дѣлать — сталъ перебирать въ ящики разныя женскія бездѣлушки.

Его вниманіе было привлечено красивою корзиночкой странной формы.

Онъ взялъ ее въ руки, чтобы разсмотрѣть поближе: крышечка раскрылась и на днѣ корзиночки Губертъ увидалъ обложенные ватою часики.

Онъ выпустилъ ихъ съ лихорадочною дрожью: послѣдній разъ онъ видѣлъ эти часы, когда самъ уложилъ ихъ въ футлярчики, для передачи Идѣ Смить, тогда еще заключеницѣ.

— Какимъ образомъ моя жена можетъ быть замѣшана въ этомъ дѣлѣ? подумалъ онъ. Впрочемъ душа, склонная къ кознямъ, не остановится ни-передъ какими темными проступкомъ, если только онъ служить къ достижению цѣли. О, судя всеправедный! И это жизнь! И справедливо это? Постепенно заграждать въ своей душѣ доступъ

всему, что благородно и свято... А между тѣмъ она—мать моего малютки, и онъ вспѣтъ ко мнѣ, да просвѣтится душа его, да будетъ чиста и благородна.

Смутный стонъ заставилъ его взглянуть на жену: она смотрѣла куда-то вдалъ и не замѣчала его присутствія.

— Альзина!

Она вздрогнула и соскочила съ постели, потому что лѣгла, не раздѣвалась.

Орлиные ея глаза, въ одно мгновеніе, замѣтили часы въ рукахъ мужа, и она прыгнула, чтобы ихъ вырвать; но желѣзная рука Губерта приковала ее къ полу. Тогда Губертъ спросилъ ее.

— Скажи мнѣ, Альзина, какимъ путемъ попали тебѣ въ руки эти часы? И берегись, продолжалъ онъ съ непреклонною твердостью, берегись выпутаться въ отвѣтъ какимъ-нибудь презрительнымъ обманомъ.

— Конечно! гнѣвно прошипѣла Альзина. Эти характеристи-ческие шипящіе звуки принадлежали только ей одной, но Губертъ не слыхалъ ихъ уже нѣсколько лѣтъ.

— Когда ты будешь въ состояніи отвѣтить мнѣ на вопросъ хладнокровно и обстоятельно; я къ тебѣ пріду. И съ часами въ рукахъ, онъ вышелъ изъ комнаты.

Прошло нѣсколько минутъ, а Альзина все еще стояла неподвижно на томъ мѣстѣ, гдѣ такъ неожиданно оставилъ ее Губертъ; но въ искаженныхъ чертахъ ея лица можно было отчетливо и съ ужасомъ прочесть,—какія невыносимыя муки терзали ей душу.

— Губертъ Бертона, проговорила она наконецъ, дрожа отъ бѣшенства, теперь ты побѣженъ! Моей дьявольской хитрости, такъ великодушно приписанной мнѣ тобою-же,—далеко не конецъ. Тебя я не буду болѣе преслѣдоватъ: ты въ дѣтскомъ гнѣвѣ попралъ ногами страшнѣйшую любовь женщины, и теперь узнаешьъ, что сердце, способное любить, способно также и ненавидѣть; оно будетъ жалѣть и язвить смертельный змѣй и скорпиона.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Объясненіе.

Теперь мы должны перенести наше сцено изъ Англіи въ Америку и взглянуть еще разъ на Мерджа Монро и ея мать.

Полдневная закуска была только-что снята, когда мистрисс Монро, замѣтивъ смертную блѣдность своей дочери, быстро повернулась къ ней и сказала:

— Мерджи, дитя мое! ты очень блѣдна; ты много плачешь: эта тайная печаль заставить насъ скоро прибѣгнуть къ румянамъ.

— Охъ, матушка, матушка!

— Да что съ тобой? Скажи мнѣ.

— Эта жизнь, эта жестокая, ужасная жизнь.

— Ужасная!.. Да ты живешь нехуже королевы.

— Я лучше-бы хотѣла жить на хлѣбѣ и на водѣ, работой рукъ моихъ, только-бы тѣло и душа мои были чисты. Скажите: такую-ли вы жизнь вели, когда были дѣвочкой, или невѣны и добры?

Мистрисс Монро встала и ушла.

Когда она вернулась, на щекахъ ея были замѣтны слѣды жаркихъ слезъ.

— Какое твое первое и самое замѣтное желаніе, Мерджи?

— Когда я посыщала Англію, мнѣ понравились нравы и обычай народа гораздо болѣе здѣшнихъ. Тамъ я замѣтила больше врожденной скромности и достоинства, и меньше льстивости и болтовни. Мнѣ хотѣлось бы провести въ Англіи мирную и спокойную жизнь. О, душа моя изнываетъ по этому спокойствію: я его не знала никогда...

— Дай-то Богъ, чтобы ты не ошибалась. Мы пойдемъ въ Англію, при первой возможности.

Мерджи, въ иорыѣ радости, бросилась было въ объятія мистрисс, но та отклонила ее отъ себя, сказавъ:

— Прощай. Я не могу выносить этого на-ночь.

Въ эту-же ночь Мерджи Монро отложила въ сторону свое вечернее бархатное платье и надѣла чистую бѣлую блузу, также чуждую пятенъ, какъ и душа Мерджи, не смотря на жизнь, выпавшую на долю бѣдной дѣвушкѣ. Потомъ она стала на колѣни за занавѣсками своей кровати и начала молиться: съ каждымъ словомъ горячей молитвы, по щекамъ ея катились жемчужные слезы благодарности.

На слѣдующее утро мистрисс Монро объявила дочери о своемъ намѣреніи—немедленно привести въ порядокъ всѣ дѣла и тотчасъ же возвратиться въ Англію.

Было ясное, тихое утро, когда добрый корабль покинулъ при-

брежья нового света для опоясанного скалами берега старой Англии, унося на себя мистрисс Монро и ее красавицу — дочь.

Переездъ былъ очень покоенъ: вѣтеръ дулъ попутный, погода стояла, — какъ по заказу; но здоровье мистрисс Монро становилось хуже и хуже, и прежде-чѣмъ показались утесы старого света, она слегла въ постель.

Дочь ухаживала за нею, какъ можетъ ухаживать только дочь: всегда при ней, всегда озабоченная малѣйшими нуждами больной, всегда готовая исполнять малѣйшія ея желанія.

Корабль вошелъ въ гавань, и мистрисс Монро съ дочерью поселились въ добромъ старомъ городѣ Йоркѣ.

Въ день ихъ прибытія, вечеромъ, мистеръ Гардиндже сидѣлъ въ своемъ великолѣпномъ салонѣ и читалъ газету. Вдругъ его глаза остановились на одной статьѣ; онъ жадно пробѣжалъ ее, поблѣдѣлъ, бросилъ газету подъ столъ, опрокинулся въ кресло и вскрикнулъ:

— Дочь моя — убійца! невозможно! невозможно! Какую новую кару сулить инѣ гнѣвъ небесный?

И мистеръ Гардиндже, постарѣвшій на десять лѣтъ въ нѣсколько минутъ душевной пытки, крѣпко скжаль лобъ руками и громко простоналъ:

— Расплата за иною — я отплачую!

Онъ совсѣмъ потерялъ голову и вскочилъ.

Откуда эта голосъ? Двадцать лѣтъ не слыхалъ его Гардиндже, а онъ — тѣль-же самыи. Холодный потъ выступилъ на лбу Гардинджа: онъ взялъ лампу и осмотрѣлъ всю комнату, но не напечь ничего.

— Какъ вы себя сегодня чувствуете, матушка, спрашивала на другой день Мэри Монро, освѣжая намоченнымъ полотенцемъ лобъ больной.

— Сегодня я чувствую себя гораздо покойнѣе; переездъ былъ инѣ не по силамъ. А какія подробности сообщаютъ объ этомъ убійствѣ.

— „Сейчасъ прочту.“

„Хладнокровное убійство“. Вчера вечеромъ, когда знаменитая живущая импровизаторъ очаровывала, по обыкновенію, тысячи слушателей своимъ вдохновеннымъ краснорѣчіемъ, къ ней подошла одна изъ извѣстныхъ въ хорошемъ городскомъ кругу леди, дотолѣ безупречнаго поведенія, хладнокровно вынула пистолетъ и выстрѣ-

рила въ артистку. Съ чувствами глубочайшаго сожалѣнія и съ под-
нимъ сочувствіемъ къ ея супругу и отцу, мы должны объявить ея
имя. Мистеръ Гардинджъ, ея отецъ,—одинъ изъ самыхъ влиятель-
ныхъ и высокочтимыхъ согражданъ. Губертъ Бертонъ, ея супругъ—
высоко-даровитый художникъ, снискавшій всеобщее удивленіе и
уваженіе—не только своимъ дарованіемъ, но и строгою нравствен-
ностью, и чисто-христіанской жизнью. Артистка еще жива, и есть
слабая надежда на ея выздоровленіе.

— Матушка! вамъ дурно... Неужели въась такъ встревожила эта
статья?

— Принеси мнѣ все, что нужно для письма.

— Вамъ нельзя писать: лихорадка возвратится.

— Я должна.

Были написаны три письма и посланы по тремъ разнымъ на-
правленіямъ. Цѣлый день больная тоскливо металась на подушкѣ:
лихорадка быстро усиливалась.

Уже стемнѣло, когда зазвенѣлъ дверной колокольчикъ и доло-
жили о пріѣздѣ мистера Гардинжа. Блѣдный, растерянный, онъ
подошелъ къ постели больной, взялъ ее за руку и сказалъ.

— Сегодня утромъ я получилъ отъ васъ приглашительное письмо
на нынѣшній вечеръ. Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ я не обратилъ бы на
него ни малѣйшаго вниманія; но горе преклоняетъ долу самыхъ вы-
сокомѣрныхъ людей, и они становятся слабѣе и проще ребенка.
Добрый вечеръ, миссъ Монро!

Онъ взялъ руку молодой дѣвушки и долго жаль ее молча въ
своихъ рукахъ.

Вскорѣ вошли мистриссъ Смитъ и отецъ съ матерью Губерта.
Полчаса больная тоскливо ждала кого то, и наконецъ вошелъ Гу-
бертъ съ женой, сопровождаемой тюремной стражей.

По просьбѣ больной, сторожа удалились, и она сказала:

— Дай мнѣ успокоятельного питья, Мэри, и вынь изъ
верхняго ящика маленький ларчикъ.

Она отперла ларчикъ и стала винимать изъ него разные пред-
меты; присутствовавшіе подумали, что она не въполномъ умѣ.

— Что все это значить? спросилъ мистеръ Гардинджъ у Гу-
берта, поддерживавшаго свою жену, блѣдную, какъ трутъ.

— Мнѣ приходится сказать нѣсколько словъ, начала боль-
ная; но они относятся до всѣхъ, кто здѣсь: на моей душѣ лежитъ
тяжелое, убийственное бремя, и я не могу умереть спокойно, не испо-

въдавать мои тайны. Мистер Гардинджъ, я предложу вамъ вопросъ: видали-ли вы когданибудь оригинал этой миниатюры?

Онъ всталъ и взялъ миниатюру больная зорко слѣдила за каждымъ выражениемъ его лица. Долго и грустно глядѣлъ онъ на портретъ, потомъ сѣлъ, не выпуская его изъ рукъ, припалъ къ нему головою, зарыдалъ, какъ ребенокъ, и страстно цѣлуя портретъ, проговорилъ:

— Очень хорошо, слишкомъ хорошо знаю я его: это—Эдиэль Эльпинъ!.. Нѣть ни одного пятна на ея чистой, невинно-оскорбленной душѣ, а моя душа мрачна и заклеймена позоромъ.

Больная простонала.

— Гомезъ, подойдите ближе.

Онъ подошелъ, дрожа.

— Похожа эта миниатюра на меня?

Мистеръ Гардинджъ посмотрѣлъ на нее въ ужасъ и одышкой; потомъ упалъ на колѣни передъ постелью больной, взялъ ее за руку и вскрикнулъ.

— О, Боже! Это ты, это ты, Эдиэль! И я тебя не узналъ; хотя и странны бывали въ твоемъ присутствіи мои ощущенія...

— Провѣрьте ваши чувства: мнѣ остается вамъ сказать больше, чѣмъ-бы я желала. Я—дѣйствительно Эдиэль Эльпинъ; но вотъ вамъ еще портретъ.

— Моя дочь, моя Клара! Эдиэль, что ты про нее знаешь? Говори скорѣй!

— Успокойтесь и узнаете. Въ ту ночь, въ ту страшную ночь,— вы ее помните, о! вы никогда не забудете ея,—въ ту ночь, когда я поклялась мстить, отлетѣлъ отъ меня мой ангелъ-хранитель, и окружили меня проклятые демоны. Съ этой самой ночи, я какъ собака слѣдила за вами, и когда вашей милой маленькой Кларѣ исполнилось три года, украла ее у нянки.

Остановившись моя месть только на этомъ, я, можетъ быть, знала-бы еще—что такое спокойствіе на землѣ и вѣчное блаженство на небѣ; но злой демонъ шепталъ мнѣ: „Сгуби ее, какъ ея отецъ сгубилъ тебя!” Эта мысль сводила меня съ ума и наполняла мнѣ душу адскимъ наслажденіемъ. И вотъ, ваша дочь была воспитана во всѣхъ козняхъ, во всѣхъ интригахъ, во всѣхъ плутняхъ, обманахъ и въ изученіи всѣхъ наглыхъ приманокъ, съизмала и постепенно открывавшихъ несчастнымъ, обреченнымъ на раннюю погибель. Но никакое воспитаніе въ мірѣ не могло извратить врожденной ей граціи и ча-

рующаго обаянія ея свѣтлой души. Она вращалась въ бездѣлъ нищеты и позора, но, среди тлетворнаго дыханія разврата и порока, душа ея осталась непорочною, сердце незапятнаннымъ, и я отчаялась въ моемъ намѣреніи. Клару поддерживала рука свыше: небо страждитъ своихъ чадъ. Тогда я рѣшилась сдѣлать изъ вашей дочери орудіе для достиженія иной цѣли. Я привезла ее въ Лондонъ—и ужъ вѣрю никто болѣе меня не наслаждался удовлетвореніемъ местью, когда вы, при инѣ, преклонялись передъ красотою Клары! Она вѣсъ также полюбила, и я это знала. Свадьба ваша была назначена. О, какъ долго дожидалась я вѣсъ нѣкогда: настала очередь подождать и вами!..

Но желанія мои были уже пресыщены, и я шепнула вамъ наухо: Эдисъ Эльпинъ еще жива!

Возьмите же отъ меня вашу Клару, прижмите къ сердцу ваше первородное дитя. Мэрджи, теперь вы знаете, что я вамъ не мать: вѣсъ зовутъ Кларой, и вотъ вашъ отецъ—ступайте къ нему.

Клара Гардинджея встала, дрожа, но невѣдомое сладостное чувство проникло ей въ сердце и озарило лицо.

Мистеръ Гардинджея также всталъ и прижалъ къ груди свою дочь.

Потомъ Клара стала на колѣни передъ своей бѣдной, преступной сестрой, и слезы ихъ слились.

Какъ были онъ похожи и какъ не сходны одна съ другою: Клара смотрѣла простодушнымъ ребенкомъ—такъ ясень былъ ея взглядъ, такъ невинно выраженіе лица; Алзина казалась нѣсколькими годами старше сестры: глубокія борозды провела необузданная страсть по ея прокрасному лицу. Черезъ нѣсколько времени ихъ вниманіе сосредоточилось на больной. Она говорила:

— Получили-вы все свѣдѣнія, какія желали?

— Кажется, все, отвѣтилъ мистеръ Гардинджея.

Тѣнь пробѣжала по лицу больной, но она сказала:

— Тѣмъ не менѣе, я сообщу вамъ еще одно. Не было-ли у васъ еще ребенка, кромѣ двухъ дочерей?

— Эдисъ, вы знаете...

И онъ сѣлъ—не могъ отъ волненія устоять на ногахъ.

— У меня былъ сынъ, продолжала Эдисъ Эльпинъ, одаренный всѣми качествами благородной великой души. Я предложила одной новобрачной четѣ—взять его на свое попеченіе, съ клятвеннымъ обязательствомъ—хранить въ глубокой тайнѣ, пока я сама не

пожелаю, что онъ—не собственное ихъ дитя. Оба супруга здѣсь на лицо—мистеръ и мистрисъ Бертонъ, а воспитанный ими Губертъ—вашъ родной сынъ.

— Мозгъ мой горить; чувства мои обманываютъ меня!.. Мистрисъ Бертонъ, развѣ Губертъ—не ваше дитя?

— Нѣтъ. Эдисъ сказала правду; и мы призваны сюда, чтобы засвидѣтельствовать ея слова.

Мистеръ Гардинджъ въ раскаяніи склонилъ голову на плечо сына и долго не поднималъ ее, до тѣхъ поръ, пока не замѣтили, что съ Альзиной сдѣлалось дурно.

Поздно ночью, Альзина воротилась въ тюрьму вмѣстѣ съ своимъ братомъ мужемъ.

Войдя въ тюрьму она сказала:

— „Сядь сюда на минуту, братъ мой! Я оскорбила тебя; но страшное возмездіе ожидаетъ того, кто намѣренъ пойдеть стезею зла. Злые души похожи на взболтанное море; не можетъ оно успокоиться и выкидываетъ со дна тину и грязь; и Господь сказалъ: лукавый нѣть покоя. Я никогда не могла понять,—какой злобный гений отѣрывалъ мнѣ всѣ твои намѣренія? Ты любилъ Иду такъ глубоко и искренно, какъ глубока и искрення твоя природа. Но какому невѣдомому предопредѣленію инымъ дается власть читать чужія мысли? Этотъ даръ долженъ быть выпасть на долю однихъ добрыхъ и правдивыхъ... Переодѣвшись въ мужское платье, похожее на твое, подражая твоему голосу и приемамъ, въ парикѣ и наклейныхъ усахъ, я вошла въ тюрьму, выдала себя за тебя, дала Идѣ хлороформа, и—сильная, какъ Самсонъ,—унесла ее, сонную на рукахъ.

Потомъ я взяла у нея посланные тобою часы, а ее заключила въ верхней комнатѣ отцовского дома. Она никогда и не узнала,—гдѣ была и кто ее похитилъ?

— Въ' ночь передъ твоимъ отѣздомъ въ Италию, я посадила ее въ свой экипажъ, отвезла ее, окольными путями, на нѣсколько миль отъ Лондона и высадила невдалекъ отъ какого-то дома, вручивъ ей большую сумму денегъ.

Пог҃дущій мои дѣйствія ты знаешь. Я не буду просить у тебя прощенія до тѣхъ поръ, пока не узнаю, что само небо простило меня. Если Ида выздоровѣетъ,—и обѣ этомъ съ каждымъ вздохомъ будетъ слита моя молитва,—если она выздоровѣетъ, будьте счастливы: вы оба заслужили счастье. Теперь—прощай!..

И да хранять святые ангелы все пути твои!..

На другое утро, и преступница-мать, и ея дитя были найдены мертвыми: она отравила ребенка и отравилась сама; душа ея, захлестнутая убийством и самоубийством, променяла здешнюю жизнь на иную,—до нее-же не достигает взоръ смертнаго...

Будь милосердъ къ ней, Всеблагай Отче!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Гомезъ и Эдиев.—Губертъ и Ида.

Кончивъ свою исповѣдь, Эдиев опрокинулась на подушку,—и спокойствіе, чуждое ей столько мрачныхъ и тяжелыхъ лѣтъ, пало ей на душу живительной росою.

Мистеръ Гардинджъ все еще сидѣлъ подлѣ больной, и рядомъ съ нимъ Клара, ребячески довѣрчиво склонивши голову на грудь отца; оба они прислушивались къ тихому дыханію заснувшей Эдиев.

Проснувшись, она тихо повернула голову на подушкѣ.

Мистеръ Гардинджъ все еще сидѣлъ возлѣ Эдиев; рука ея лежала въ его рукѣ.

Румянецъ удовольствія простирился на щекахъ больной, и взоры ея остановились на Гардинджѣ съ довѣрчивой кротостью, столько разъ чаровавшей его въ дни дѣвичества Эдиев.

— Лучше вамъ, матушка? спросила Клара, подходя къ больной. Позвольте, я поправлю вамъ подушку?.. Ну-вотъ, продолжала она, теперь вашей головѣ будешь покойнѣе.

— Благодарю васъ, Мерджи! тихо сказала больная. Гомезъ Гардинджъ, вы еще здѣсь?

— Здѣсь. Я сидѣлъ подлѣ васъ, пока вы спали. При этихъ словахъ, Эдиев почувствовала легкое пожатіе руки, и улыбка мелькнула на ея губахъ.

Гомезъ глядѣлъ на ея блѣдное лицо, и совѣсть громко упрекала его въ оскорблениіи, нанесенномъ имъ Эдиев.—Но, можетъ быть, еще не поздно загладить былой проступокъ? подумалъ онъ, и нагнулся такъ, что его губы почти касались щеки больной женщины.

— Эдиев, прошепталъ онъ, можете вы выслушать на-ночь то, что я вамъ скажу? Эдиев, улыбнулась въ знакъ согласія и онъ продолжалъ:—Этотъ проступокъ моей молодости—самый постыдный проступокъ: лучше бы я обагрилъ себѣ руки въ крови близ-

няго. Охъ, страшно шутить съ любовью, этой свѣтлѣйшею частицею души, и плачевны послѣдствія этой шутки. Но, Эдиѣв, я вѣсъ любилъ болѣе, чѣмъ могъ любить мою жену, несмотря на всѣ ея достоинства; я поступилъ съ ней несправедливо: отдалъ ей руку и не отдалъ сѣрдца... Меня остановила гордость, не благородная гордость, долженствовавшая руководить моими поступками, а пошлый страхъ ложнаго стыда, боязнь—ввести въ свой домъ бѣдную, необразованную дѣвушку. Но прошлаго не вернеть самъ ангель примиренія; а дѣйствовать можно только въ настоящемъ. Я всѣ еще люблю вѣсъ; но не ожидайте отъ меня прежнихъ страстныхъ возгласовъ и порывовъ—я просто вѣсъ спрашиваю; хотите вы выйтія за меня замужъ, и хоть сейчасъ, если угодно?

Эдиѣв, во все времена его монолога, лежала съ закрытыми глазами, но открыла ихъ, когда онъ кончилъ, и устремила пытливый взоръ на его лицо; однако же произнесла ни слова.

— „Вы слышали меня, Эдиѣв?—спросилъ онъ, помолчавъ. Вы поняли мои слова?

— Слышала и поняла.—

— И вѣшь отвѣтъ?

Эдиѣв приподнялась на постели и положила ему руку на плечо.

— Вы дѣлаете мнѣ это предложеніе, Гомезъ, только для того, чтобы загладить прежнее ваше поведеніе?

— Конечно, это одна изъ причинъ; но,—на сколько я могу прозрѣвать въ будущее,—насъ ожидаютъ впереди любовь, спокойствіе и счастіе.

— И вы дѣйствительно меня еще любите?

— Да, Эдиѣв, какъ и всегда.

— И докажете вашу любовь, замѣтила она „какъ и...“

— Нѣть, Эдиѣв, нѣть! перебилъ ее Гомезъ. Да будетъ небо моимъ свидѣтелемъ и судіе!

— Хорошо, Гомезъ: ровно черезъ годъ, если ваши чувства не измѣнятся, а у меня вывѣтятся изъ сердца накипѣвшій ядъ мести, я прійму ваше предложеніе.

— Да благословитъ васъ Богъ, Эдиѣв, сказалъ Гомезъ, наклонился и поцѣловалъ ея блѣдный лобъ.

— Теперь уходите, сказала Эдиѣв: мнѣ нужно остаться наединѣ съ Кларой. Прощайте!

Гомезъ Гардинджъ всталъ, поднесъ къ губамъ руку Эдиѣв, об-

пяль и поцеловала Клару, и съ сердцемъ, полнымъ словами любви, носпѣшио вышелъ изъ комнаты.

Медленно, но неослабно возвращались къ Эдиен прежнее ея здоровье и силы. Черезъ мѣсяцъ она уже могла выходить изъ комнаты, подъ-руку съ Кларой, и вдыхать въ себя свѣжий вѣтерокъ, долетавшій съ зеленыхъ луговъ Йоркъ-Шэйра.

Почти въ то-же время Ида Смитъ сидѣла въ маленькомъ садикѣ передъ коттеджемъ*), купленнымъ ѿ для себя и для матери въ одномъ изъ лондонскихъ предмѣстій.

Коттеджъ стоялъ на живописномъ мѣстѣ; стѣны его были оплетены вьющимися растеніями, и отъ ихъ цвѣтовъ разливался въ воздухѣ тонкій запахъ. Пчелы, жужжа, перелетали съ цвѣтка на цвѣтокъ; птицы щебетали въ густой листвѣ деревьевъ, и серебромъ звенѣла трель взвившагося въ поднебесье жаворонка...

Уходить за коттеджемъ былъ порученъ мистриссъ Смитъ, а также и присмотръ по хозяйству: это доставляло ей не малое удовольствіе и поддерживало ея здоровье.

Ида думала о прошломъ и была печальна: съ самого дѣтства, какая-то грустная тѣнь повсюду ложилась широкою дорогою въ ея воспоминаніяхъ. Она услыхала приближавшіеся шаги, и щеки ея зарумянились: Ида знала—кто идетъ! И не ошиблась: Губертъ Бертонъ пришелъ навѣстить ее на новосельѣ. Она протянула ему руку, онъ взялъ ее, и первыми его словами были: мы еще увидимся съ вами, Ида! слова, сказанныя имъ когда-то при прощаньи съ маленькой уличной дѣвочкой.

— О, какъ я рада васъ видѣть! крикнула Ида, и румянецъ то вспыхивалъ, то потухалъ на ея щекахъ.

Такъ рада, такъ рада!..

— Я сказалъ вамъ, что—мы еще увидимся.

— Да! И въ сердцѣ моемъ отозвались эти слова: я почувствовалъ, что настанетъ наконецъ время нашего свиданія.

— И вотъ я пришелъ, и долженъ о многомъ поговорить съ вами...

— А я съ вами.

Губертъ подвелъ ее къ низенькой дерновой скамьѣ, гдѣ она сидѣла до его прихода, сѣлъ съ ней рядомъ и началъ.

— „Странно проходила моя жизнь съ тѣхъ поръ, какъ мы раз-

*) Коттеджъ (cottage) англичане называютъ всякий обывательскій домъ, занятый только хозяйственной семьей.

стались съ вами, Ида! Два раза мѣнялъ я берега Англіи на чужезем-
ные прибрежья. Голубое небо Италии влекло къ себѣ чарующей си-
лой бѣднаго художника; но въ моихъ мечтахъ я никогда не разлу-
чался съ вами. Моя кисть, накладывая на полотно какой-нибудь
женской обличье, невольно вводила въ него одну изъ чертъ вашего
милаго лица. Вы были моей отроческой любовью, моей юношеской
грезой. Ида, маленькая уличная дѣвочка, была постоянной моей мы-
слю днемъ, постояннымъ видѣніемъ ночью. Отроческая моя любовь
крайна и росла вмѣстѣ съ моимъ ростомъ и силой; и наконецъ вашъ
образъ слился съ каждою моей мыслью. Я возвратился въ Англію и
увидаль васъ... но я васъ не презрѣлъ: я зналъ, что вашъ просту-
покъ былъ совершенъ подъ неотразимымъ вліяніемъ природнаго по-
бужденія дочерней любви. Вдругъ вы исчезли, не оставивъ по себѣ
ни одного слѣда... Я снова поѣхалъ въ Италию...

— И забыли про свою любовь къ бѣдной дѣвочкѣ! перебила со
вздохомъ Ида.

— О, нѣтъ! возразилъ Губертъ: моя любовь къ вамъ ни-
когда не остывала. Жениясь на Альзинѣ Гардинджѣ, я не зналъ,
что женюсь *на неї*, и женился не по любви, а изъ сожалѣнія къ
бѣдной, угнетенной женщинѣ: моей женитьбой я думалъ спасти ее
отъ человѣка, лишенного сердца и всѣхъ человѣческихъ чувствъ.
Я вовсе не считалъ этотъ бракъ обязательнымъ; но увы! не всегда
мы можемъ владѣть собою. Въ одну неосторожную минуту Альзина
сдѣлалась моей законной женой и матерью моего сына, ребенка, при-
несенного ею въ жертву неукротимымъ страстиамъ. Она самовольно
кинула этотъ міръ, и послала свою душу во срѣтеніе съ Создателемъ и
судіи... Да умилосердится онъ надъ нею!“

— Аминь! отвѣчу я на эти слова, сказала Ида.—Хотя она
искала моей жизни, а я ничѣмъ не оскорбила ее: но ото всего серд-
ца прощаю ей и повторяю вашу молитву: „Да смируется Господь
надъ ея душою!“

— И вы, Ида, многое испытали съ тѣхъ поръ, какъ я встрѣ-
тилъ васъ съ вашимъ узелкомъ.

— Правда! отвѣтила она съ легкимъ оттѣнкомъ гибва въ го-
лосѣ.—Обитательница тюрьмы—и предметъ восторженного удивле-
нія нѣсколько тысячи слушателей!

— Я давно говорилъ вамъ, Ида, что въ душѣ вашей не про-
снулся еще геній. Хотя я былъ еще мальчикомъ, но уже чувствовалъ,

что вы рождены для чего-то высшаго, — не для черной работы... Однако, гдѣ ваша матушка? Я чуть-было не позабылъ про нее...

— Она въ коттеджѣ — весела и счастлива. Благодаря всевышнему, бѣдность бѣжала отъ насъ и вмѣсто нея поселилось скромное довольство...

— Что за благородное, что за золотое сердце у васъ, Ида!

Было за- полночь, когда они вошли въ гостиную маленькаго чистаго коттеджа.

Въ ту-же ночь, у садовой калитки коттеджа, стоялъ Губертъ, обвивъ рукою стройный станъ Иды; голова молодой дѣвушки поклонилась на его плечѣ.

— Ида! сказалъ онъ: можетъ-ли Губертъ назвать это трепетное сердечко своимъ, когда пройдетъ пора печальныхъ воспоминаній?

Ида припала къ нему на грудь головою и прошептала: „оно твоё, Губертъ, моя первая и единственная любовь!

Онъ крѣпко прижалъ ее къ груди, горячо поцѣловавъ и удалился быстрыми шагами.

Губертъ былъ счастливъ, гораздо счастливѣе, чѣмъ нѣсколько лѣтъ назадъ а Ида — о! какъ была счастлива Ида: вполнѣ и на яву осуществлялась ея дѣтская грѣза.

Черезъ одиннадцать мѣсяцевъ, Губертъ и Ида стояли у брачнаго алтаря. Это былъ одинъ изъ тѣхъ союзовъ, гдѣ присущими свидѣтелемъ бываютъ сами ангелы: *созз сердецъ и рукъ*. Гомезъ Гардинджъ и Эдиэль Эльпинъ были также на бракосочетанії.

Сладостно было для извращенной горемъ души Эдиэль чувство удовлетворенной мести; но еще сладостнѣе было право на прощеніе.

Время шло, и Ида сдѣлалась матерью: кудрявый ребенокъ, веселившій весь домъ своей бѣготней и рѣзвыми прыжками, былъ единственнымъ плодомъ брака Губерта съ Идой.

Гомезъ и Эдиэль были счастливы. Во многомъ могли они упрекнуть другъ-друга; но мрачныя тучи печали разсыпались, и ясное солнце счастія и довольства освѣтило склонъ ихъ жизненной стези.

Клаудия Гардинджъ вскорѣ простилась со своимъ одинокимъ дѣвичествомъ и, черезъ нѣсколько лѣтъ, поддюжныи розопѣвыхъ малютокъ украшали домъ ея и ея мужа.

ДОЧЬ МИССИОНЕРА?



ДОЧЬ МИССИОННЕРА.

(Рассказъ Альфреда Котса).

ГЛАВА I.

Похищение.

Было ясное, восхитительное утро 17** года, когда добрый корабль „Морская Клѣтка“ отошелъ, при попутномъ береговомъ вѣтеркѣ, отъ береговъ Старой-Англіи, и каждый морякъ говорилъ не безъ увѣренности, что перѣѣздъ въ Америку будетъ очень хорошъ. На корабль было мало пассажировъ, и въ числѣ ихъ былъ почтенный старикъ съ дочерью, хорошенъкою, голубоглазою девушкою, лѣтъ девятнадцати. Старикъ много лѣтъ прожилъ въ графствѣ Дерби и считался однимъ изъ тогдашнихъ лучшихъ пасторовъ англиканской церкви.

Онъ былъ вдовцемъ: жена его умерла нѣсколько лѣтъ передъ началомъ нашего разсказа. Это событие до того поразило ему душу, что онъ часто не могъ исполнять своихъ приходскихъ обязанностей. Поэтому онъ рѣшился покинуть мѣста, гдѣ всякая бездѣлица напоминала ему утраченную подругу, и, вмѣстѣ съ дочерью, посвятить остатокъ своихъ дней на евангельскую проповѣдь обитателямъ дальнихъ лѣсовъ Америки.

„Морская Клѣтка“ благополучно прибыла въ Новый Светъ, и мистеръ Уилльямъ съ дочерью поселились на берегахъ Ниагары. Пасковое и прямое обращеніе пастора вскорѣ пріобрѣло ему многихъ друзей между сосѣдними племенами, и они слушали поученія его го-

раздо внимательнѣе, чѣмъ можно было ожидать отъ уроженцевъ лѣсовъ и степей.

Между другими племенами, просвѣщамыми пасторомъ, свѣтомъ истинной вѣры, было племя Чокуфовъ. Вождь этого племени, человѣкъ съ сильными страстью и жестокосердый, вѣль непрерывную борьбу съ соцѣдами, и не признавалъ ничего, кроме своего свирѣпаго произвола.

Напрасно усиливался добрый миссіонеръ доказывать ему, что убѣство ближняго не оправдывается ничѣмъ предъ очами Великаго Духа, и что благосклонность его снискивается милосердіемъ, а не кровопролитіемъ: вождь выслушивалъ все до конца, вставалъ съ злобными хохотомъ и уходилъ.

Однажды, во время ихъ бесѣды, въ комнату вошла дочь миллиона. Едва краснокожій взглянула на дѣвушку, имъ овладѣло странное волненіе. Видаль онъ много блѣднолицыхъ женщинъ; но не одна не поразила его въ такой степени: онъ мгновенно созналъ, что на свѣтѣ не можетъ быть прелестнѣй этой дѣвушки, и задумалъ, во что бы то ни стало, овладѣть ею.

Въ этотъ день онъ возвратился въ свой вигвамъ *) съ мрачными мыслями, терзавшими ему душу. Красавица Елара Уильямсъ оставила въ его сердцѣ изгладимое впечатлѣніе.

Но какимъ путемъ могъ онъ овладѣть Еларой? Не было никакой надежды, чтобы она согласилась выйти за него за-мужъ, сдѣлаться женой человѣка, разорившаго столько селеній и безжалостно умертвившаго падѣнниковъ. Притомъ-же, развѣ онъ не былъ индійцемъ? А дочери „блѣдныхъ лицъ“ рѣдко сочетались бракомъ съ дѣтьми лѣсовъ.

Съ этого дня, онъ сдѣлался постояннымъ посѣтителемъ мистера Уильямса, подъ предлогомъ желанія обратиться въ протестантскій законъ, но въ самомъ дѣлѣ только для того, чтобы быть ближе къ Еларѣ.

Прошло нѣсколько времени въ тщетныхъ стараніяхъ съ его стороны—заслужить хотя бы одну улыбку красивой дѣвушки, и, понявъ, что даромъ теряетъ время, онъ рѣшился овладѣть ею силою.

Разъ ночью, окруженный въ свою вигвамъ главными старшинами племени, онъ объявилъ имъ о своемъ намѣреніи:

— Когда мѣсяцъ покинетъ небеса“ сказалъ онъ, „и звѣзды

*) Индійская хижина.

померкнуть—надь степью, я войду въ домъ блѣднолицой и унесу ее въ свой вигвамъ.

— Обдумай хорошенько, Ганджера, что ты предпринялъ: у блѣднаго лица много друзей въ сосѣднихъ племенахъ, замѣтилъ одинъ изъ старшинъ, высокий, плечистый индіецъ.

— „Это что еще? спросилъ вождь. „Неужели Чокуфы побоятся встрѣчи съ тѣми, кто за-одно съ бѣлымъ человѣкомъ?“

— Чокуфы ничего не боятся! отвѣтилъ старшина, оскорбленный насмѣшившимъ голосомъ Ганджеры; но они отрываются тиагоукъ *) за свою землю, а не за женщинъ.

— „Если у тебя бѣлое сердце, избавь меня отъ твоего совета и участія: я не нуждаюсь въ помощи труса!“

— Ганджера, возразилъ индіецъ, поднимаясь во весь свой ростъ, ты — вождь моего племени, и я обязанъ тебѣ повиновеніемъ; но — произнеси эти слова другой — мой томагоукъ раскроилъ бы ему черепъ или моя стрѣла пронзила бы ему сердце. Когда раздавался набатъ и наши молодые воины шли на войну, я всегда былъ съ ними, и всегда впереди. Я внесъ въ мой вигвамъ — много пучковъ вражьихъ волосъ, и не заслуживаю того названія, что ты мнѣ дашь...

— Крели! сказалъ вождь, подходя къ старшинѣ; я изгнанъ словомъ — прости меня. Ты сказалъ правду, а я оскорбилъ тебя несправедливо. При этихъ словахъ, Ганджера протянулъ руку, и Крели пожалъ ее горячо.

— Хорошо, сказалъ онъ: когда тебѣ нужна моя помощь, я всегда готовъ.

— Ганджера, замѣтилъ другой старшина, не будетъ знать покоя, пока блѣднолицая не будетъ его женой...

— Но все равно: настанетъ часъ, желаніе Ганджеры будетъ мнѣ приказаниемъ, перебить Крели.

— Благодарю, Крели, сказалъ Ганджера. Теперь оставьте меня одного.

Крели и прочие старшины разошлись, а Ганджера кинулся на жесткое ложе изъ сухой травы, настланное въ одномъ изъ угловъ вигвама и крѣпко задумался.

Несколько времени онъ беспокойно ворочался на своемъ ложѣ и силился заснуть, но напрасно призывалъ благосклоннаго бога сна: душу его волновали и жгли порочные мысли.

*) Топоръ, каменный, или изъ тѣжелаго дерева.

Чувствуя, что все попытки заснуть тщетны, Ганджера всталъ, отворилъ дверь вигвама и поглядѣлъ кругомъ. Высоко стоялъ на небѣ мѣсяцъ, и при яркихъ его лучахъ все предметы были видны, какъ днемъ, но его свѣтъ былъ мягче и скромнѣе солнечнаго. Царившая вокругъ тишина нарушилась крикомъ ночныхъ птицъ, да далекимъ гуломъ мощной Ніагары: вѣчно стремится она съ крутизны, съ вѣчнымъ, неукротимымъ бѣшенствомъ. Ганджера набросилъ на плеча тигровую шкуру и вышелъ изъ вигвама; холодный ночной воздухъ освѣшилъ ему горячія щеки и воспаленный мозгъ. Но въ его мысляхъ опять мелькнулъ образъ миссионерской дочери, и вся природа была позабыта, и въ душѣ опять поднялся бурный вихорь страсти...

— „Къ чему мнѣ откладывать“, шепталъ онъ про себя, глядя на небо, „къ чему мнѣ дожидаться, пока мѣсяцъ скатится съ небосклона и звѣзды задернутся туманнымъ пологомъ? Мнѣ не знать покоя до того мгновенія, когда эти руки прижмутъ „блѣлое лицо“ къ этому сердцу. Зачѣмъ-же принесли ее сюда мощная воды, если не затѣмъ, чтобы она вошла женой въ вигвамъ чокуфскаго вождя? Нѣть, никогда этого не будетъ“, продолжалъ онъ: ни одной улыбки не видаль отъ нея могущественный Ганджера, ни одного обѣтнаго взгляда: холодно ея лицо; да эти холодные взгляды не морозить кровь, а жгутъ мнѣ мозгъ и сушать источники сердца. Она должна раздѣлить вигвамъ, и, если не полюбитъ меня, узнаетъ вполнѣ, что такое месть краснокожаго!“

Онъ пошелъ вдоль берега и вышелъ на небольшую площадку, вырубленную недавно въ густомъ кустарнике и мелколѣсѣ; тогда онъ свернулъ въ сторону и, пройдя шаговъ сто отъ потока, остановился передъ бревенчатымъ домомъ обѣ одномъ жильѣ.

Домъ принадлежалъ мистеру Уилльямсу и его дочери. Ганджера посмотрѣлъ на окна; но въ нихъ не было свѣта; обитатели давно уже покончились глубокимъ сномъ и въ домѣ была совершенная тишина.

Онъ подошелъ къ двери и сталъ внимательно прислушиваться: ни одного звука; положилъ руку на щеколду, щеколда уступила; заглянулъ въ комнату, въ комнатѣ ничего не было подозрительнаго. Ганджера хотѣлъ было уже войти, но, оглянувшись въ послѣдний разъ кругомъ, увидаль на землѣ какъ будто человѣческую тѣлѣ.

Въ одно мгновеніе онъ притворилъ дверь, и поползъ вдоль дома, прелегая вплоть къ самой стѣнѣ; потомъ завернулъ за уголъ, и зналъ, по положенію тѣлѣ, что на этомъ мѣстѣ его никто не уви-

дить, быстро пробежало пустое пространство и спряталася въ ближней купѣ деревьевъ.

Онъ рѣшился подстеречь и увидать своими глазами кто такой можетъ бродить въ эту часть около пасторского дома?

Но, хотя ему изъ-за деревьевъ было видѣніе весь домъ миссіонера, однако же онъ не замѣтилъ около дома ни человѣческой ни звѣриной тѣни. Переходивъ довольно долгое время, Ганджера убѣдился, что никого не было, и что ему только показалось.

Выскользнувъ изъ своей засады, какъ тигръ изъ логовища, онъ опять подошелъ къ строенію и опять поглядѣть на окно комнаты, гдѣ, по его предположенію, должна была спать Клара, и вся кровь прихлынула ему къ сердцу и охватила мозгъ пыломъ преступной страсти.

— Въ эту ночь, прошипѣль онъ сквозь стиснутые зубы, какъ змѣя, въ эту ночь Ганджера заключить въ свои объятия блѣднолицую дѣвушку: другое солнце не должно взойти надъ мою ненасыщеннюю страстью.

Въ этомъ вигвамѣ нѣть никого, кроме проповѣдника и его дочери, а старикъ слишкомъ слабъ, чтобы бороться съ могучимъ Ганджерою. Еще день не долженъ пропадать даромъ. Удобище этой ночи не будетъ... Рѣшено!

Онъ опять положилъ руку на щеколду и вошелъ въ домъ. Ему было слышно ровное дыханіе ничего не подозревавшаго старика и его дочери: они спали тихимъ и спокойнымъ сномъ людей съ чистою, ни однимъ грѣхомъ не обремененными совѣстью. Ганджера зажегъ сосновый факель, подошелъ къ спальнѣ Клары, повернулъ ручку замка, осторожно отворилъ дверь и вошелъ. Факель его облилъ яркимъ свѣтомъ каждый предметъ, бывшій въ спальне.

Но взоры вождя были прикованы къ лицу сонной Клары; она спала на кровати, прислоненной къ одной изъ стѣнъ, и не снилось ей, что завѣтный порогъ ея спальни переступилъ свирѣпый дикарь.

Ганджера тихо подошелъ къ кровати и наклонился надъ сонной дѣвушкой. Голова его шла кругомъ; зловѣщая улыбка мелькала по лицу.

Испущеніе было велико, и вождь не устоялъ: еще ниже наклонился онъ, чтобы осѣвернить Клару поцѣлуемъ, но искра отъ его факела упала ей на голую шею. Клара вскрикнула и проснулась.

Кто можетъ изобразить ужасъ молодой дѣвушки, когда она увидала передъ собой индійскаго вождя? Красноватый свѣтъ факела

придавалъ чертамъ его демонское выраженіе; во взглядахъ свѣтилось торжество; въ нахмуренныхъ бровяхъ таилась страшная угроза. Клара поглядѣла на него, и сердце замерло у нея въ груди.

Судорожно натянувъ простыню на дѣвственную грудь, она крикнула въ ужасѣ.

— Кто вы такой, и какъ вы смѣете входить ко мнѣ въ комнату?

— Развѣ ясные глаза блѣднолицей дѣвушки не узнаютъ Ганджера, вождя Чокуфовъ? спросилъ индіецъ глухимъ голосомъ.

При этихъ словахъ онъ поднялъ факель и освѣтилъ себѣ лицо, потомъ крѣпко воткнулъ факель между стѣнныхъ бревенъ и стала передъ дрожавшую дѣвушкой, не спуская съ нея глазъ.

— Что вамъ здѣсь угодно? спросила она. Зачѣмъ вы, какъ воръ, прокралисъ сюда ночью?

Зловѣщая улубка искривила губы дикаря, когда онъ отвѣтилъ:

— Сказать блѣдному лицу, что Ганджера его любить.

— Любить! крикнула она и вся задрожала.

— Да, продолжалъ онъ. Ганджера, сильный воинъ и вождь Чокуфовъ, любить дочь блѣднолицаго пришельца: онъ хочетъ ввести ее въ свой вигвамъ и охотиться для нея за буйволомъ.

— Уйдите! сказала она, усиливаясь казаться спокойною. Оставьте мою комнату: здѣсь не мѣсто и не время для объясненій. Вы говорите, что любите меня, докажите же вашу любовь: повинуйтесь моему желанію и сейчасъ же уйдите изъ нашего дома.

Индіецъ гнѣвно улыбнулся, наклонился такъ близко къ Кларѣ, что его лицо почти касалось лица молодой дѣвушки, и прошипѣлъ ей на ухо!

— Повиноваться, говоришь ты? повиноваться! Развѣ ты не знаешь, что отъ водопадовъ — кругомъ такъ далеко, какъ видѣть человѣкъ, всю землю смѣеть повелѣвать только одинъ, — и этотъ одинъ — Ганджера? Повиноваться! Блѣдное лицо не должно быть такъ надменно, когда говорить съ вождемъ: на своей собственной землѣ онъ позволилъ жить и блѣднолицой и ея отцу.

Блѣдная дѣвушка дрожала, какъ въ лихорадкѣ, но отвѣчала на смѣшиво:

— Какъ благородно пользоваться правами сильного и оскорблять беззащитную женщину! Неужели, продолжала она, раскрывъ широко голубые свои глаза и презрительно улыбаясь: неужели Ганджера унизить и себя, и свое плѣма? Неужели онъ покажетъ себя трусомъ и безчувственнымъ человѣкомъ?

— Ганджера не трусь! Онъ встѣчалъ въ степи племена враговъ и приносилъ домой, своему народу, кровавые знаки своихъ побѣдъ. Онъ схватывался въ одиночку съ пантерой и переплывалъ кипучіе потоки; онъ величъ и въ свѣтѣ, и въ битвѣ, и на охотѣ, и ложь говорить блѣдное лицо, когда говорить, что онъ — трусь.

Онъ вытянулся во весь ростъ и такъ грозно поглядѣлъ на Клару, черты его лица дышали такой свирѣпостью, что сердце бѣдной дѣвушки сжалось отъ ужаса, но она тотчасъ же оправилась и сказала:

— Повторю вамъ, что вы и безчестный человѣкъ и трусь; ваши слова и дѣйствія это доказываютъ!.. Развѣ не безчестно войдти тайкомъ въ женскую спальню и не уходить изъ нея, несмотря на просьбы? Развѣ не трусость — угрожать и безъ того уже оскорблѣнной женщинѣ?..

— Ну, хорошо! отвѣтилъ вождь бѣшено кусая губы и скрипя зубами. Бѣднолицая все сказала: пусть же теперь хорошенъко запомнить она слова Ганджеры. Когда вы съ отцемъ пришли сюда изъ далекой стороны, я позволилъ вамъ поселиться безопасно въ предѣлахъ моей земли. Будь на то моя воля, я приказалъ бы убить васъ, или предать всяkimъ мученіямъ, потому что здѣсь моя воля — законъ. Но нѣть: я дозволилъ жить вамъ мирно и ходить повсюду безъ допросовъ и поиѣхи. Я увидалъ тебя, — красота твоя воспламенила мнѣ сердце, и я полюбилъ и поклялся, что ты войдешь въ мой вигвамъ, станешь подругою моей жизни и матерью моихъ дѣтей. Я поклялся, а клятва Чокуфа нерушима вовѣки.

Клара задрожала еще сильнѣй, впилася взорами въ лицо индійскаго воина, но не могла произнести ни одного звука.

— Ты слышала слова вождя? продолжалъ онъ. Вождьожидаетъ твоего отвѣта. Ты молчишь? прибавилъ онъ, переждавъ нѣсколько мгновеній. Я спрашиваю: хочеть ли бѣднолицая раздѣлить вигвамъ Чокуфа Ганджеры и плести ему мокассины. *)

— Ганджера, отвѣчала она, этого не можетъ быть, а потому оставьте меня и идите съ мирамъ своей дорогой.

— Не можетъ быть? крикнулъ онъ. А почему?

— Вы не имѣете права предлагать мнѣ вопросы, отвѣчала она съ твердостію, и потомъ прибавила болѣе мягкимъ голосомъ: Ганджера, выберите любую изъ дочерей вашего племени, и она, безъ

*) Плетеная обувь, въ родѣ лаптей.

сомніння, осчастливить васъ, а я не могу. Клара Уилльямсъ не можетъ быть женой Ганджера — индійца.

Онъ бросиль на нее мгновенный взглядъ и произнесъ страстнымъ голосомъ:

— Клянусь Великимъ Духомъ! ты будешь — или женой, или рабыней Ганджера.

И схвативъ ее крѣпко за руку, онъ шепнуль: выбирай любое — или согласись быть женой Ганджера, или...

Помоги, отецъ! помоги. крикнула бѣдная дѣвушка, почувствовавъ на щекѣ горячее дыханіе индійца и грубую его руку на своюемъ нѣжномъ тѣлѣ.

— Молчать! прошипѣлъ Ганджера, блеснувъ передъ ея глазами длиннымъ своимъ ножемъ. Я поклялся, что ты будешь мою, и горю тому, кто станетъ между нами!

Онъ повернулъ голову къ двери и увидаль на порогѣ стараго миссіонера, въ одномъ ночномъ шлафрокѣ и съ наведеннымъ пистолетомъ.

Мистеръ Уилльямсъ тихо подошелъ къ своей дочери и, положивъ лѣвую руку на руку индійца сказалъ: Оставьте мою дочь: я не хочу, чтобы мою совѣсть запятнала человѣческая кровь.

Вождь только злобно улыбнулся.

— О, спаси меня, отецъ! спаси меня! кричала умоляющимъ голосомъ Клара.

— Въ послѣдній разъ прошу: оставьте ее, или я выстрѣлю! сказалъ мистеръ Уилльямсъ.

— Ты думаешь, что Чокуфъ боится твоихъ угрозъ! отвѣчалъ презрительно вождь. Развѣ ягненокъ можетъ противиться волку, или воробей соколу!

Говоря эти слова, онъ вдругъ ударилъ по рукѣ старика своей свободной рукой, и пуля безвредно просвистала надъ его головой.

— Мошенникъ! оставь ее! крикнулъ миссіонеръ. Какъ я ни старъ и ни слабъ, а защищу свое дитя!

Онъ прыгнулъ на индійца и уакъ внезапно схватилъ его за горло, что вождь выпустилъ руку Клары. Но гдѣ было сладить старику съ могучимъ сыномъ лѣсовъ! Ослѣпленный яростью, Ганджера поднялъ ножъ и, быстрѣе молнии, глубоко вонзилъ въ плечо миссіонера.

Старикъ простональ и тяжело рухнулъ на полъ.

Съ крикомъ, отозвавшимся по всему дому и произвѣшившемъ даже

сердце Ганджера, бѣдная Клара упала безъ чувствъ на недвижное тѣло своего отца.

Ганджера на мгновеніе остановился въ нерѣшимости передъ двумя трупами. Первою его мыслю было, что Клара умерла, но, подойдя ближе, онъ замѣтилъ, что она дышитъ. Онъ хотѣлъ было приподнять ее и положить на постель; но въ то же мгновеніе сѣнная дверь съ грохотомъ распахнулась и внизу послышались быстрые шаги.

Быстро мысли Ганджера прыгнули къ двери спальни и быстро заперъ ее на ключь; потомъ завалилъ дверь всѣмъ, что было потяжелѣе въ комнатѣ, для обороны отъ первого нападенія, и поглядѣлъ въ окно: но кругомъ дома никого не было. Онъ вспомнилъ о видѣній имъ, при входѣ, тѣни и заключилъ, что она принадлежала тѣперешнему незваному посѣтителю.

Вырвавъ изъ бревенъ факель, онъ бросилъ его, возле постели, на полъ, что бы потушить, поднялъ безчувственную девчушку на руки, схватился за подоконникъ, и вырыгнулъ съ своей добычею въ окно.

Пробѣжать разстояніе между домомъ и густыми деревьями было дѣломъ нѣсколькихъ мгновеній. Тогда Ганджера взглянула въ лицо все еще безчувственной девчушкѣ и страстно прильнула губами къ ея губамъ. Вдругъ странный свѣтъ заигралъ на чертахъ Клары. Ганджера обернулся и увидалъ, что недавно покинутая имъ спальня пылала. Крѣпко сжавъ въ объятіяхъ свою плѣнницу, чокуфскій вождь поспѣшно удалился съ нею по направленію къ своему вигваму.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ОХОТИКЪ.

Послѣдніе лучи заходящаго солнца потухали за горами, изрѣдка обливая золотомъ и пурпуромъ быстро темнѣвшія тучки и бросая на окрестность таинственный полусвѣтъ. Сумерки надвигались ниже и ниже, и вскорѣ ночь одѣла землю своею ризой.

Въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Ниагарскаго водопада раскинулась живописная группа вигвамовъ, населенныхъ въ то время племенемъ Дакота.

Они были выстроены на маленькой равнинѣ, окруженнѣй съ трехъ

сторонъ лѣсами и степью, и съ четвертой величаво катила свои волны. рѣка Ниагара.

Картина была дикая, но очаровательная.

Вигвамы отличались разнообразiemъ постройки: одни были конической формы, другие—круглой, третьи—заканчивались птицами, и все вмѣстѣ представляли издали необыкновенный эффектъ.

Въ серединѣ группы, или селенія, или гродно, бросался въ глаза вигвамъ конической формы. Стѣны его были увѣшаны внутри трофеями охоты: шкурами, рогами, клыками и головами разныхъ животныхъ.

Этотъ вигвамъ принадлежалъ Зооло, прозванному всѣмъ племенемъ охотникомъ стремнинъ за его отважную охоту вблизи водопадовъ.

Когда ночь стала темнѣе и мѣсяцъ уже просвѣчивалъ сквозь лѣсную чашу, серебра лучами рѣку, на порогѣ вигвама показался какой-то человѣкъ и началъ пристально вглядываться въ окрестность.

Это былъ самъ охотникъ стремнинъ.

Всякий, взглянувъ разъ на молодаго индійца, никогда уже не забывалъ его наружности.

По крайней мѣрѣ шести футовъ роста, съ пропорціонально—отлитыми членами, съ величественными чертами лица, весь облитый мѣсячными лучами, онъ стоялъ на порогѣ вигвама, погруженный въ думу, или—лучше сказать—въ задумчивость.

Одежда его была гораздо наряднѣе, чѣмъ бываетъ обыкновенно у дикихъ обитателей лѣсовъ.

На головѣ его развѣвались яркія перья, перемѣшанные съ золотыми украшеніями; на плечи была накинута шкура бизона, схваченная у шеи спуркомъ, перевитымъ серебряною битью; на тесьмѣ, надѣтой черезъ плечо, висѣла пороховница; изящно сплетенные мокасины были вышиты разноцвѣтными бусами; въ руки у него было карабинъ превосходной отдѣлки, подарекъ одного англійскаго офицера, спасеннаго Зооло отъ вѣрной смерти подъ рогами разъяренного буйвола.

Молодой воинъ вдругъ какъ будто очнулся, поднялъ карабинъ, поглядѣль на него и проговорилъ:

— Теперь тебѣ ужъ поздно послать свинцовыхъ вѣстницъ на встрѣчу буйволу; отдохни дома.

Онъ внесъ карабинъ въ вигвамъ, но у порога остановился и

сталъ опять глядѣть на свое завѣтное оружіе.

— Ты служилъ мнѣ вѣрно, сказаъ онъ: гдѣ раздавался по лѣсу твой голосъ, тамъ и виноватъ къ цѣль мѣтка шуя... Правда, не всегда: порой у Зооло дрожала рука, и душа, какъ и нынѣшней ночью, уносилась по волнамъ къ дому блѣднаго лица.

Онъ вздохнулъ, закутался плоткѣ въ шкуру, и направилъ свои шаги къ рѣкѣ.

Подойдя къ окраинѣ берега, онъ спустилъ на воду легкую лодку и медленно отчалилъ, но, попавъ въ самую струю потока, налегъ сильнѣе на весла и благополучно переплылъ на другую сторону. Потомъ онъ вытащилъ лодку на берегъ и пошелъ къ дому мистера Уилл ямса и его дочери.

Не дойдя нѣсколькихъ шаговъ до дому, онъ остановился и прислушалъ:

— Странное чувство вкрадось въ сердце охотника... Былъ онъ счастливъ, пока не видаль блѣднолицей, а теперь рука Зооло отпадаетъ отъ карабина, и всѣ мысли полны красотой христіанки. Отчего она всегда въ моей душѣ, отчего обезсилила моя рука, отяжелѣли мои ноги, отчего, возвратясь съ охоты, я и не думаю объ отдыхѣ, а все смотрю туда, гдѣ живетъ она?

Зооло давно уже выслушивалъ съ полнымъ вниманіемъ поученія доброго миссіоннера, и въ душѣ былъ полухристіанинъ. Постоянный посѣтитель духовныхъ митинговъ собиравшихся въ домѣ пастора, онъ успѣлъ оказать ему много услугъ и сдѣлался любимцемъ старика. Полный нѣмого восторга, онъ не сводилъ глазъ съ Клары и полюбиль ее искренней горячей любовью.

И хорошенъкая девушки глядѣла на него благосклоннѣе, чѣмъ на прочихъ индійцевъ; его любезное и благородное обращеніе, его всегдашняя готовность исполнять ея малѣйшія желанія, его величавая осанка и античныя черты лица снискали ему уваженіе Клары, — и она всегда встрѣчала его улыбкой и ласковымъ словомъ, но любовь... Клара улыбнулась-бы при одной мысли.

Зооло ступилъ еще нѣсколько шаговъ впередъ, опять остановился, скрестилъ на груди руки и сталъ глядѣть въ окна дома. Вдругъ онъ увидалъ, что къ дому поддерался какой то человѣкъ и положилъ руку на дверной замокъ.

Изъ опасенія быть узнаннымъ Зооло поспѣшилъ отступить, и его-то тѣнь замѣтилъ Ганджера, передъ своимъ свиданіемъ съ Кларой.

Недоумываая, — кто бы могъ быть такимъ позднимъ посѣтителемъ миссінера, Зооло раздумчиво пошелъ къ своей лодкѣ; но въ головѣ его мелькнула мысль, что у этого человѣка могли быть недобрыя намѣренія: онъ быстро повернулъ назадъ и рѣшился выждать неизвестно.

Онъ былъ уже въ нѣсколькихъ ярдахъ отъ дома, какъ вдругъ его слухъ былъ пораженъ пронзительнымъ крикомъ миссіонерской дочери.

Пантерою прыгнулъ онъ къ двери и взбѣжалъ по маленькой лестницѣ. Войдя въ комнату мистера Уилльямса, онъ нашелъ ее пустою; толкнулъ другую дверь, но дверь была заперта и всецѣлѣ отворить ее были тщетны.

Внезапно яркій блескъ пробился сквозь щели стѣны, и вслѣдъ за нимъ повалили густые клубы дыма. Въ одно мгновеніе онъ сообразилъ, что комната горитъ и что Клара можетъ сдѣлаться жертвою пламени. Онъ уперся въ дверь своими широкими плечами, почти съ сверхъ-естественнouю силой высадилъ ее со всѣмъ, чѣмъ она была залегна, ворвался въ комнату и быстро окинулъ ее взглядомъ, но Клары въ ней не было. Онъ бросился было отыскивать ее въ другихъ комнатахъ, но его взорамъ представилось ужасное зрѣлище: на полу, въ кровавой лужѣ, набѣжавшей изъ раненаго плеча, едва-едва не охваченный огнемъ, лежалъ старый миссіонеръ. Зооло мигомъ очнулся отъ изумленія, поднялъ старика на руки, вынесъ на свѣжій воздухъ и тихо опустилъ на землю, невдалекѣ отъ пылавшаго дома, а самъ кинулся снова отыскивать Клару.

Поиски его были напрасны. Клары не было нигдѣ; но только тогда, когда огонь охватилъ со всѣхъ сторонъ зданіе и когда оставаться долѣе было уже полнымъ безуміемъ, только тогда Зооло, съ тяжелымъ сердцемъ, вышелъ изъ пылавшаго дома.

Онъ направился къ тому мѣсту, гдѣ лежалъ бѣдный миссіонеръ, и наклонился надъ его недвижимымъ тѣломъ. Свѣжій ночной воздухъ нѣсколько оживилъ раненаго и онъ пробормоталъ.

— Пощадите ее, пощадите ее!

— Гдѣ Клара? спросилъ охотникъ, приподнявъ голову старика на свое колѣно и сострадательно глядя ему въ лицо.— Я объискалъ весь вигвамъ: въ немъ нѣтъ блѣднолицой девушки.

— Воды, прохрипѣлъ старикъ, воды, Клара, воды?

Голова его упала назадъ, и онъ опять потерялъ сознаніе.

Зооло осторожно опустилъ его на землю, бросился къ рѣкѣ, за-

черпнуль нѣсколько воды въ складки своей мѣховой одежды и черезъ два-три мгновенія былъ уже опять на мѣстѣ. Вспрыснувъ лицо старика и, вливъ ему нѣсколько капель воды въ ротъ, онъ терпѣливо выжидалъ, пока больной придетъ въ чувство, а между тѣмъ перевязалъ ему какъ можно туже рану лоскутомъ шлафрока и, наконецъ, унілъ кровь.

Страшно было поглядѣть, какъ огонь охватывалъ жилище миссіонера, какъ высаживали красные языки, какъ они плясали и обивались вокругъ всего стараемаго, а горючаго материала было много: почти все зданіе было сложено изъ однихъ бревенъ. всякая попытка остановить пожаръ была бы безплодна: постоянно сухая и жаркая погода заранѣе подготовила домъ пастора въ вѣрную добычу пламени. Наконецъ огонь слился на нѣсколько мгновеній въ одинъ яркій столпъ, и когда потухъ, на мѣстѣ дома осталась одна груда углей и пепла, и надъ нею погребальнымъ покровомъ нависла черная туча дыма.

Въ это время Зооло снялъ съ себя бизонью шкуру и одѣлъ ею все еще безчувственнаго старика, а когда пламя подошло къ немъ близко, взялъ его на руки и направился къ лодкѣ. Бережно уложивъ раненаго въ свое утлое судно, онъ принялъ быстро грести черезъ потокъ къ своему вигваму, куда скоро и вошелъ со своей ношей.

Онъ опустилъ старика на грубое ложе изъ шкуръ разныхъ животныхъ, приготовилъ всѣ живительныя снадобья, что нашлись подъ рукою и съ радостью наблюдалъ, какъ больной понемногу приходилъ въ чувство.

Открывъ глаза, блѣдный миссіонеръ съ дикимъ изумленіемъ оглянулся кругомъ и, казалось, усиливался припомнить события послѣдней ночи. Онъ хотѣлъ-было привстать на ложѣ; но рана его была такъ болѣзнина, такъ изнурila его потеря крови, что онъ не могъ шевельнуться.

— Клара! Клара! стональ онъ раздирающимъ сердце голосомъ. — Гдѣ ты? Неужели и ты пала жертвой грабителя?

Онъ закрылъ глаза, и по всему его тѣлу пробѣжала дрожь.

— Гдѣ блѣднолицая дѣвушка? спросилъ охотникъ, наклоняясь надъ ложемъ.

Старикъ открылъ глаза и свирѣпо поглядѣлъ на Зооло.

— А, разбойникъ! крикнулъ онъ. — Ты все еще здѣсь? Гдѣ моя Клара, моя...

Онъ остановился, потому что узналъ охотника.

— Гдѣ я? Гдѣ мое дитя? спросилъ онъ смягченнымъ голосомъ.

— Гдѣ она — про это знаетъ одинъ Великій Духъ! отвѣчалъ Зооло. — А вы въ безопасности, у меня въ вигвамѣ: я васъ вынесъ изъ горѣвшихъ развалинъ вашего дома.

— Что вы говорите? Такъ ли мнѣ послышалось? Мой домъ сгорѣлъ? Стало быть, его подожгли — и мое дитя, моя Клара погибла въ пламени?

— Не думаю, сказалъ охотникъ: я искалъ въ домѣ — блѣднолицая дѣвушка исчезла. Васъ я нашелъ почти въ огнѣ, и вы плавали въ своей крови.

— О, Господи! воскликнулъ бѣдный стариkъ, всплеснувъ руками: — неужели моя дочь, отрада моихъ старыхъ дней, похищена у меня на жертву дикой страсти и нечистой похоти измѣника и убийцы? Неужели мнѣ, немощному старцу, суждено лечь въ гробъ, оплакивая потерю и позоръ моей дочери? Защиti и не допусти этой кары, Господи! Исторги мою дочь изъ разбойниччьихъ рукъ и возврати въ мое объятіе чистою и непорочною!

Охотникъ взглянулъ съ недоумѣniемъ и величайшимъ изумленiемъ на лицо миссіонера, когда тотъ произносилъ послѣднія слова. Мысли его озарились внезапнымъ свѣтомъ. Не была ли Клара похищена и не произошелъ ли пожаръ отъ умышленного поджога? Это должно было быть дѣйствительно такъ: иначе какъ могъ быть раненъ стариkъ, если не защищалъ своей дочери, или своего дома? Да и самъ Зооло не видаль развѣ, какъ въ домѣ вошель кто-то, и въ такую позднюю пору, что онъ заподозрилъ этого посѣтителя въ недобрыхъ намѣренiяхъ? Обратясь къ старику, Зооло спросилъ:

— Кто входилъ въ вашъ вигвамъ ночью?

— Мерзавецъ! отвѣтилъ стариkъ. — Его низкая и трусливая душонка не пощадила ни невинности, ни сѣдыхъ волосъ.

— Зачѣмъ онъ приходилъ?

— Поругаться надъ старымъ отцомъ и обезчестить его дочь! отвѣчалъ мистеръ Уилльямъ.

Брови охотника потемнѣли, что туча, и онъ невольно схватился за карабинъ, крикнувъ съ негодованiемъ:

— И такъ, блѣднолицая дѣвушка была насилино вырвана изъ объятій отца и изъ-подъ крова вигвама? Какъ! краснокожій дружески протянула руку блѣдному лицу только для того, чтобы оскорбить тѣхъ, кого долженъ быть защищать. Правду говорять бѣлые люди, что ни они, ни ихъ дѣти не могутъ жить съ нами въ безопаснѣ.

ности; что краснокожихъ надо отогнать къ послѣдней грани ихъ земли, или пусть переселятся они въ страну вѣчной охоты и заснуть тамъ блаженнымъ сномъ!.. Будь похититель Клары моимъ братомъ въ совѣтѣ, моимъ товарищемъ на охотѣ, моимъ другомъ въ битвѣ — карабинъ мой заговорить — и сердце предателя раскроютъ вороны!

— Зооло! тихо проговорилъ пасторъ, взялъ охотника за руку и горячо пожимая ее: — не говорите о мщении. Тотъ, Кто одинаково сотворилъ и бѣлага человѣка, и индійца, накажетъ виноваго и охранитъ невиннаго. На Его милосердіе возлагаю все мое упованіе. Онъ не попустить старика сложить, въ тоскѣ и горѣ, сѣдую голову въ могилу.

— Скажите мнѣ; кто похитилъ вашу дочь? Я отыщу ее и возвращу въ ваши объятія.

— Ганджера, вождь Чокуфовъ, отвѣчалъ стариkъ. — Онъ проѣрался въ мое жилище, оскорбилъ мою дочь, вонзилъ ножъ въ это старое тѣло и, безъ сомнѣнія, поджогъ домъ для того, чтобы подумали, будто я и Клара — оба мы погибли въ пламени.

— Ганджера, Чокуфъ! крикнулъ охотникъ. — Я буду слѣдить за нимъ шагъ за шагомъ и, гдѣ бы его ни встрѣтилъ, — мой карабинъ заговорить и Ганджера умреть.

ГЛАВА III.

Побѣгъ.

Огойда съ безчувственной Кларой Уилльямъ въ объятіяхъ отъ пылавшаго дома, истребленаго его предательской и грубою рукой, Ганджера Чокуфъ быстро устремился впередъ. Мозгъ его также пыпалъ и въ немъ роились самыя безчестныя, самыя постыдныя мысли. По временамъ онъ оглядывался на сцену ужаса и разрушенія, но въ сердцѣ его не было и признака состраданія. Демонъ зла овладѣль его душою и отстриялъ всякую добрую мысль. Напротивъ, Ганджера съ злобною улыбкою торжества любовался, какъ выше и выше поднималось пламя, и какъ пепелило въ своихъ жгучихъ объятіяхъ эту нѣкогда счастливую обитель...

Онъ очень хорошо понималъ, что въ случаѣ какихъ-либорозысковъ ебъ участіи Клары, такъ какъ миссионеръ и его дочь пріобрѣли себѣ многихъ друзей въ сосѣднихъ племенахъ, все несчастіе будетъ приписано внезапному пожару, и всѣ подумають, что Клара съ от-

цемъ погибли въ пламени. Не боялся онъ и того, что одно изъ пламенъ покинетъ свои вигвамы и выйдетъ въ поле за Клару: несмотря на всю свою низость и на всю душевную злобу, онъ былъ смѣль, какъ левъ, и когда въ пустынѣ раздавался кличъ войны, Ганджера первый отзывался на него воискимъ крикомъ Чокуфовъ.

Но не война, а любовь, и не любовь — неистовая страсть оковала всѣ его чувства, и нѣжныя объятія Клары Уилльямсъ осчастливили бы теперь его болѣе, чѣмъ рѣзня беззащитныхъ плѣнниковъ, такъ часто утолавшая его звѣрскую жажду крови. Онъ свернулъ въ сторону съ большой дороги, если можно такъ назвать тропинку, проторенную вдоль берега отъ небольшаго селенія Чокуфовъ до жилища миссіонера, и пошелъ тѣнистымъ лѣсомъ, тянувшимся невдалекъ, почти параллельно тропинкѣ.

Такимъ образомъ онъ надѣялся укрыться отъ глазъ всякаго индійца, можетъ быть вызванного изъ вигвама заревомъ пожара.

Пройдя значительное разстояніе отъ мѣста своего адскаго преступленія, Ганджера остановился, тихо опустилъ дѣвушку на дернъ отеръ потъ у себя на лбу и устремилъ — хищный взоръ на лицѣ Клары серебристое лучами яркаго мѣсяца.

— Кто скажетъ, прошепталъ — онъ про себя, что краснокожій не можетъ любить? Только бы на одно мгновеніе заключить тебя въ объятія, и я готовъ презрѣть всякую опасность; выйду безоружный на пантеру, кинусь въ мощныя струи водопада, спущусь въ жерло горящей горы, схвачусь съ удавомъ, даже выдамъ мое племя врагомъ... Нѣтъ ничего такого, чего не сдѣлаетъ и не сдѣлалъ бы Ганджера, чтобы только овладѣть блѣднолицей дѣвушкой. Но она и безъ того моя, и краснокожій весель, сердце его расширилось, члены окрѣпли.. Краснокожій воинъ обезумѣлъ отъ радости!..

Онъ приподнялъ голову Клары къ себѣ на колѣни, и долго и страстно всматривался въ ея лице, потомъ крѣпко прижалъ ее къ груди и осыпалъ поцелуями ея блѣдныя губы. Дѣвушка стала обнаруживать признаки пробужденія отъ обморока и Ганджера снова вскинулъ ее на руки, какъ ребенка, проговоря.

— Она оживаетъ; но Ганджера долженъ поспѣшить въ свой вигвамъ, прежде чѣмъ блѣднолицая скажетъ слово и откроетъ глаза.

Говоря эти слова, Ганджера быстро шелъ впередъ и скоро стоялъ уже у порога своего вигвама. Все было тихо и цѣлое селеніе спало крѣпкимъ сномъ; даже вѣтерокъ еле-еле шелестилъ листьями лѣсныхъ деревьевъ, когда Ганджера вошелъ въ вигвамъ и положилъ почти

уже очнувшуюся девушку на ложе, еще такъ недавно покинутое имъ сачимъ:

Онъ заперъ вигвамъ и сѣлъ у ложа Клары, поджиная, когда она прідеть въ себя и слѣда, какъ поднималась и опускалась ея грудь отъ прерывистаго дыханія.

Вдругъ по ея тѣлу пробѣжала судорожная дрожь; она глубоко вздохнула, открыла глаза и дико посмотрѣла кругомъ. Повидимому, она не могла даже пошевелиться: такъ изумительнымъ казалось ей ея положеніе.

Нѣсколько времени лежала она неподвижно; мѣсячные лучи, пробиваясь сквозь рѣшетку, вставленную надъ дверью, придавали ея лицу гробовую блѣдность и бросали кругомъ фантастическую тѣни.

Черезъ нѣсколько мгновеній она приподнялась и только тогда замѣтила, — что была не одна. Напрягая зреѣніе, она всматривалась въ какую-то темную человѣческую фигуру, но не могла разглядѣть лица: мѣсячные лучи одѣли этотъ уголъ вигвама густою тѣнью. Ночные события вдругъ ожили въ памяти бѣдной девушки: она вскочила съ ложа, подошла къ воину и голосомъ звучавшимъ глубокою тескою, спросила:

— Кто вы? скажите мнѣ: кто вы, и въ какомъ странномъ мѣстѣ нахожусь я теперь.

Вождь всталъ при ея словахъ, подошелъ подъ мѣсячный лучъ и сказалъ:

— Бѣднолицая получила отвѣтъ. Ясный мѣсяцъ указываетъ, кто стоитъ передъ нею.

— Ганджера! крикнула она. Презрѣнны! гдѣ я! гдѣ мой отецъ, пораженный твою предательской рукой.

Ганджера думаетъ только о тебѣ, отвѣчалъ вождь.

— Не о себѣ я говорю, возразила она, презрительно глядя на индійца: я говорю о томъ, чьи сѣдые волосы ты опозорилъ, чѣго слабаго тѣла ты не пощадилъ, когда онъ сталъ защищать свое дитя отъ негодяя, раба и труса!

Индіецъ задрожалъ отъ бѣшенства, и крѣпко схватилъ Клару за руку, прошепталъ:

— Я не трусъ. Твой отецъ сталъ между нами и я повергъ его на землю.

Я поклялся, что ты раздѣлишь со мною мой вигвамъ, и будь руки бѣлого человѣка гораздо сильнѣе, я поступиль бы также.

— Ты лжешь, Ганджера! крикнула гибѣюща молодая девушка.

май, т. III.

Твое трусливое сердце сжалось бы от страха передь ровною силою; твоя грубая рука ослабѣла бы при молодомъ защитникѣ... Но гдѣ мой отецъ? продолжала она и голосъ ея задрожалъ: паль онъ жертвою твоей звѣрской страсти? умеръ онъ?

Индіецъ молчалъ.

— Ганджера, проговорила она, положивъ ему руку на руку и пристально глядя ему въ лицѣ: скажи мнѣ, что онъ еще живъ, и я...

— Полюбишь Чокуфа! перебилъ онъ съ такимъ взглядомъ, что она отшатнулась съ ужасомъ и отвращеніемъ.

— Скажи мнѣ о моемъ отцѣ.

— Ганджера не убивалъ блѣднолицаго, сказалъ вождь, помолчавъ.

— Господи! Благодарю Теба! и глубокій вздохъ облегчилъ грудь Клары Ганджера прибавила она: выпусти меня отсюда. Бѣдный старикъ нуждается въ помощи дочери.

Клара подошла къ двери и намѣревалась выйти изъ вигвама; но Ганджера загородилъ ей дорогу.

— Этого нельзя, сказалъ онъ: блѣднолицый въ тебѣ не нуждается.

У бѣдной дѣвушки захолонуло сердце: она поняла, что индіецъ рѣшился держать ее пленницей, и со слезами на глазахъ простонала.

— Ганджера,пусти меня! О моемъ бѣдномъ отцѣ некому позаботиться, кроме меня...

— Бѣднолицему нужна теперь помощь развѣ въ странѣ вѣчной охоты.

— Боже! крикнула Клара... Но вѣдь ты сказалъ, что онъ не умеръ отъ твоей руки.

— Ганджера сказалъ правду; но вигвамъ сгорѣлъ и блѣднолицый погибъ въ огнѣ.

Бѣдная дѣвушка, словно мертвая, упала на ложе и громко зарыдала.

И такъ оставалась она долго, закрывъ лицо руками; все ея тѣло передергивала судорога; тяжелыя рыданія надрывали ея грудь; горячія слезы струились сквозь нальцы. Она чувствовала что теперь одинока на свѣтѣ.

Индіецъ снова сѣлъ у ея ногъ и внимательно глядѣлъ на рѣдавшую дѣвушку. На мигъ онъ какъ будто раскаялся въ своемъ

преступлений, но это былъ только мигъ, и въ душѣ его опять за-
бушевала страсть.

Мѣсяцъ почти уже закатился, и на востокѣ вырѣзались первая
сѣроватая полоса ранней зари; въ вигвамѣ стало свѣжѣе и каждый
предметъ потемнѣлъ. Вскорѣ лѣсныя птицы подняли свои головки
изъ-подъ крыльшечекъ и звучнымъ хоромъ запѣли благодарственный
гимнъ новому утру. Яркое свѣтило дня покинуло свое ложе и пер-
вые его лучи окрасили пурпуромъ сѣрую тучу тумана. Ганджѣра
всталъ и выглянулъ изъ вигвама.

Выше и выше поднималось солнце, ярче и ярче золотили его
лучи лѣсныя верхушки, но мрачнѣе и мрачнѣе становилось въ душѣ
индійца. Ежели страданія дѣвушкѣ и пробудили въ немъ искру со-
жалѣнія, она уже давно погасла, и сердцемъ его вновь овладѣли
любострастіе и жестокость.

Ганджѣра повернулся, остановился передъ дочерью миссіонера
и спросилъ съ внимательною ульбою:

— Говорить Ганджѣрѣ, зачѣмъ онъ принесъ въ вигвамъ блѣд-
нолицую дѣвушку?

— Убійца! крикнула Клара,— и звуки собственного голоса вы-
вели ее изъ опьяненія. Убійца! праведный Богъ взыщетъ съ тебя
за твои злыя, демонскія дѣла. Прочь! прибавила она, усиливаясь
пройдти къ двери: пропусти меня, или, если уже ты такъ презрѣ-
ненъ, пусть рука, поразившая отца, убьетъ и дочь!

Индіецъ отступилъ съ изумленіемъ: онъ былъ пораженъ этимъ
страстнымъ порывомъ, придавшимъ лицу Клары неземную красо-
ту, пораженъ ея величавою осанкою, ея пылающими глазами и взвол-
нованной грудью.

— Ганджѣра слишкомъ любить блѣднолицую дѣвушку, чтобы
ее зарѣзать! сказалъ онъ.

— Ты любишь! крикнула презрительно. Ты, Ганджѣра, чер-
ная душа, кровожадный безумецъ, безпощадный мучитель плѣнни-
ковъ. Ты позоришь имя человѣка, оскорбляя беззащитную женщи-
ну, бессильную наказать такое чудовище... Ты протянулъ дружескіи
руку чужеземцу, пришельцу, какъ змѣя, вползъ въ его домъ, и,
какъ змѣя, вонзилъ въ него украдкой ядовитое жало... И ты смѣ-
ешь говорить о любви, смѣешь говорить мнѣ, чье сердце ты разбилъ
на части, чей домъ разорилъ до тла, чьего отца умертвилъ преда-
тельски!.. Посторонись и дай мнѣ дорогу; вѣдь воздухъ дышетъ

ядомъ, здѣсь каждое твое прикосновеніе — зараза.. Прочь, говорю тебѣ! Я ненавижу, кляну и презираю тебя.

Вспыльчивость бѣдной дѣвушки не знала уже границъ, и, покрываясь къ двери, Клара своей бѣлой, изящной рукой ударила индіеца въ грудь. Дрожа отъ страсти, индіецъ схватилъ эту руку и скжаль, какъ въ желѣзныхъ тискахъ.

— Клянусь Великимъ Духомъ! прошипѣлъ онъ сквозь стиснутые зубы: блѣднолицая узнаетъ, что Ганджѣра, Чокуфъ, можетъ такъ же негавидѣть, какъ и любить...

Я предлагалъ ей раздѣлить со мной вигвамъ, и она отказалася. Пусть же душа Ганджѣры никогда не увидитъ страны вѣчной охоты, пусть его стрѣла не долетитъ до цѣли, пусть его томагоукъ упадетъ у него изъ руки среди битвы, пусть врагъ ему срѣжетъ съ черепа кожу и волосы, если Ганджѣра не отомстить за себя. Блѣднолицая упадетъ съ позоромъ къ его ногамъ и краснокожія жены будутъ гнѣвно указывать на нее пальцемъ.

Съ этими словами онъ сильно оттолкнулъ отъ себя Клару и сталъ ходить по вигваму неровными шагами. Все его тѣло дрожало отъ бѣшенства и лицо исказилось страстями, кипѣвшими у него въ груди...

— Лжецъ! крикнула она. Клара Уилліамсъ, дочь миссіонера, пока въ ней есть хоть капля жизни, будетъ защищать свою честь. Великий Богъ никогда не отклоняетъ слуха отъ молевій о его праведномъ судѣ и милосердіи. Онъ услышитъ молитвы сироты и спасти ее отъ руки святотатца, поправшаго законы божескіе и человѣческіе.

Индіецъ повернулся къ Кларѣ, и, устремивъ на нее угрожающій взоръ, сказалъ:

— Пусть же твой Богъ помогаетъ тебѣ скрѣбѣ!.. Прежде чѣмъ мы сѧмъ снова взойдеть на небо и пантера заложегъ въ свое логовище, блѣднолицая падеть, блѣднолицая узнаетъ всю силу вызванного ею на бой, обиженного и разгневанного вождя.

Дневной свѣтъ дозволялъ теперь Кларѣ явственно различать всѣ предметы, и, оглядываясь кругомъ, она замѣтила въ одномъ изъ угловъ вигвама лукъ и стрѣлы воина.

Въ головѣ ея мелькнула мысль: если бы ей удалось завладѣть этимъ оружиемъ, она могла бы удержать Ганджѣру отъ нападенія и выѣхать изъ вигвама. Выждавъ удобную минуту, когда Ганджѣра повернулся къ ней спиной, чтобы выглянуть въ дверь вигвама, Клара схватила лукъ, положила на тетиву стрѣлу, и только что

индіецъ отодвинулся отъ двери, однимъ прыжкомъ очутилась на порогѣ.

— Богъ услышалъ вопль сироты и послалъ ей помощь! крикнула она, намѣтивъ стрѣлу въ грудь вождя.

— Осмѣясь теперь задержать или преслѣдоватъ меня, — и эта стрѣла найдеть путь къ твоему черному, низкому сердцу!

Ганджера стоялъ, какъ пригвожденный къ мѣсту. Изумленіе и неожиданность лишили его силъ воспрепятствовать Кларѣ, когда она скользнула въ дверь и скорѣе полетѣла — чѣмъ побѣжала къ своему дому, узы! уже грудѣ рѣзалинъ.

Наконѣцъ Ганджера пришелъ въ себя и устремилъ по слѣдамъ бѣглянки, расточая себѣ проклятія за то, что не удержалъ ея. Между тѣмъ, Клара отбѣжала уже довольно далеко: страхъ быть настигнутой придавалъ ей крылья. Но она не могла выдержать долгой погони: горе убило въ ней прежнія силы, и члены ея начинали ослабывать. Оглянувшись она увидала, что Ганджера былъ отъ нея въ нѣсколькихъ шагахъ, и впала въ отчаяніе.

Она обернулась, опять намѣтила стрѣлу въ грудь индійца и закричала отчаянно:

— Еще одинъ шагъ ко мнѣ, — и да падетъ твоя кровь тебѣ же на голову!

Индіецъ подошелъ — на самое близкое, смертое разстояніе и проговорилъ съ гаѣвно улыбкою и нахмуренными бровями:

— Неужели блѣднолицая думаетъ, что Ганджера побоится женской стрѣлы? Неужели она думаетъ, что тотъ, кто шелъ побѣденно во главѣ своего племени — на встрѣчу вражьихъ стрѣлъ, уклонится отъ своего намѣренія? Нѣть! Ганджера поклялся овладѣть блѣднолицей, а Чокуфъ никогда не забываетъ своей клятвы... Ты вызвала его на бой, и онъ будетъ отомщенъ. Блѣднолицая падеть, но не такъ, какъ ся отецъ, раненый только въ тѣло: у нея будуть ранены сердце, душа и честь.

И онъ смѣло поспѣлъ къ Кларѣ.

— Остановись, крикнула она, или рука дочери отомстить за смерть отца!

Индіецъ продолжалъ подходить съ рѣшительнымъ взглядомъ, и Клара изо всѣхъ силъ натянула лукъ. Она поняла, что индіецъ непоколебимъ въ своемъ намѣреніи, и что если она опять попадется ему въ руки, — ей уже нѣть надежды на побѣгъ. Она спустила стрѣлу, но Ганджера слишкомъ внимательно слѣдилъ за ея движеніемъ.

ніями, и стрѣла пролетѣла надъ нимъ безвредно. Для бѣдной дѣвушки было все потеряно, и вся дрожа отъ страха, она бросилась къ берегу рѣки.

— Боже! воскликнула она. Прости меня! Беззащитной, окруженней сердцемъ и духомъ, маѣ лучше предстать передъ моимъ отцемъ чистою и непорочною, чѣмъ умереть отъ стыда и позора.

Клара добѣжала до окраины берега, преслѣдуемая Ганджерою, и уже чувствовала на плечѣ его руку, чувствовала на щекѣ его дыханіе; но съ нечеловѣческой силой вывернулась изъ-подъ руки дикаря и далеко прыгнула въ истокъ.

Волны закрутили ее и быстро отнесли отъ берега...

ГЛАВА IV.

Спасеніе.

Мы оставили смѣлаго и благороднаго „охотника стремянъ“ въ его вигвамѣ, когда онъ поклялся у ложа раненаго миссіонера — отомстить жестокосердому вождю Чокуфовъ. Миссіонеръ заснулъ глубоко но ночныхъ событія отгоняли сонъ отъ глазъ охотника, и онъ подумалъ, что — можетъ быть — свѣжій воздухъ разсѣть тяжелыя впечатлѣнія послѣднихъ часовъ.

Выйдя изъ своего вигвама, онъ постучался въ другой, по сѣдству, и на его зовъ вышелъ молодой индіецъ, лѣтъ двадцати. Охотникъ попросилъ его присмотрѣть за старымъ миссіонеромъ, и юноша тотчасъ-же согласился, выслушавъ всѣ обстоятельства дѣла.

Подведя своего товарища къ ложу миссіонера, Зооле приказалъ отнюдь не впускатъ никого въ вигвамъ, взялъ карабинъ и пошелъ къ водопадамъ. Тяжелымъ камнемъ лежала у него на сердцѣ участъ миссіонерской дочери, потому что онъ любилъ бѣдную дѣвушку такъ-же чисто и свято, какъ горячо и искренно.

Съ растерзанной душой, ничего не замѣчая вокругъ себя, онъ шелъ и думалъ: какъ ему счастіи бѣдную дѣвушку отъ руки Ганджера и возвратить отцу?

Встрѣть онъ Ганджеру одного, — онъ не задумался бы отомстить ему за зло, нанесенное старику и его дочери; но идти къ нему съ укорами въ вигвамъ было-бы крайне неблагоразумно: племена Охотника и Ганджера жили въ мирѣ, а скора вождей повела-бы къ

немиствуемому разрыву и кровавой схватки между Дакотами и Чокуфами.

— Нѣть, раздумывать охотникъ, нѣть: Зооло не слѣдуетъ открыто требовать блѣднолицой дѣвушкѣ изъ вигвама Ганджерѣ: вождь обратится къ вѣсколькимъ воинамъ своего племени и они помогутъ ему въ его чѣрномъ и зломъ дѣлѣ. Встрѣтиться лицомъ къ лицу съ Зооло онъ не посмѣеть, онъ, побѣдоносно похитившій дѣвушкѣ; а сердце его такъ черно и жестоко, что онъ лишилъ дочь миссіонера всакой возможности вырваться на свободу. Но Зооло не отклонится отъ своего намѣренія: онъ будетъ подстерегать врага изъ своего вигвама, онъ будетъ ходить по его слѣдамъ, и, когда они сойдутся съ глазу на глазъ, Ганджера пойметъ, что охотникъ Зооло умѣеть уважать справедливость и права, умѣеть и противоборствовать насилию, низости и злу.

Охотникъ погрузился въ глубокую думу и тихо шелъ по берегу, изрѣдка поглядывая разсѣянно на воду.

Не любовался онъ, какъ прежде, игрою серебряныхъ лучей мѣсяца на волнахъ: его душа парила надъ вигвамомъ Ганджерѣ и неизримо охраняла Клару отъ всякой бѣды, какая могла представиться его воображенію.

— И что-же! шепталъ онъ про себя, крѣпче сжимая карабинъ: неужели Зооло знаетъ, что его милая въ опасности и не стремится ей на помощь? Неужели безощадный Чокуфъ восторжествуетъ надъ беззѣнной для Зооло дѣвушкѣ, и Зооло не попытается спасти ее. Развѣ охотникъ сдѣлался трусомъ, что стоитъ здѣсь, а не передъ вигвамомъ Ганджерѣ? Или промолчить его карабинъ, выѣсто того, чтобы пронзить огненнымъ ударомъ сердце Чокуфа? Нѣть! Зооло не будетъ празднымъ, и не промолчить его карабинъ. Охотникъ переплынетъ рѣку, отыщетъ вигвамъ Чокуфа, спасеть блѣднолицую дѣвушкѣ и убѣть презрѣнаго оскорбителя чести цѣлаго племени и имени индійца!

Опѣ повернуль назадъ, къ тому мѣсту, гдѣ лежала его лодка, какъ вдругъ первый лучъ свѣта пронзилъ ночные туманы, а вмѣсть съ тѣмъ и новыя мысли запали въ голову Зооло.

— Можетъ быть, думалъ онъ, пока свѣжій вѣтерокъ обвѣвалъ ему горячее лицо, можетъ быть, Ганджера не унесъ блѣднолицой дѣвушкѣ къ себѣ въ вигвамъ, а ежели и унесъ, солнце будетъ уже высоко на небѣ, къ гда охотнику дойдетъ до селенія Чокуфовъ. Да-коту узнаютъ и спрячутъ отъ него дѣвушкѣ, и заботы его проца-

дуть даромъ. Охотникъ долженъ выждать, когда скатится темный туманъ и въ лѣсу зарычитъ пантера: тогда, незримо и неслышно, онъ пойдетъ къ вигваму Ганджера. Будетъ онъ пока смотрѣть на быстрыя струи потока: веселить онъ сердце печального охотника, а грохотъ мощныхъ водопадовъ — музыка для его уха. Блѣдное лицо говоритъ, что это музыка природы, славящей громовымъ голосомъ чудныя дѣла Великаго Духа!..

И онъ, дикий сынъ лѣсовъ, невоспитанный, необразованный, онъ признавалъ бытіе силы, высшей, чѣмъ сила человѣческая? Кроткія поученія пастора, вражденная наклонность къ мышленію и красоты дикой, невоздѣланной природы, окружавшей его отъ самой колыбели, раскрыли ему духовныя очи, и онъ съ изумленіемъ и благоговѣніемъ всюду прозрѣлъ Верховнаго Даятеля всѣхъ благъ.

Онъ стоялъ и гладѣлъ на переливный цвѣтъ волнъ, какъ солнце вдругъ бросило на нихъ радужный снопъ своихъ лучей. Яркій дневной цвѣтъ разлился по землѣ, пробудилъ дремавшую природу и возвзвалъ ее къ радостной жизни.

Пернатые пѣвцы слили свои голоса въ одну мелодію; воздухъ вѣялъ утреннимъ ароматомъ, освѣжалъ и нѣжилъ чувства. Колибри порхали съ дерева на дерево, съ цвѣтка на цвѣтокъ, и такъ была вѣжна ихъ жужжащая пѣсенка: бѣлки прыгали и играли на солнцѣ, а ясный день гналъ далеко-далеко ночные туманы.

Охотникъ все еще стоялъ въ раздумьѣ; величавый его станъ ясно обозначался въ рамкѣ лучей; взоръ его былъ устремленъ по ту сторону рѣки, къ вигваму Ганджера.

Мысли его, на время разсѣянныя окрестными видами, снова сосредоточились на блѣднолицой дѣвушкѣ и на средствѣ вырвать ее изъ рукъ Чокуфа. Но тщетно усиливался онъ придумать вѣрный планъ для ея спасенія. Онъ сѣлъ на скалу, опустилъ голову на руки и глубоко задумался.

— „Безполезно будетъ,“ шепталъ онъ, обращаться съ просьбою о помощи. Дакоты и Чокуфи въ мирѣ. Они не рѣшатся подвергнуться случайностямъ битвы за дочь бѣлого человѣка: и такъ много нашихъ молодыхъ воиновъ пало въ бою, пало, правда, не безъ отмѣтки, но наши старики не согласятся объявить войны Чокуфамъ за то, что ихъ вождь нарушилъ права гостепріимства передъ чужеземцемъ. Они скажутъ, что не ихъ дѣло сражаться за пришельцевъ изъ далекихъ сторонъ: — будеть съ нихъ битвѣ и за смихъ себя, когда чужое племя завладѣбѣтъ ихъ землею, или уго-

нить ихъ быковъ, или похитить ихъ женщинъ. Нѣтъ: Зооло будетъ бѣться одинъ за блѣднолицую дѣвушку!"

Онъ всталъ и хотѣлъ спуститься со скалы, чтобы вернуться въ свой лагерь, какъ вдругъ до него долетѣлъ по водѣ, вмѣстѣ съ вѣтеркомъ, слабый и жалобный крикъ.

Охотникъ пристально поглядѣлъ кругомъ, въ надеждѣ узнать — откуда донесся этотъ крикъ? — но не видалъ ничего, кроме прыгавшихъ по волнамъ солнечныхъ лучей.

Онъ сталъ внимательно прислушиваться: ничего... Изредка слышались пѣсю птицъ, да шумъ воды — и опять тишина. Еще разъ онъ спускался со скалы и еще разъ повторился тотъ же крикъ. Сердце Охотника билось сильно и, Богъ вѣсть, — почему — всемъ его существомъ овладѣло странное ощущеніе. Онъ упорно глядѣлъ на волны, убѣжденный, что звукъ вылеталъ изъ нихъ.

Долго и тоскливо глядѣлъ онъ въ потокъ, перевитый съ солнечными лучами и уносившійся съ ними въ шумной пляскѣ, и глядѣлъ ненапрасно: внизъ по рѣкѣ, на довольно далекомъ разстояніи, къ нему быстро подплывалъ какой-то предметъ.

— „Вѣтъ тамъ," прошепталъ онъ: „что-то такое несется по потоку прямо сюда. Что это можетъ быть! солнце и вода такъ осѣдили Охотника, что онъ ничего не можетъ разглядѣть... А!" прибавилъ онъ, когда предметъ подплылъ ближе: „это человѣкъ... Чья нибудь лодка опрокинулась и отдала своего пловца на волю потока... Помоги мнѣ, Великій Духъ, спаси бѣдняжку, кто-бы онъ ни былъ: попадеть въ струю — и тогда пропалъ!"

Онъ глядѣлъ на плывущій предметъ изъ подъ руки: солнечные лучи словно клубились и взметывали волны передъ его ослѣпленными глазами, и засирали все кругомъ зеленоватой пеленою.

— „А!" вскричнулъ Зооло, глядѣвшій пристальнѣе: „это женщина, и женщина блѣднолицая... Неужели это дочь бѣлаго человѣка, похищенная Чокуфомъ. Да, это должна быть она!... О, Великий Духъ, дай силы Охотнику спасти ее отъ быстрину!"

Какъ безумный, сбѣжалъ онъ со скалы и полетѣлъ вдоль берега на встрѣчу утонавшей дѣвушки, все еще уносимой волнами въ самую быстрину.

— „Если Эй подводная скала задержитъ ее на мгновеніе, еще есть надежда на спасеніе!" говорилъ Зооло, устремивъ взоры на поднимавшуюся изъ воды низкую скалу: волны бѣшено разбивались о нее и отбѣгали къ берегу. — „Да нѣтъ," продолжалъ онъ со вздо-

домъ: „волна промчить ее мимо, и тогда уже никому не счасти ея, кроме Великаго Духа“.

Вдругъ его озарила нежданная мысль, и онъ быстро побѣжалъ по берегу къ огромному дереку, далеко нависшему надъ водою своими вѣтвями.

— „Если потокъ понесеть блѣднолицую по эту сторону скалы,“ подумалъ онъ: „волны ударятся въ камень и сначала отбѣгутъ къ берегу, чтобы потомъ вновь устремиться отъ него къ водопадамъ... Если бы это случилось такъ, рука Охотника не напрасно протянулась бы на помощь блѣднолицой, и сердце бѣлого человѣка не разбилось бы отъ горя, при печальномъ разсказѣ индійца!“

Клара все еще плыла впередъ: ее поддерживало на водѣ платье, раздутое воздухомъ въ тотъ самый мигъ, когда, спасаясь отъ преслѣдовавія Ганджеры, она кинулась въ волны. Уже близко была она отъ скалы: еще насколько мгновеній — и ея судьба должна была решиться.

Индіецъ съ ироворствомъ кошки вскарабкался на стволъ, схватился за самую дливную вѣтвь и доползъ до ея верхушки. Подъ тяжестью его тѣла, вѣтвь наклонилась футовъ на шесть отъ поверхности воды, отразившей образъ Охотника въ своемъ кристальномъ зеркалѣ.

Зооло смущила мысль, что эта вѣтвь оторвется отъ ствола, рухнетъ съ нимъ въ воду и вмѣстѣ съ ней потонетъ послѣдняя надежда — спасти блѣднолицую дѣвушку.

Ближе и ближе подныривала Клара: волны несли ее прямо на скалу и грозили разбить въ дребезги; но въ насколькихъ футахъ отъ камениной гряды вдругъ остановились и словно замерли. Замерло въ этотъ мигъ и дыханіе у Зооло: но разомъ отпрянули отъ скалы волны, словно ихъ оттолкнула незримая рука, и бѣшено помчались съ Кларой къ берегу. Радостный вздохъ облегчилъ грудь Зооло. Быстро свѣсился онъ съ вѣтви, держась за нее одними ногами, и голова его едва не коснулась воды. Одно невѣрное движеніе — и онъ погибъ бы, одно мгновеніе нерѣшимости — и Кларѣ не было спасенія...

Но Клара проносилась мимо — рука индійца сверкнула молнией и мощно схватила дорогую добычу.

Зооло притянулъ дѣвушку къ себѣ, — и только сверхъ-естественная сила, только дикарь — исполинъ могли совершить такое чудо: несмотря на тяжесть намокшаго платья, не смотря на свое отчаянное положеніе, Зооло приподнялся самъ и приподнялъ дѣвушку до спа-

сительной вѣтви, тихо спустился до корня дерева, положилъ свою безчувственную ношу на землю, и падъ въ изножевіи къ ногамъ Клары.

ГЛАВА V.

Любозъ и опасность.

Какъ только Ганджера увидалъ, что отчаянная Клара кинулась въ потокъ, первымъ его движеніемъ было—броситься вслѣдъ за нею и вырвать ее изъ жадныхъ объятій волнъ. Но онъ мгновенно одумался и понялъ все безразсудство такого поступка и всю невѣрность успѣха: онъ былъ могучій пловецъ, да врядъ-ли удалось бы ему настичь Клару, потому что рѣка дробилась на множество струй, и самыя опытные и ловкіе индійцы со страхомъ вѣрялись ихъ быстринѣ, и съ большимъ трудомъ торжествовали надъ притягательною силою водопадовъ.

Въ безумной яности отъ утраты своей добычи, Ганджера скрежеталъ зубами и ломалъ себѣ руки, такъ что кровь выступала изъ подъ ногтей. Онъ поднялъ брошенный Кларою на берегу лукъ, и, проклиная себя за оплошность, побѣжалъ вдоль берега рѣки, вслѣдъ за волнами, уносившими Клару.

Всякая попытка счасти ее была теперь бесполезна: струя несла Клару по самой серединѣ потока, и дѣвушкѣ не было никакой надежды—избѣгнуть водопадовъ, низвергавшихся въ кипучее озеро.

Индіецъ превратилъ напрасную погоню, остановился и глядѣлъ вслѣдъ Клары. Онъ видѣлъ, какъ ее крутило и мчало впередъ; но она ни разу не погрузилась: платье, надутое воздухомъ, держало ее на водѣ. Клара была утрачена для него на всегда: мощныя волны обручились съ ней, и одно воспоминаніе о ночной неудачѣ осталось Ганджерѣ за его коварство, преступленіе и низость.

Слѣдя глазами за Кларой, индіецъ замѣтилъ, что какой-то предметъ, выдавшійся изъ воды, загораживалъ путь волнамъ. Снова ринулся онъ впередъ, все еще въ надеждѣ—не утратить своей жертвы безвозвратно. Но тѣлько дѣвушки оставалось недвижимымъ на водѣ только одно мгновеніе: платье Клары; казалось, запуталось во что-то, но тотчасъ-же мощный потокъ оторвалъ ее и быстро умчалъ къ противоположному берегу.

Чѣмъ слабѣе и слабѣе мелькалъ лучъ надежды, тѣмъ сильнѣе раздавались проклятія Ганджеры. Онъ разглядѣлъ склону, пересѣ-

кавшую потокъ, увидаль Клару въ двухъ шагахъ сть каменъевъ, грозившихъ раздробить ее въ атомы, и потерялъ ее изъ виду. Онъ отвернулся и затаилъ дыханіе; корча сжала ему каменное сердце, и каждое мгновеніе ожидалъ онъ послѣднаго крика погибшіей на опѣненныхъ каменъяхъ Клары.

Нестерпимо болѣзненіе заняло его сердце, и онъ поднялъ взоръ къ небу. Въ этотъ самый мигъ онъ увидѣлъ, что Зоюло приподнимается къ себѣ на дерево безчувственную дѣвушку, и закрылъ отяжелѣвшіе отъ боли глаза.

Ганджера отвернулся отъ рѣки и задумчиво пошелъ къ своему вигваму, проклиная себя и за то, что падъ нимъ часмѣялась блѣдно-лицая, и за то, что не удержалъ ее на берегу.

Дойдя до вигвама, онъ кинулся на ложе и отдался тяжелымъ думамъ.

Въ головѣ его сталкивались различные мысли: овъ и радъ былъ, что Клара жива, и досадно было ему, что она вырвалась изъ его рукъ. Одно мгновеніе онъ приходилъ въ восторгъ при мысли обѣ ея спасеніи; другое — дрожалъ отъ бѣшенства, что волны не поглотили ея, если уже не могли пристти назадъ въ его объятія.

— Но она жива, проговорилъ онъ вставая съ ложа, она спаслась, и теперь должна быть любовницей Ганджера... А ежели она досталась чужому племени... Такъ что-же! Чокуфы объявила войну, если блѣднолицая не будетъ имъ возвращена. Ганджера водилъ своихъ воиновъ въ битву за менѣе важные предлоги. Онъ потребуетъ блѣднолицую, и, если получитъ отказъ, его воинскій крикъ пронесется отъ лѣсовъ до озеръ, и его томагоукъ, тяжело упадетъ на голову врагамъ. Но, продолжалъ онъ, солнце уже высоко на небѣ, а воинъ еще не ложился спать; онъ усталъ и члены его ослабѣли. Онъ отдохнетъ немного, и когда его тѣло окрѣпнетъ и мозгъ его остынетъ, тогда онъ проявить всю свою силу, если ему откажутъ...

Онъ снова бросился на ложе, и, утомленный событиями ночи, крѣпко заснулъ.

Быть уже полдень, когда Ганджера проснулся, всталъ съ ложа и припомнилъ все, что случилось ночью и раннимъ утромъ.

Теперь голова его простыла и онъ могъ разсуждать спокойнѣе. Не теряя надежды на обладаніе Кларою, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ понялъ — какъ безумно было первое его намѣреніе — вытребовать блѣднолицую дѣвушку открыто: легко могло случиться, что подобное требованіе поставило бы и его самого, и все его племя въ весьма затруд-

ищительное положение. Поэтому онъ рѣшился посѣтить Крели и другихъ старшинъ, вызвавшихся помочь ему въ коварномъ похищеніи дѣвушки изъ отчаго дома. Онъ надѣялся что ихъ совѣты укажутъ ему вѣрное средство — вновь овладѣть Кларою.

Съ этой цѣлью онъ навѣстилъ своего товарища, засталъ его дома, и пригласивъ еще нѣсколькихъ дикарей, рассказалъ имъ все, какъ было, и терпѣливо ожидалъ ихъ отвѣта.

— Ганджера, сказать Крели, мы обѣщали помочь тебѣ, а Чокуфъ всегда вѣренъ своему слову. Но твоё нетерпѣніе овладѣть блѣднолицей погубило все. Подѣжалъ бы ты нашей помощи, мы бы либо подѣлились съ тебѣ и отвратили бы бѣду. Теперь намъ остается поправить твою ошибку.

— Научите, какъ мы снова овладѣть блѣднолицой? крикнулъ Ганджера. Я поклялся великимъ Духомъ, что она испытаетъ на себѣ и власть мою, и мѣсть. Я поклонился ей моей любовью, — она отвергла ее съ гнѣвомъ: пусть же теперь узнаетъ, что такое ненависть Ганджеры!

— Ганджера! замѣтилъ одинъ изъ индійцевъ: ты говоришь нехладнокровно и не разсудительно: — тебя осѣнила страсть. Ты говоришь, что хочешь овладѣть блѣднолицой: если такова твоя воля, выбирай-же средства исполнить ее — благоразумныя и безопасныя. Слушай, еле встало солнце падь лѣсомъ и озолотило горячими лучами воды; я былъ уже въ чепокѣ и переправился на другую сторону рѣки. Прошло не много времени, какъ я увидалъ Зооло, дакотского охотника; онъ несъ па рукахъ безчувственную блѣднолицую девушку. По ея мокрому платью, я догадался, что она вытащена изъ воды; руки ея были исцарапаны, какъ-будто о подводные камни. Нѣть сомнѣнія, что эта та, кѣмъ ты желаешь овладѣть... Но Зооло храбръ, Зооло защищаетъ бѣлага человѣка, радушно введенѣть его dochь въ свой вигвамъ, и откажется выдать ее намъ. Ганджера тебѣ не слѣдѣть — раздражать Дакотовъ, твоимъ требованіемъ: они не послушаютъ твоего голоса, ежели Зооло противъ тебя. Зооло любитъ своимъ племенемъ: онъ поголовно встанетъ, или падеть за него.

— Но блѣднолицая должна быть мою! крикнулъ Ганджера, яростно топнувъ ногою. Я поклялся Великимъ Духомъ и сдержу мою клятву.

— Потерпи немногого, сказылъ Крели, — и блѣднолицая будетъ въ твоихъ рукахъ. Пусть солнце встанетъ и сядетъ семь разъ: мы

тогда перевьемъ рѣку и возьмемъ блѣднолицую изъ вигвама Зооло. Теперь насть ждеть одна неудача и напрасная твѣвога. Переждемъ недѣлю,— и успѣхъ за нами. Такъ и знай, и прійми мой совѣтъ.

— Хорошо! сказац Ганджера, помолчавъ и обдумавъ слова Крели: твой совѣтъ хорошъ. Семь разъ встанетъ солнце,— и тогда мы отправимся за беспечной блѣднолицей дѣвушкой, и испытаетъ она всю власть Ганджеры.

Проговоря эти слова, онъ простился съ друзьями и вошелъ въ свой вигвамъ. Тѣмъ временемъ, Зооло, очнувшись отъ обморока, поднялъ на руки Клару и понесъ ее въ свой вигвамъ.

Старый миссіоннеръ также очнулся на мѣховомъ ложѣ, оправленномъ ему услужливымъ индійскимъ юношою.

Какъ описать радость сѣйшего старика, когда онъ увидалъ свою дочь?

Глядя на поблѣднѣлое лицо своей Клары, онъ только пожималъ руку молодого Охотника.

— Услышаны молитвы старика! проговорилъ онъ: возвращено ему дитя. Зооло, да будетъ надъ вами мое благословеніе, вы поступили,,

— Какъ повелѣлъ мнѣ Великій Духъ,— для чести моего племени и для спасенія бѣлаго человѣка... Охотника благодарить не нужно: онъ сумѣлъ себя наградилъ.

Клара недолго оставалась въ безчувствіи: открыла глаза, прыгнула на шею къ отцу и зарыдала... Слезы заменили ей слова.

Охотникъ улыбался, глядя на отца и на дочь, а когда Клара бросила на него благодарный взглядъ, отвернулся и вышелъ изъ вигвама, сказавши:

— Я пришлю къ вамъ одну изъ нашихъ женщинъ. Въ моемъ вигвамѣ вы можете спать спокойно и не бояться: Зооло силенъ и племя его храбро.

— Благородное сердце, великодушный человѣкъ! сказала Клара подходя къ своему отцу. Батюшка, мы его неоплатные должника.

— Справедливый Богъ заплатитъ ему, отвѣтилъ старикъ. Смѣлый его поступокъ отмѣченъ Тѣмъ, Кто благословляетъ защитниковъ слабыхъ отъ сильного.

Прошла недѣля, — цѣлая недѣля! Кажется, времени не много, а сколько было перемѣнъ, и сколько ихъ кануло въ вѣчность?

И дѣйствительно. невообразимо перемѣнилась Клара Уильямансъ,

хотя и выздоровление старого миссionера, благодаря уходу дочери и дѣвственаго сына лѣсовъ, было также невообразимо.

Вечеръло. Солнце золотило и багровило западъ, бросая на землю фантастическая тѣни, а пернатыя пѣвицы пожелали ему прощальныи гимномъ доброй ночи, и запрятали головы подъ крыло, въ ожиданіи, что и завтра тоже селице возвѣстилъ имъ новое утро.

На порогъ вигвама сидѣли Зооло, Клара и ея отецъ. Едва оправившися старикъ все еще былъ слабъ и его беспокоила рана, нанесенная Ганджерою. Благоговѣйно и долго смотрѣлъ онъ на румяный закатъ наоненецъ утомился, обнялъ дочь, пожалъ руку Зооло, и ушелъ спать.

Клара и Охотникъ остались одинн.

Клара не поднимала глазъ и упорно глядѣла въ землю; Охотникъ не сводилъ взоровъ отъ солнечнаго заката и только изрѣдка поглядывалъ на задумчивую девушку. Оба они были погружены въ глубокія думы; молчаніе становилось тягостно и всемѣстная тишина нарушилась только плескомъ водопада, да шелестомъ крылья птицы, пробужденій ночнымъ мотылькомъ.

Зооло первый нарушилъ молчаніе. Пристально поглядѣлъ онъ на Клару и промолвилъ:

— Волики дѣла Великаго Духа! Посмотрите, какъ хороши за-каты! послушайте, какъ звучно говорятъ воды...

— Да, прошептала Клара, и снова задумалась.

Зооло отвернулся и тяжело вздохнулъ.

Клара услыхала этотъ вздохъ, и словно подъ унисономъ, грудь ея заколебалась отъ такого-же глубокаго вздоха.

Давно уже знала и уважала она молодого Охотника. Его дружеская почтительность къ ней и къ ея отцу, его самоотверженность при спасеніи старика изъ пламени, а ея самой изъ челюстей близкой и страшной смерти — заставили Клару, хотя и не созналась бы она, полюбить индійца. Слѣдуетъ при этомъ припомнить, что все таки она была европейкою, образованною женщиной, случайно закинотою въ чуждую даль, и сколько ей было нужно силъ, чтобы, вопреки предразсудкамъ, соединить свою судьбу съ судбою невоспитаннаго, необузданнаго дикаря?

Объ этомъ-то и думала Клара, изрѣдка поглядывая на мужественный обликъ молодого индійца.

Но о чёмъ думалъ Зооло?.. Думалъ и онъ, что напрасны были бы его надежды на взаимность бѣднолицей, и что разстояніе между

вить и Кларой слишкомъ велико. Опъ, никогда не склонявший гордой головы ни передъ одной изъ своихъ одноплеменницъ, чувствовалъ, что готовъ за одно слово, за одну улыбку, за одинъ взглядъ Клары, пасть къ ея ногамъ.

Но, передумывалъ онъ самъ съ собою: пусть блѣднолицая и не любить Охотника все же она не разсердится на его горячую любовь: не сгонить со спокъя его румяница, не остудить сердца холоднымъ презрѣніемъ. Нѣть, нѣть! слишкомъ добра она, слишкомъ мила: пожалѣть человѣка хотя-бы за то, что счастъ и ея отца, и самое ее отъ смерти.

Онъ обернулся, поглядѣлъ прямо въ лицо дѣвушки, взялъ ее за руку и проговорилъ взволнованнымъ голосомъ:

Хочеть блѣдное лицо послушать краснокожаго?

— Да, отвѣтила Клара, очнувшись: говорите Зооло! Я ваша вѣчная должница.

— Блѣднолицая добра, продолжалъ охотникъ, а краснокожій благодаренъ. Но онъ боится говорить...

Не бойтесь, возразила Клара: не можетъ быть ничего такого, чего-бы я отъ васъ не выслушала.

Рука индійца нервически дрогнула въ ея рукѣ, и тихо, и не-рѣшительно сталъ онъ говорить:

— Клара! когда бѣлый человѣкъ, вашъ отецъ, сталъ сзыывать дѣтей лѣсовъ, чтобы передать имъ завѣты Великаго Духа, уши Зооло чутко раскрылись и вся его душа была потрясена удивлеіемъ. Ежели индійцы смеялись подъ часъ надъ рѣчами бѣлаго человѣка, Охотникъ былъ всегда первымъ его защитникомъ...

Увидалъ Охотникъ дочь бѣлага человѣка, и пала тоска на сердце Охотника: понялъ онъ, какъ блѣднолицая лучше всѣхъ его родныхъ дѣвушекъ и молила Великаго Духа—превратить его въ бѣлага человѣка, чтобы могъ онъ любить безъ страха и надѣяться... Пыталъ онъ задѣшить въ себѣ сердце, позабыть про блѣднолицову, бродиль по лѣсу, и по степи: нѣть! Подниметъ съ логова пантеру, а ее и заслонить лицо бѣлой дѣвушки, и свинецъ пролетить мимо. Вѣтеръ шелохнетъ листьями — голось блѣднолицой; рѣка отражаетъ ее, небо говорить про ея красоту.

Опостылѣла Зооло охота, стала онъ бродить около дома бѣлага человѣка, и все — для чего? не увидить-ли, не услышить-ли дѣвушки, а если и нѣть—будетъ къ ней близко—близко...

— Клара! шепнулъ онъ еле слышно, и грудь его заволнова-

лась: Клара! краснокожий вась любить! Зооло жаждеть и охотиться, и жить для васъ, и биться и умереть за васъ!

Крѣпко пожалъ онъ руки Клары и поглядѣлъ на нее такимъ глубокимъ, такимъ задушевнымъ взоромъ, что она опустила глаза и не могла произнести ни слова.

Еслибы и сомнѣвалась она въ любви Охотника, — сомнѣніе исчезло. Слова и взоры индійца горѣли страстью, а Клара молчала.

— Не想要 мнѣ отвѣтить блѣднолицая? спросилъ Зооло, переждавъ. Станетъ она плести мокасины Охотнику, или слова его уязвили ее?

— Нѣть Зооло! прошептала она: нѣть! не уязвили меня ваши слова...

— Стало быть, крикнуль онъ радостно, стало быть, Охотника...

— Любать! перебила Клара, припавъ на грудь Зооло.

Горячими объятіями и долгимъ поцалуемъ отвѣтилъ Зооло: онъ обезумѣлъ отъ блаженства...

Солнце сѣло; блѣдные лучи мѣсяца брызнули на рѣку; стихло; задремали и лѣсь, и степь; вѣтерокъ вѣялъ ароматами съ тысячи цвѣтовъ на золотые кудри дѣвушки; вдали гудѣли водопады.

Вдругъ молодой Охотникъ вскочилъ, наклонился всѣмъ станомъ впередъ и сталъ прислушиваться.

— Что ты? спросила Клара: это шумятъ лѣсь, да рѣка.

— Бѣлое лицо ошибется, а Охотникъ никогда: чутокъ онъ къ лѣснымъ звукамъ. У птицы въ воздухѣ, у пантеры въ трущобѣ, у змѣи въ травѣ, — у всѣхъ свои звуки, знакомые дѣтямъ степей... Прозвучало теперь ни то, ни другое, ни третье: прозвучалъ воинскій рогъ моего племени.

— Я ничего не слышу, замѣтила, вслушиваясь, Клара.

— Вотъ онъ опять долетѣлъ, словно крикъ ночной птицы... Чу?.. продолжалъ онъ, припавъ ухомъ къ землѣ. Развѣ не слышно?.. Все ближе и ближе гроза на мое племя.

— А почти всѣ молодые воины на далекой охотѣ: что же дѣлать? спросила поблѣдѣвшая Клара.— Да не ошибся-ли ты...

— Блѣднолицая нашихъ не знаетъ: росли въ лѣсу; баюкала буря, да вой дикихъ звѣрей: неужели-же будуть не на готовѣ при всякомъ шорохѣ и не слышать съ какого небеснаго угла подулъ вѣтеръ?.. Вотъ этотъ звукъ съ востока, а наши на западѣ, гдѣ солнце ложится спать... А! крикнуль онъ вдругъ: видишь: — пригасѣть пантерой? Слышишь: — осторожасть?

— А ежели добрыя вѣсти?

— И не думай: пустился къ намъ со всѣхъ ногъ... Не-ладно!

Дѣйствительно: по степи мчался газелью какой-то индіецъ. Поровнявшись съ Зооло, онъ ударилъ лукомъ о-земь и проговорилъ запыхаясь:

— Чокуфы перебиваются вѣслами рѣку... Ганджера вождемъ... На насть плывутъ... Живо на встрѣчу, пока не вспыхнули вигвамы, и не заплакали плѣнныя скоу. *)

И пробѣжалъ мимо — поднять съ ложа всѣхъ, кто не отправился на охоту.

Мигомъ всеполошилось селенье: мужчины схватились за томагоуки и ножи; женщины бѣгали взадъ и впередъ, рыдаю обѣ отсутствіи молодыхъ воиновъ.

Зооло поднялъ одною рукою съ ложа миссіонера, другою ухватилъ Клару, и, тоскливо поглядѣвъ имъ въ лицо, сказалъ:

— Надо разстаться, и храни васъ Великій Духъ! Чокуфы напали насть врасплохъ, — Ганджера впереди: спасайтесь отъ ихъ рукъ.

— О, не покидай насть, умоляла Клара. Останься съ нами Зооло!.. Въ силахъ-ли мой бѣдный, слабый отецъ бѣжать и скрыться въ степи.

— Я дамъ коня: онъ у меня цѣль, потому-что индіцы не мѣшаютъ въ свою вражду животныхъ... Скачите скорѣй! Я долженъ васъ оставить: видите — всѣ наши воины въ строю, а Чокуфы — подъ рукой...

Онъ быстро отошелъ отъ нихъ, но еще быстрѣй вернулся, ведя подъ узду осѣдланную кровную кобылу.

— Скорѣй! крикнулъ онъ, вскинувъ на спину благороднаго животнаго Клару и, приподнявъ на сѣдло старика, сунулъ ему въ руки уздечку.

— Въ степь, въ степь! говорилъ онъ: въ степи Чокуфъ не найдеть васъ, а — не сядеть еще солнце, — найдеть васъ Дакота.

Зооло! сказала дѣвушка со слезами. Солнце сядеть, а гдѣ будетъ Зооло?

— Подлѣ тебя, если Дакоты по прежнему храбры. Не бойся: самъ Великій Духъ за мое племя, а у насть и ножи остры, и голово-ломы тяжелы.

— Да вѣдь васъ мало, а Чокуфовъ много, замѣтилъ старикъ.

*) Скоу — женщина.

— А не самъ ли бѣлый человѣкъ говорилъ, что Великій Духъ укрѣпляетъ десницу праваго и ослабляетъ мышцы виноватаго?

— Правда отвѣчалъ мистеръ Уилльямсъ: надѣюющіеся на Мя да не погибнуть.

— И такъ, покончилъ индѣцъ: ты — въ степь, а Зооло — въ бой... Хранить насъ Великій Духъ, и Дакоты навѣрно повѣсять на пояса чубы Чокуфовъ.

ГЛАВА VI.

Степной пожаръ.

Мигомъ опустѣла деревня: женщины и дѣти бѣжали, а Зооло быстро, но тайно и неслышно, отвелъ своихъ воиновъ на встрѣчу Чокуфовъ, какъ можно было дальше отъ вигвамовъ.

Старикъ — миссионеръ и Клара пѣскакали въ степь. Давно уже скрылось изъ виду селенѣе Дакотовъ, какъ дѣвушка случайно оглянулась и чуть было не обмерла со страха: подъ тѣнью деревьевъ, по одной съ нею и съ отцемъ дорогѣ, двигались живыя тѣни туземцевъ, видимо враждебныхъ.

Клара разсудила, что лучше не говорить объ этомъ старику, а заставить его — погонять кобылу. Такъ и стало: животное только что не полетѣло надъ землю съ двойнымъ своимъ бременемъ.

— Только бы лѣсь миновать, думала Клара, и мы спасены, Ганджеръ, если-бы онъ, — оборони Господи, — и побѣдилъ, въ голову не пріѣдетъ — искать насъ по стѣпи.

Дальше и дальше неслась кобыла, — ближе и ближе надвигался спасительный кровъ.

Вдругъ опять пронесся въ воздухѣ крикъ дикарей, уже слышанный Кларой,

— Что это за крикъ? спросилъ старый миссионеръ, съ труdomъ удержавшись на внезапно осажденной лошади.

Прежде, чѣмъ Клара успѣла отвѣтить, крикъ повторился справа, будто въ отвѣтъ на первый.

— Господи! крикнула испуганная дѣвушка. Мои подозрѣнія оправдались, насъ окружили. Сначала крикнули сзади насъ, и пошли вѣсть переднимъ. Отецъ, отецъ! лѣвѣе, лѣвѣе!.. Это единственная наша надежда!

— Возложимъ упованіе на небо! отвѣтилъ стариикъ, направляя кобылу вѣво.

Въ ночной тиши ѿѣ ближе пронесся тотъ-же крикъ.

— Мы вержомъ,—не бойся, дитя мое: обгонимъ ихъ, ободрять стариикъ Клару.

Гляди, гляди! отозвалась Клара, ѿѣ разъ оглянувшись: гляди, отецъ! мы погибли!

И упала на плечо старика.

Мистерь Уильямъ также оглянулся и—кровь у него застыла.

— Господи! Дитя мое! Вотъ и все, что онъ могъ выговорить.

Когда, по просьбѣ дочери, онъ свернулся вѣво, степь разстилалась передъ ними и справа, и сзади, и спереди, на лѣво возвышались скалы, ирорытыя потоками.

Въ этомъ то ихъ положеніи, вызвавшемъ восклицаніе Клары, нозади нихъ всыхнула степь до самыхъ облаковъ.

Возвратиться назадъ или повернуть куда-нибудь въ сторону—не было никакой возможности.

— Впередъ, отецъ, впередъ! кричала Клара.

Стариикъ погонялъ кобылу, и летѣла она чутъ не на крыльяхъ вѣтра; да огонь-то летѣлъ быстрѣе ея. Настала страшная минута, и пасторъ обратился къ Богу съ горячей молитвой о спасеніи дочери отъ неумолимой стихіи.

Передъ нимъ степь скатывалась къ берегу рѣки, кое-гдѣ огороженной перелѣсками и скалами.

Къ этому-то берегу, на вдавшійся въ рѣку языкомъ мысъ, и направились бѣглецы; но достигнуть его можно было только лѣсомъ.

А между тѣмъ,—чѣмъ быстрѣе неслись они, тѣмъ быстрѣе погонялъ ихъ степной огонь, тѣмъ удушливѣе доносился по вѣтру дымъ.

Дорогая ихъ скакунья стала видимо изнемогать, и ужасъ ихъ удвоился.

— Погибли, погибли! воскликнула Клара, обливаясь слезами и за себя и отца.

— Нѣть не погибли: гдѣ жизнь, тамъ и надежда на нее! увѣщавалъ стариикъ.—Намъ не далеко и спасемся съ Божьей помощью.

Но съ этими словами осѣнило ему глаза новое планы, и черный дымъ хлынулъ на встрѣчу, такъ-что дыханье занялось. Лошадь сѣлась на заднія ноги и чутъ ихъ не сбросила. Оба крикнули отъ ужаса, и не напрасно: степь пылала и сзади и спереди; пламя кло-

котало и мело съ пути все, что ни встречалось; мириады искръ разсыпались по воздуху; дымъ стлался чернымъ, погребальныйный флеромъ.

Лошадь, словно пригвожденная къ землѣ громомъ, не могла тронуться съ мѣста.

— Боже мой! Боже мой! смилился надъ рабомъ Твоимъ! молился онъ шепотомъ.

Но какъ ни погонялъ онъ кобылы, все было по-напрасну; она дрожала, при видѣ страшной сцены разрушительного пожара, и стояла какъ вкопанная.

Клара не отчаялась и быстро накинула свою мантилью на голову лошади, а того только и надо было: не видя болѣе огня кобыла боязливо прыгнула впередъ; но Клара не могла сохранить равновѣсія и тогда-же что-то сдернуло ее мгновенно съ сѣда, и кобыла унеслась вдалъ съ однимъ старикомъ.

Клара будто-бы повисла между небомъ и землей удержанная какой-то незримою силою. Впрочемъ, о себѣ, тогда и не думала: взоры ея слѣдили за отцемъ. Спасительницей его могла быть только рѣка, но все ближе и ближе догоняло уставшую лошадь пламя пожара. Оставалось около сотни ярдовъ до рѣки: около сотни же ярдовъ оставалось и до огня.

Дымъ на мгновеніе юдко отуманилъ глаза Клары, и когда она могла взглянуть на что-нибудь, — и лошадь и сѣдокъ были задернуты огненной занавѣскою; но не на долго: раздоилась она, и за нею все еще мчалась къ рѣкѣ лошадь, только ужъ безъ сѣдока:

Огненная занавѣска задернула и глаза Клары; закружилась у неї голова, — задрожали всѣ члены, и покачнулась она, словно мертвая, при шопотѣ:

— Вотъ какъ погибаетъ бѣлый человѣкъ!.. Узнаеть-же теперь блѣднолицая и силу, и грозную месть краснокожаго!..

Дикий, пронзительный крикъ вырвался изъ губъ бѣдной дѣвушки, и безъ чувствъ она упала на руки Чокуфа Ганджера.

ГЛАВА VII.

Борьба на смерть.

Когда Клара упала въ обморокъ, Ганджера понесъ ее вверхъ по прибрежной, лѣсистой скалѣ, отклоняя рукою встрѣчныя вѣтви.

Лѣсъ былъ конечно знакомъ дикарю, чѣмъ старому миссионеру, и, обойдя окольнымъ путемъ степной пожаръ, онъ одновременно, но съ меньшою опасностью, прибылъ съ мистеромъ Уильямсомъ.

Конечно, его душилъ пожарный дымъ, но все таки онъ усилилъ добраться до заранѣе заготовленной имъ лодкѣ.

Ганджера снесъ на нее безчувственную Клару, взялъ весла и поплылъ по самой серединѣ потока.

Еле-еле почуялъ онъ, что попалъ въ быстрину, сзади него замѣяли нѣсколько лодокъ. Удивленный и испуганный тѣмъ, что эти лодки не могли принадлежать его племени, онъ напрягъ всѣ силы опередить ихъ, какъ можно болѣе: было ясно, что за нимъ плынутъ его враги, Дакоты, возврашивавшіеся изъ отдаленной охотничьей поѣздки.

И онъ не обманулся племя Дакотовъ возвращалось домой на лодкахъ, чтобы избѣгнуть степнаго пожара.

Ганджера налегъ на весла мощною рукою; но его быстро догонали, потому-что на каждый предѣдовавшей его лодкѣ было по шести веселъ.

Узнавъ въ своихъ преспѣдователяхъ Дакотовъ, приверженцевъ старого миссионера и его дочери, Ганджера упалъ духомъ.

Планъ Ганджеры овладѣть Кларою былъ хорошо обдуманъ: черезъ своихъ шпионовъ узналъ онъ, что большая часть молодыхъ дакотскихъ воиновъ отправилась на охоту—слѣдовательно, въ ихъ отсутствії, можно было напасть безбоязненно на селеніе Дакотовъ.

По этимъ-то соображеніямъ, пероправился онъ черезъ рѣку и велѣлъ своимъ людямъ вступить въ бой съ Дакотами, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ пороговъ, а съ горстью избранныхъ воиновъ самъ углубился въ степь. Имъ-то и поручилъ онъ зажечь кругомъ лѣса сообразивъ, что Зооло, съ остаткомъ племени, кинется на встрѣчу главной толпѣ Чукуфовъ и оставить Клару и ея отца беззащитными.

По этому-то такъ усиленно налегалъ онъ на весла, поджидаль встрѣтить своихъ соплеменниковъ — побѣдителей; но надежды его были обманутыми. Нѣсколько изъ возврашившихся Дакотовъ подняли мистера Уильямса въ то самое мгновеніе, какъ онъ былъ сброшенъ съ сѣдла и чуть не задохнулся отъ дыма, и узнали отъ него всѣ обстоятельства дѣла.

Посадивъ старого миссионера въ одну изъ своихъ лодокъ, Дакоты изъ всѣхъ силъ поплыли къ своему селенію, чтобы помѣшать намѣреніямъ Ганджеры.

Вскорѣ они воззрились въ его лодку и усилія ихъ удвоились.

Но нельзя даже и вообразить—до чего долшло воображеніе мистера Уилльямса, когда онъ разглядѣлъ, что въ лодкѣ Ганджера лежала его дочь... Отчаянныя крики его придали еще болѣе силы гребцамъ.

Едва Ганджера убѣдился въ ихъ намѣреніи, еще сильнѣе налегъ на весла. Хотѣлъ было онъ пристать къ другому берегу, да побоялся быть схваченнымъ, а на берегъ дакотскаго селенія вѣроятно уже ждали его *свои*, безъ сомнѣнія поразившіе Дакотовъ, обезсиленныхъ отсутствіемъ молодыхъ воиновъ.

И еще разъ ошибался онъ: молодые охотники поспѣли во время на помощь Зооло, разгромили Чокуфовъ нежданно-негаданно и поѣхали ихъ чубы на свои пояса.

Между тѣмъ Ганджера все еще усиливался опередить своихъ преследователей; но они догоняли его съ каждымъ взмахомъ весла. Не пуская стрѣлъ, чтобы не попасть какъ-нибудь въ Клару, Дакоты, на нѣсколькихъ лодкахъ, перерѣзали путь Ганджера къ его селенію.

Чокуфъ уже миновалъ вигвамы Дакотовъ, правя къ тому мѣсту, где надѣялся встрѣтить свое побѣдоносное племя, а за нимъ, будто „по горячимъ слѣдамъ“ поспѣшали Дакоты. Ганджера свернуль къ берегу, выпесъ на рукахъ Клару и затрубилъ въ рогъ призывающую пѣснь войны своего племени...

И какъ-же онъ былъ изумленъ, когда никто не отозвался на его зовъ, и какъ былъ взбѣшенъ, увидавъ на землѣ трупы Чокуфовъ. Попытался—было онъ переплыть на противоположный берегъ; но тамъ уже пристали прежде него, и ждали къ себѣ въ гости...

Тогда-то, стиснувъ въ кълещистыхъ рукахъ Клару, понесъ онъ ее, въ полномъ отчаянніи бѣшенства, вдоль берега, и ближе, все ближе къ водопадамъ. Удивительно было, какъ быстро уходилъ онъ съ Кларою Уилльямсъ на рукахъ, отъ своихъ догонщиковъ: еле-еле, на всѣхъ веслахъ, поспѣвали они за нимъ.

Рядомъ съ Ганджерой, прыгали съ порогъ на порогъ бѣшенныя волны... И глянула онъ внизъ, словно на одинъ мигъ вздумалось ему помѣряться съ ними силою и вынести свою плѣнницу на другой берегъ; да страшно клубились водные стремнини, и недолго постоалъ онъ въ раздумьѣ, поглядывая то на пѣнную глубь, то на подплывавшихъ ближе и ближе индійцевъ.

Почти въ то же мгновеніе пристали и они къ подошвѣ скалы, гдѣ остановился Ганджера съ полумертвой Кларой. Къ нимъ присоединились и другіе Дакоты съ Охотникомъ.

Едва ихъ завидѣлъ Ганджера у подошвы, — взмахнулъ надъ головою ножъ и проговорилъ грозно:

— Дакоты, услышьте непреложныя слова Чокуфа Ганджера: онъ любить блѣднолицую; надъ ея головою поднять его ножъ; подъ ея ногами кипятъ волны и такія, что не осмѣлится довѣриться имъ ни одинъ безстрашный индѣцъ... Если ктонибудь изъ васъ ступить мокассиномъ на верхушку этой скалы, клянусь Великимъ Духомъ, — ножъ Ганджера упьется всей кровью блѣднаго лица, а тѣло кинется внизъ — жертвою мести красно-кожаго!

Зооло и его воины поблѣднѣли при этихъ словахъ чокуфскаго вождя: такъ бытъ рѣшителенъ его взмахъ ножемъ и такъ отчаянно было положеніе Клары.

Молодой Охотникъ опомнился первый.

— Ганджера! крикнулъ онъ: слышали мы слова Чокуфа — выслушай-же и ты слова Дакоты... Бѣлый человѣкъ и его дочь прішли къ нашимъ берегамъ черезъ великия воды и поставили себѣ вигвамъ — на твоей землѣ, и ты протянулъ имъ руку, какъ другъ и покровитель. Благодарностю переполнилось сердце бѣлого человѣка, и сталъ онъ призывать благостыню Великаго Духа на странно-пріимнаго индѣца, и повѣрилъ ему, краснокожему, а тотъ увидалъ дочь блѣднаго лица, и ея невинность, ея сирое одиночество должны были-бы тронуть его сердце, должны были бы вооружить его томагаукомъ за одну ее... Нѣть! Ты, Чокуфъ, поглядѣль на нее не такъ: ты, Ганджера, понялъ одно, что хороша она и добра; нарушилъ обѣтъ гостепріимства и покровительства; посрамилъ имя индѣца: уподобилъ краснокожаго змѣя, коварю вползши въ дѣвичью спальню. Твоя могучая рука посагнула на сѣдины мастилата старца. И послѣ этого можно считать непреложнымъ слово Чоруфа?.. Дакоты и твое племя жили въ мирѣ и согласіи; но ты и твои Чокуфы переплыли рѣку, нарушили мирные уставы вторгнулись неправо въ наши предѣлы. Мы пошли вамъ на встрѣчу, а вы струсили и побѣжали не передъ нашими воинами даже, а передъ нашими стариками и беззащитными дѣвочками. Вы всѣ потеряли право — называться воинами, а ты вдвойнѣ: ты — не воинъ, и не вождь. Отведи свою руку отъ блѣднаго лица и ступай своимъ путемъ-дорогой, и не оскорбляй взоровъ индѣца собою, вороньей падалью.

Ганджера дрогнуль подъ громовыми укорами Охотника, но не выпустилъ Клары изъ своихъ тисковъ, и отвѣчалъ:

— Зооло! за этими водами сленье Чокуфовъ; туда отнесеть на рукахъ блѣднолицую Ганджера, или эти стремнины будутъ ея гробомъ.

— А!.. крикнулъ онъ, замѣтивъ, что Охотникъ поднимаеть карabinъ: тронь только курокъ, ножъ Ганджера будетъ пьянъ отъ крови блѣлой дѣвшушки...

— Чокуфъ! отвѣчалъ въ свою очередь Зооло: я бью въ крыло птицу муху, и если ты только руку поднимешь, заговорить мой карабинъ, и тажело у тебя будетъ на сердцѣ.

— Пощади! крикнула вдругъ очнувшись Клара Ганджеръ.— Пощади меня: я вѣдь ничего тебѣ худаго не сдѣала.

— Ганджера, отвѣчалъ чокуфскій вождь, предлагаетъ блѣднолицой раздѣлить съ нимъ вигмамъ.

— Ни-за что! отвѣтила дѣвшушка рѣшительно.

— Ну, такъ смерть? крикнулъ Ганджера сдавивъ руку Клары.

— Лучше смерть, чѣмъ жизнь съ такимъ негодянемъ какъ Ганджера!

— Христіанка сама рѣшила: пустъ-же и отпоють ее волны водопада!

Между тѣмъ Дакоты, и Зооло впереди, все выше и выше поднимались на скалу.

Ганджера кинулъ дрожавшую Клару на колѣни, занесъ надъ ней ножъ и смотрѣлъ на нее, какъ воплощенный дьяволъ.

Но прежде,—чѣмъ могла-бы опуститься рука Чокуфа, окрестность огласилась выстрѣломъ и изъ раздробленной пулею руки Ганджера выпалъ ножъ.

— Блѣднолицая! крикнулъ Ганджера, когда его рука повисла безсильно: карабинъ Дакоты произнесъ твой смертельный приговоръ: твоя могила — этаъ водопадъ... если ты ужъ не досталась Чокуфу, не доставайся же и Дакотѣ. Говоря это, онъ одной рукой взмахнулъ дѣвшушку надъ обрывомъ скалы и крикнулъ торжественно Дакотамъ.

— Зооло! ты вѣдь любишь блѣднолицую: спаси-же ее отъ смерти и мести Чокуфа.

— Держитесь крѣпче за Чокуфа, крикнулъ Кларѣ Охотникъ, прыгая вверхъ на скалу по уступамъ. Ухватитесь за его поясъ, и

Охотникъ спасеть васъ, или проведеть самъ въ страны вѣчной охоты.

Ганджера рванула отъ себя вѣшившуюся въ него Клару, но, съ нечеловѣческой силой, обвила она его руками.

Зооло, прыжкомъ пантеры, былъ уже подлѣ: одной рукой вырвалъ онъ Клару, другой ухватилъ за горло Ганджера. Истомленная, полумертвала Клара лежала на скалѣ такой же безжизненной глыбѣ...

И тогда-то Ганджера съ Охотникомъ схватились другъ съ другомъ въ отчаянныи, смертной борьбы; и раненая рука Чокуфа измѣнила своему бойцу: съ перваго-же напора Зооло опрокинулъ его на землю. Но и на землѣ озлобленные борцы по очередно клубились другъ надъ другомъ, какъ волны надъ скалами Ніагары.

Индѣйцы, пораженные паническимъ ужасомъ, недвижно слѣдили за этой обоядно нещадной борьбою на смерть.

Напрасно усиливался Ганджера поразить своего противника ножемъ, поднятнымъ во время схватки: рука Охотника всегда была на готовѣ и отражать, и наносить удары.

А все-таки раненый Ганджера былъ-бы соперникъ сильный, для многихъ и многихъ, да попался-то онъ въ упругую сѣть стальныхъ мышцъ Зооло...

Оба борца приблизились къ окраинѣ пронаци. Зооловспыхнулъ съ непонятной силой приподнялъ могучаго Чокуфа и бросилъ въ зиявшую бездну.

Ниже и глубже, глубже и ниже падаль онъ, раздробляя черепъ о скалы, пока не погрузился въ шумный водопадъ и не былъ поглощенъ имъ безъ слѣда; одинъ насыпливый грохотъ дробящихся о скалы струй пропѣлъ надъ нимъ похоронную пѣсню.

Зооло нагнулся и слѣдилъ за нимъ до тѣхъ поръ, пока Ганджера не попалъ въ самый кипень; а затѣмъ поднялъ безчувственную Клару и передалъ ее съ руки на руки отцу...

— Еще разъ, говорилъ старикъ, осыпая дочь поцалуями: еще разъ возвращаете вы мнѣ въ объятія Клару: бѣлый человѣкъ бѣденъ и не можетъ заплатить ни за себя, ни за дочь свою.

— Охотнику благодарности не нужно, отвѣчалъ Зооло: онъ ужъ и тѣмъ награждѣнъ, что исполнилъ свой долгъ.

— Благодарю! замѣтилъ старикъ, и...

И говорить-то стоить-ли? Только вотъ-что случилось: добрѣй-

шій пасторъ соединилъ законнымъ бракомъ благороднаго индійца Зооло со вселюбезной своей дщерью Кларою.

Черезъ вѣсколько часовъ послѣ ихъ брака, благословленнаго всѣмъ племенемъ Дакотовъ, явились кое-кто изъ оставшихся Чокуфовъ, приняты были дружелюбно, а ночью подожгли вигвамы своихъ хозяевъ.

Разсердились тогда и Дакоты; въ свой чередъ переплыли рѣку и все селеніе Чокуфовъ предали огню и мечу. Спаслись развѣ въ лѣсахъ женщины, да дѣти, а имя племени исчезло навсегда.

Велико было веселье на свадьбѣ Зооло и Клары, и весь свой вѣкъ были счастливы молодые, хотя Богъ ихъ и не благословилъ дѣтьми. Тѣмъ пе менѣе, старый миссіонеръ восхвалялъ Бога Единаго за то, что и онъ, бѣдный пасторъ, и дочь его Клара благотворно посвѣтили сѣмена Евангелія въ невоздѣланную почву: отступили и исчезли передъ цивилизацией былые, дикия племена; но не исчезло преданіе о первомъ благодушномъ миссіонерѣ и о его красавицѣ — дочери.



ДЖЕРАЛЬДА.



ТАИНСТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ **ДЖЕРАЛЬДА.**

(Разсказъ Леона Гозлана).

I.

Семейное прощаніе.

— Не уѣзжай жѣ, другъ мой! тебѧ твоя вѣрная подруга Софія, тебѧ твоя дочь, твоя обожаемая Нель, умоляютъ оставаться. Не будь же безчувственъ и къ просьбѣ почтеннаго м-ра Крокка, твоего лучшаго друга. Чего тебѣ здѣсь не достаетъ? Не богатъ ты, что ли, не счастливъ, не уважаемъ, не боготворимъ всѣми?

— Я знаю, отвѣчалъ М. Фитцъ-Джеральдъ флегматически, но нѣсколько даже и нѣжно, — я знаю, что я очень богатъ; ты и дочь моя будете очень огорчены моимъ отѣздомъ; что порядкомъ пожалѣть обо мнѣ и м-рѣ Кроккѣ; знаю также, что я — предсѣдатель двадцати-трехъ клубовъ въ Лондонѣ, но всѣ эти узы, болѣзни разрываемыя мною, не въ силахъ отклонить меня отъ моего намѣренія, созрѣвшаго въ тиши, обдуманнаго хладнокровно...

— Скажи лучше: жестокосердо.

— Милэди!

— Да, жестокосердо: не правда-ли, мистеръ Кроккѣ? Если бы дѣло шло о наслѣдствѣ, — даже въ Калифорніи, о государственномъ порученіи, — даже въ Китай, о спасеніи чьей-либо жизни, — я не сказала бы ни слова, не посѣтovала бы и на неопределенный срокъ твоего путешествія; но для насъ тайна...

При словѣ тайна, М. Фитцъ-Джеральдъ поблѣдѣлъ и вздрогнулъ. Жена его продолжала:

— Совершенная тайна — и причина твоего отѣзда, безъ сомнѣнія, опасно-исключительная, и название страны, куда ты ёдешь... Не все ли это равно, что выказать боязнь — не вернуться къ своей семье?

— Я никогда и не отрицалъ опасности, возразилъ М. Фитцъ-Джеральдъ: но, какъ честный человѣкъ, я принялъ всѣ мѣры къ полному твоему обезпеченню, если-бы судьба не судила мнѣ опять заключить тебя въ мои объятія, тебя и мою милую, блокурую Нель, и моего почтенного друга и сотоварща м-ра Крокка.

— Я не одобряю этого путешествія, сказалъ, въ свою очередь, м-ръ Кроккъ, хотя благоразуміе м-ра Фитцъ-Джеральда и ручается мнѣ вполнѣ за его заботливость о своей семье... Въ священной книгѣ сказано: „Ежели ты мудръ, ты не взыщеш чуждаго дыма, и не омоешь ногъ нигдѣ, кромѣ своей рѣки“.

— Клянусь вамъ, любезнѣйшій мистеръ Кроккъ! крикнулъ мистеръ Фитцъ-Джеральдъ: — я до того насмотрѣлся на дымъ лондонскихъ трубъ и на воду Темзы, что мнѣ позволительно поискать другого дыма и другой воды. Но я стремлюсь къ наслажденію высшему и болѣе существенному.

— Что можетъ быть выше и естественнѣе желанія — жить съ тѣми и для тѣхъ, которые сами для насъ живутъ?

— Любезный мистеръ Кроккъ, продолжалъ Фитцъ-Джеральдъ, не обращая вниманія на сугубыя упрашиванія жены и дочери, — любезный мистеръ Кроккъ, духовная и материальная жизнь моей семьи будетъ теперь зависѣть отъ васъ. Если я когда-либо возвращусь, я желалъ бы найти и состояніе мое увеличеннымъ, и миръ моей семьи упроченнымъ. Вы знаете, что мы ждемъ двухъ кораблей изъ Ямайки.

— И бумаго-прядильная наша фабрика процвѣтаетъ, прибавилъ мистеръ Кроккъ.

— Теперь конецъ, заключилъ мистеръ Фитцъ-Джеральдъ, прижимая въ волненіи къ своему сердцу жену и дочь, блокурую Нель, а та все плакала и все шептала:

— Не уѣзжайте, батюшка: мы вѣдь какъ любить-то васъ будемъ!

Мистеръ Фитцъ-Джеральдъ крѣпко пожалъ руку достопочтенному мистеру Крокку, сильно растроганному въ качествѣ сотова-

рища и въ качествѣ домашнаго друга, но не пролившему ни единой слезы, какъ и подобало священнослужителю англиканской церкви.

— Прощай! прощайте! кричали мистеру Фитцъ-Джеральду съ верху лѣстницы; прощайте! кричали ему, махая платками изъ окна; прощайте! прощайте! слышалъ онъ до самаго конца улицы.

Такъ какъ въ Лондонѣ вѣчная ночь, естественно, было очень темно, когда мистеръ Фитцъ-Джеральдъ остановился не вдалекѣ отъ своего дома, у одного довольно пустыннаго перекрестка.

— Начнемъ, сказалъ онъ самъ себѣ, доставъ изъ кармана портфель и вынувъ оттуда огромный пакетъ, въ родѣ министерскаго. Этотъ пакетъ принялъ онъ начинять какими-то шелковистыми и эластическими четвероугольными бумажками. Нѣсколько минутъ предавался онъ этому занятію, не заботясь о любопытствѣ прохожихъ. Пакетъ толстѣлъ болѣе и болѣе, такъ что становилось сомнительнымъ — пройдеть ли онъ въ отверстіе почтоваго ящика. Но мистеръ Фитцъ-Джеральдъ, вѣроятно, полагалъ, что пройдеть, потому что досталъ изъ кармана жилетки синюю облатку, слегка ее послюнилъ и припечаталъ пакетъ большими пальцемъ. Затѣмъ онъ написалъ карандашемъ на этой чудовищной обложкѣ: „*M-ru* Фитцъ-Джеральду“. Ничего, кроме этихъ словъ: „*m-ru* Фитцъ-Джеральду“.

II.

Бѣлокурое троє

Кто бы ни взглянулъ на эти три бѣлокурые головы, оставленныя м-ромъ Фитцъ-Джеральдомъ, всякій-бы сказалъ, что м-ръ Фитцъ-Джеральдъ оставилъ у себя дома трехъ ангеловъ. Красота англичанокъ также известна, какъ и ихъ безобразіе. Ничего нѣть красивѣе; ничего нѣть уродливѣй. Госпожа Фитцъ-Джеральдъ была блондинка съ черными глазами, и послѣднее обстоятельство было единственной причиной — почему мать и дочь не походили другъ на друга, какъ двѣ капли воды: у Нэль глаза были голубые. И это было, въ самомъ дѣлѣ, жалко: обѣ онѣ были такія бѣленыя, такія нѣжныя, что умри одна изъ нихъ — другая невольно заставила-бы усомниться въ этой смерти. Различія лѣтъ между тридцатилѣтней матерью и семнадцатилѣтнею дочерью только служило къ ихъ выгодѣ, а почему? Это ускользаетъ отъ всякихъ математическихъ соображеній. Такъ и хотѣлось-бы, чтобы ни дочь не была моложе, ни

мать старше... И какие великолепные волосы были у обеих! Что за розы были розы ихъ губокъ. кончиковъ ушей и кончиковъ пальцевъ! просто очарование! Вы-бы подумали, что это фонарики, сложенные изъ разовыхъ лепестковъ и освѣщенныя пламенемъ свѣточей маленькаго генія. У Винтергальтера не достало-бы для нихъ нѣжныхъ отвѣиковъ; мнѣ хотѣлось-бы, чтобы Діазъ испещрилъ своими фантастическими узорами ковры для ихъ царственныхъ покожъ. Можно ли понять, что человѣкъ честный, богатый, какъ Крезъ, рѣшился покинуть такую красавицу-жену и такую красавицу-дочь.

Что касается м-ра Крокка—это былъ истый служитель англиканской церкви, сотоварищъ и другъ м-ра Фитцъ-Джеральда, это былъ вполнѣ англійскій пасторъ: человѣкъ, занимавшійся и духовнымъ и торговымъ промысломъ—хлопчатникомъ, желѣзомъ, листовой мѣдью и кампешскимъ деревомъ; рядомъ съ библіей у него лежали конторскія книги. Съ девяти часовъ утра до семи часовъ вечера, онъ велъ переписку съ ямайскими корреспондентами и со своими надсмотрщиками за мануфактурными заведеніями. Въ семь часовъ послѣ обѣда, онъ облекался въ черное платье и превращался въ служителя алтаря. Онъ вдругъ блѣднѣлъ и лицо его принимало строгое, сдержанное выраженіе. Утромъ онъ глядѣлъ сквозь пальцы на торговлю неграми; вечеромъ онъ громилъ ее анаемой, заливая свои проклѣтія чаемъ и заѣдая сандвичами *). О немъ отзывались, какъ обѣ очень крутомъ человѣкѣ въ торговомъ и промышленномъ отношеніи: у него не было никакой жалости къ работникамъ, и онъ морилъ ихъ по восемнадцати часовъ въ сутки; но, какъ пасторъ, онъ часто взывалъ къ милосердію и кошелѣкамъ своихъ слушателей для облегченія участія этихъ же работниковъ. М-ру Фитцъ-Джеральдъ благоговѣлъ передъ Кроккомъ, и какъ другъ, и какъ неофитъ,— и нельзя составить себѣ понятія о томъ, какогоуваженія и какой любви требовалъ онъ отъ своей семьи къ пастору. М-ру Крокку едва исполнилось тридцать два года. У него было длинное, худощавое лицо, но подъ кистью художника оно разило бы выраженіемъ высокаго ума и хитрости—сказали бы мы— если бы дѣло шло о комъ-нибудь другомъ, а не о служителѣ Божиемъ. Вообщѣ, на этомъ лицѣ лежала печать красоты и красоты изящной.

*) Особаго рода тартинки.

III.

Удивление почтового бюро.

Хотя въ англійскихъ служебныхъ мѣстахъ ничему не удивляются по привычкѣ къ туземнымъ экспцентричностямъ всякаго рода, однако-же, огромный пакетъ, брошенный нѣсколько часовъ тому въ почтовый ящикъ мистеромъ Фитцъ-Джеральдомъ и лаконическая надпись карандашемъ: *м-ръ Фитцъ Джеральдъ*, привели все почтовое бюро въ невольное удивление.

Принявши пакетъ, чиновникъ отнесъ его къ непосредственному начальнику и тотъ пришелъ въ недоумѣніе — въ какое мѣсто вселенной, густо населенной Фитцъ-Джеральдами (а въ особенности Лондонъ), куда именно отправить этотъ пакетъ? Пакетъ былъ отнесенъ къ начальнику отдѣленія, а тотъ, въ свою очередь, счелъ нужнымъ представить его на благоусмотрѣніе самого директора почты. Директоръ былъ человѣкъ крайне проницательный, какъ вообще всѣ высшіе чиновники въ Англіи. Онъ положилъ пакетъ на чувствительные вѣски, тщательно осмотрѣлъ его со всѣхъ сторонъ и проговорилъ съ глубокомысліемъ Архимеда: „Такой объемъ и такой вѣсъ... это французскіе банковые билеты“. Къ довершенню удивленія подчиненныхъ, директоръ прибавилъ: „Въ этомъ пакетѣ двѣсти тысячъ франковъ“.

— Но что же съ нимъ дѣлать? спросилъ начальникъ отдѣленія.

— Отосдать по адресу.

— Но ваша милость изволите забывать, что адреса нѣтъ... на пакетѣ не обозначено ни улицы, ни города, ни страны.

— Ясно, что отправившій это письмо по лондонской почтѣ обратилъ англійскія деньги во французскіе билеты. Его намѣреніе было отправиться во Францію, где эти билеты имѣютъ правильное обращеніе.

— И такъ, пакетъ слѣдуетъ отправить во Францію?

— Безъ сомнѣнія.

— Но въ какой городъ!

— Въ Парижъ. Англичанинъ съ двумя стами тысячъ франковъ можетъ отправиться только въ Парижъ. Впрочемъ, я, на всякий случай, приложу записочку къ парижскому почт-директору. Если

м-ра Фитцъ-Джеральда не окажется въ Парижѣ въ теченіе одного года, пакетъ его можетъ быть возвращенъ, а тамъ посмотримъ. Попытайтесь.

Письмо было отправлено въ Парижъ, и вѣроятно — въ числѣ пяти или шести тысячъ другихъ писемъ съ надписью на имя Фитцъ-Джеральда, потому что въ Англіи Фитцъ-Джеральдамъ имя легіонъ.

IV.

Чему очень смеялся некий господинъ на балу англійского посольства?

Господинъ этотъ стоялъ, прислонившись къ одной изъ входныхъ дверей бальной залы англійского посланника. Всякій разъ, когда возвѣщали извѣстную фамилію, онъ отвертывался и смеялся отъ души. Онъ одинъ замѣтилъ, что безпрестанно провозглашали:

Герцогъ и герцогиня Фитцъ-Джеральдъ.

Графъ и графиня Фитцъ-Джеральдъ.

Баронъ и баронесса Фитцъ-Джеральдъ.

Г. Фитцъ-Джеральдъ, управляющій вѣдомствомъ публичныхъ зданій.

Разъ полтораста было произнесено это имя въ продолженіи вѣчера, и столько-же разъ улыбнулся этотъ господинъ.

Черезъ восемь дней, этотъ-же господинъ улыбнулся при одномъ воспоминаніи, сидя у окна, Пармской гостиницы въ улицѣ Гро-Калю: такъ забавень казался ему млечный путь Фитцъ-Джеральдовъ, протянувшійся по парижскому небу. Вызываю всю фалангу демоновъ, сказалъ онъ, — отличить Фитцъ-Джеральда въ Гро-Калю отъ остальныхъ его соименниковъ.

V.

Время сказать—зачемъ и-ръ Фитцъ-Джеральдъ прѣхалъ въ Парижъ.

Въ Парижѣ всегда, почти каждый мѣсяцъ, является новая рѣдкость на показъ иностранцамъ: не опера, такъ балетъ; не революція, такъ важный преступникъ; не Франклінъ, такъ Лясенерь. Парижане великие мастера показывать рѣдкости. И вотъ, съ нѣкоторыхъ поръ, и-ръ Фитцъ-Джеральдъ только и слышалъ, что о

тайнахъ, да о тайнахъ, порождаемыхъ Парижемъ: то таинственные мужчины, то таинственные женщины, то таинственные интриги.

Передъ духовнымъ окомъ м-ра Фитцъ-Джеральда Парижъ принялъ фантастический образъ какой то гигантской тайны, поглотившей въ себѣ другія тайны — одна другой таинственнѣе. Меблированныхъ комнатъ — тайна; кофейная — другая тайна; винный погребъ — большая тайна; общій столъ — одна изъ самыхъ великихъ тайнъ. Раскроется ли онъ журналъ, тамъ только и рѣчи, что о страшной тайнѣ, недавно открытой парижской полиціей; пробѣглись ли фельетонъ, и тамъ читаетъ: „тайны Бастиліи“, „тюремныхъ тайны“, „тайны моей жены“. Взглянетъ ли на театральныя афиши, на всѣхъ театрахъ идетъ одна пьеса: на театрѣ Gaiefe — „тайны“; на Varieté — „тайны“; на Ambigu — „тайны“. Подобное повтореніе идей и образовъ естественно должно было имѣть вліяніе на мозгъ м-ра Фитцъ-Джеральда, и безъ того уже настроенный эксцентрично, и добрѣйшій мистеръ понялъ, что не пайди ему въ мірѣ семъ покоя, пока онъ не отправится въ Парижъ и не пріиметь ванны изъ тайнъ. Надобно замѣтить, что нѣкотораго рода страхъ прымѣнился къ его необузданному стремленію и только усиливалъ его. М-ръ Фитцъ-Джеральдъ былъ убѣждѣнъ, что нельзя выйтти живымъ изо всѣхъ этихъ тайнъ, потому что онъ вознамѣрился, всѣ ихъ извѣдатъ лично, всѣ: и тайны „Ситэ“, и тайны „Маріоновской арки“, и тайны „Рокетты“, и тайны „каторги“, и тайны дома умашеніиныхъ.

И такъ, онъ рѣшился отправиться въ Парижъ, не сказавъ ни чувствительной своей женѣ, ни достойному своему другу м-ру Брокку о пламенномъ стремленіи, заставившемъ его предпринять это путешествіе.

Дней съ десять прошло по пріѣздѣ его въ Парижъ, и все это время онъ дѣлалъ нужные приготовленія, чтобы низойти въ адское жерло самыхъ черныхъ тайнъ. Для этого онъ принялъся перечитывать свои замѣтки, — краткія, спѣшные, но энергическія извлечения изъ всего прочитанного имъ о тайнахъ. Перечтя ихъ, онъ составилъ себѣ слѣдующій маршрутъ:

Отыскать кабакъ Безголовой женщины и тамъ ужинать.

Пригласить къ обѣду знаменитаго шпагоѣда Avele-Poignard! .

Отправиться на балъ къ дѣвицамъ Вампиркамъ.

Быть въ полночь въ Сенарскомъ лѣсу, на перекресткѣ Красныхъ утомищилогъ.

Ночевать въ гостинице, подъ названіемъ *Гильотина*, на пло-
щади *Дыбы*, и пр. и пр.

Мы сказали, что м-ръ Фитцъ-Джеральдъ сидѣлъ у окна Парм-
ской гостиницы и радостно утѣшалъ себя мыслю, что никому не
удастся узнать его участія въ извилистыхъ трещинахъ этого потух-
шаго волкана, называемаго міромъ.

Вдругъ служанка Пармской гостиницы назвала его по имени.

— М-ръ Фитцъ-Джеральдъ!

— Это не я, отвѣчалъ онъ поспѣшино.

— Какъ не вы? да развѣ вы не...

— Я дѣйствительно Фитцъ-Джеральдъ, но не можетъ быть,
чтобы именно тотъ, кого вы ищите.

— Однакоже факторъ просилъ передать этотъ толстый пакетъ
именно вамъ. Адресъ немножко стерся, потому-что карандашемъ
надписано.

— Мое письмо! ерикнуль съ горько, улыбкою м-ръ Фитцъ-
Джеральфъ.—Дайте пакетъ и оставьте меня. Смущенная служанка
удалилась.

— Какъ! какъ! какъ! три раза прошепталъ м-ръ Фитцъ-Дже-
ральдъ! Я бросаю вечеромъ, въ Лондонѣ, въ почтовый ящикъ, это
безобразное письмо, которое могло бытъ отправлено въ Китай или
Канаду, потому что адреса на немъ нѣть; я помѣщаюсь въ итальян-
ской гостинице, на самомъ концѣ отдаленной улицы Парижа, и
и это письмо, наполненное банковыми билетами, не искушаетъ ни од-
ного изъ почтовыхъ чиновниковъ, и цѣлехонько доставляется иѣ въ
руки. Какая ужасающая точность! какой несчастный первый шагъ
на таинственному пути! Но какимъ же путемъ слѣдовало само оно,
это непонятное письмо? Отвѣтъ на вопросъ м-ра Фитцъ-Джеральда
могло бытъ прочесть на пакетѣ; съ обѣихъ сторонъ бытъ онъ исчер-
ченъ стосемнадцатью чернильными помѣтками, синими, красными
и черными. Прежде всего пакетъ объѣхалъ всѣ минеральные воды
Франціи, какъ иѣста, по мнѣнію почтоваго бюро, наиболѣе посѣ-
щаемыя англичанами, и Фитцъ-Джеральдами по преимуществу, а
затѣмъ возвратился въ Парижъ, гдѣ покамѣсть производились тща-
тельныя розыски. Словомъ: не прошло десяти дней пребыванія
Фитцъ-Джеральда въ столицѣ, какъ пакетъ дошелъ къ нему точно
такимъ-же, какимъ и бытъ, когда его владѣлъ съ такой насып-
шой припечатать его синей облаткой.

Слѣдуетъ замѣтить еще одно обстоятельство. Парижскій почтди-

ректоръ, извиняясь коротенькой запиской въ невольной задержкѣ пакета, просилъ, м-ра Фитцъ-Джеральда обозначать въ другой разъ свой адресъ опредѣлительнѣе.

— Судьба! проговорилъ еще разъ Фитцъ-Джеральдъ.—Это письмо прошло черезъ руки какой-нибудь полторы тысячи англійскихъ и французскихъ чиновниковъ, и доставлено мнѣ нетронутымъ и ни одинъ банковый билетъ не утраченъ. Къ счастію, прибавилъ онъ, теперь я въ городѣ тайны—и скоро возьму свое.

Вѣроятно никому не покажется удивительнымъ, что человѣкъ, рѣшившійся пресытиться тайнами, не избралъ мѣстомъ своихъ прогулокъ Тюильри и Люксембурга. Каждый вечеръ,—а дѣло было въ глубокую зиму,—Фитцъ-Джеральдъ отправлялся на Іенскій мостъ, гдѣ, съ девяты часовъ у прохожихъ не спрашиваютъ кошелька или жизни, а просто отнимаютъ и то и другое.

И вотъ, вечеромъ того дня, когда Фитцъ-Джеральдъ былъ такъ глубоко оскорблѣнъ почтою, онъ такъ-же какъ и наканунѣ, только гораздо позже, отправился на Іенскій мостъ съ твѣдой рѣшиимостью—начать свой знаменитый розыскъ тайнъ. Гневъ на почтовое вѣдомство ускорилъ его намѣреніе. Онъ захватилъ съ собою таинственно-возвращенные ему двѣсти тысячъ франковъ.

VI.

Іенскій мостъ въ одиннадцать часовъ зимиаго вечера.

Ель Іенскому мосту не легко подойти, особенно съ лѣваго берега, Съ самаго зданія палаты депутатовъ, вы не встрѣтите здѣсь ночью ни одного прохожаго съ честнымъ обличкомъ. Развѣ попадутся иногда два инвалида, два призрака Березины: они возвращаются въ свой домъ, или спѣшатъ въ Елисейскія поля,—вѣроятно на полуночный смотръ усопшаго Кесаря, такъ мастерски воспѣтый Зейдлицомъ въ его великолѣпной балладѣ. Затѣмъ вы вступаете въ область невѣдомаго. Постоянныя туманы снимаются съ песчаной нагорной равниной и съ Сены, и представляютъ собою какой-то хаосъ, пересѣченный мостомъ; подъ арками моста, изѣденными рѣчными испареніями, проносится какой-то унылый шепотъ и сѣрые клубы чада. За мостомъ—ничего; направо—ничего; налево—ничего. Тусклые отблески, неясные отзвуки, тѣни предметовъ роятся и перелетаютъ передъ вашими глазами, какъ джинны, страшные восточные джин-

ны, блѣдные, продрогшіе, — бѣгите ихъ; они вѣсъ заманиять въ ровъ, и тамъ позорный убийца, изъ-за двадцати су, зарѣжетъ васъ заржаленнымъ ножемъ и бросить въ Сену, чтобы омыть не преступленіе свое, а руки... И въ то-же время, на противоположной дугѣ небосклона, Парижъ таетъ въ огнѣ, зажигаетъ дымку тумана, и раскидывается надъ своимъ ложемъ пурпурный пологъ изнѣженный сатрапъ. Вы слышите глухой и мѣрный стукъ колесъ и надѣетесь на добрую встрѣчу съ какой-нибудь телѣгой, — не заблуждайтесь: эта телѣга проѣзжаетъ по крайней мѣрѣ въ двухъ лье отъ васъ, если только проѣзжаетъ гдѣ-нибудь. Для законченности сцены, вдругъ возлѣ самаго вашего уха, раздается свистъ и мимо васъ кидается со всѣхъ ногъ онѣмѣлая собака. Что значить этотъ свистъ? Куда проюренула эта собака въ волнахъ тумана?

Не безъ волненія,—но волненія онъ и искалъ,—не безъ волненія вслушивался Фитцъ-Джеральдъ, подходя къ Іенскому мосту, въ этотъ ночной пустынныи широкъ, навѣвавшій тоску и страхъ. Но вотъ и начало моста. Шагахъ въ пятидесяти мерцаѣтъ какой-то огонекъ—Фитцъ-Джеральдъ идетъ на него. Огонекъ моргаетъ въ нѣсколькоихъ футахъ надъ землей: это фонарь извоющіяго кабрюлета.

Въ груди у Фитцъ-Джеральда закипало.

— Самъ-ли убийца этотъ извощикъ, или только сообщникъ? Что онъ здѣсь дѣлаетъ? Зачѣмъ онъ сюда прїѣхалъ?.. Узнаю.

— Кого ты ждешь? спрашивается онъ, хлопнувъ по кожаному плащу.

— Сѣдока, отвѣчаетъ пьяный голосъ.—Хоть самого черта, если ему вздумается влѣзть въ мою улитку.

Волосы у извощика были рыжіе; каррикъ *)—блѣдовато-кофейного цвѣта, каррикъ, давно уже преставившійся, призракъ каррика.

— Понимаю. Теперь я могу узнать все, подумалъ Фитцъ-Джеральдъ.

— Садитесь. Кудаѣхать, господинъ?

— Къ Итальянской заставѣ, по загороднымъ бульварамъ.

— Только туда, господинъ?

И въ самомъ дѣлѣ, это былъ такой отвратительный конецъ, ка-

*) Каррикъ—кожаный или суконный извощицій плащъ.

кой могъ придумать только человѣкъ, рѣшившися вернуться домой безъ головы.

— Садитесь-же.

— Постой, сказаль Фитцъ-Джеральдъ, подошелъ къ кабролетному фонарю, раскрылъ бумажникъ и сталъ перелистывать банковы билеты.

Рыжий извощикъ пожиралъ ихъ глазами крокодила.

Фитцъ-Джеральдъ считалъ вслухъ: „Сорокъ тысячъ франковъ, шестьдесятъ тысячъ, да двадцать тысячъ, восемьдесятъ, да еще двадцать, — сто. Сто десять тысячъ, сто двадцать тысячъ — полтораста... Сейчасъ, сейчасъ!.. Двѣсти тысячъ: такъ!

— Ну, теперь погоняй.

Фитцъ-Джеральдъ сѣлъ въ кабролетъ, закрылъ бумажникъ и положилъ его къ себѣ на колѣни.

— Если вамъ все равно, господинъ, мы свернемъ вотъ въ эту переулокъ, сказаль извощикъ.

— Рѣшительно все равно... Ты почему спрашиваешь?

— Да тутъ недавно убили бѣднагу Кляпье,—съ иѣсацъ никакъ...

— А! его убили въ этомъ переулкѣ?

— Да — вотъ здѣсь, видите? отвѣчалъ извощикъ, указывая на тумбу, прислоненную къ ветхой стѣнѣ. И убили-то изъ-за пятидесяти пяти су... Троє ихъ было: два плотника, да нашъ братъ извощикъ... Вотъ какъ: человѣка убить изъ-за пятидесяти пяти су!

— Въ самомъ дѣлѣ — изъ-за пустяковъ согласился Фитцъ-Джеральдъ. (Бумажникъ онъ все еще держалъ на колѣняхъ). — Такъ вы, извощики, убиваете иногда? продолжалъ онъ.

— Случается... коли работы нѣть... Да вѣдь дурныхъ характеровъ вездѣ много.

— Дурныхъ характеровъ! мысленно повторилъ Фитцъ-Джеральдъ и подумалъ: а кто ему мѣшаетъ взять примѣръ со своего собрата и убить меня? Посмотримъ, — что онъ будетъ дѣлать?

Хотя они уже и проѣхали весь переулокъ, но дорога все-таки была изъ рукъ воинъ плоха на загородныхъ бульварахъ: кабролетъ такъ и бросало во всѣ стороны; кузовъ колотился о деревья: колеса увязали въ поперечныхъ канавахъ.

— Да, вездѣ много дурныхъ характеровъ, повторилъ съ какимъ-то удовольствиемъ рыжий извощикъ, и повернувшись къ м-ру Фитцъ-Джеральду, покосился на него недобромъ.

Въ это же самое мгновеніе лошадь остановилась: чья-то рука схватила ее подъ уздцы.

— Западна! подумалъ Фитцъ-Джеральдъ. Теперь я пропалъ. Да хранить мою семью Господъ Богъ и почтенный и-ръ Крокъ! Миѣ жаль только одного, что я умру, не извѣдавъ тайны Іенского моста.

— Фонари потухли, проговорилъ неизвѣстный, остановившій лошадь: за это штрафъ.

— Извините, отвѣчалъ извощикъ полицейскому (неизвѣстный былъ не болѣе, какъ полицейскій): фонари зажжены оба, только ихъ за туманомъ не видно.

— То то не видно! проворчалъ полицейскій, сворачивая въ одну изъ боковыхъ аллей.

— Это еще не тайна, подумалъ Фитцъ-Джеральдъ; но ужъ не отвертеться мнѣ отъ нея нынѣшнюю ночь.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, извощикъ спросилъ:

— Вотъ мы и у Итальянской заставы — гдѣ прикажете васъ высадить?

— Въ полѣ.

— Слушаю. Прикажете подождать?

— Нѣть.

— Стало, вы нынѣшней ночью не вернетесь въ Парижъ?

Фитцъ-Джеральдъ не отвѣчалъ.

Обѣйнявшись нѣсколькими отрывистыми вопросами и отвѣтами, путники наконецъ достигли того мѣста, гдѣ, повидимому, Фитцъ-Джеральдъ желалъ остановиться.

— Здѣсь, господинъ?

— Да, здѣсь.

Фитцъ-Джеральдъ заплатилъ извощику пять франковъ, выпрыгнулъ и исчезъ, оставивъ свой бумажникъ на кабролестной подушкѣ.

Только въ три часа утра поплелся онъ до своей парижской гостиницы, разсуждая: эта ночь не пропала, хотя и могла бы пройти лучше. Извощикъ начнетъ проматывать мои деньги, — его заподозрятъ въ воровствѣ и въ убийствѣ. Онъ будетъ отиѣживаться, и его посадятъ въ тюрьму, а я изъ произведенного слѣдствія узнаю — что онъ дѣлалъ на Іенскомъ мосту, въ одиннадцать часовъ вечера? Такую тайну не грѣхъ и заплатить дорого.

VII.

Чай и анонимное письмо.

Восемь добрыхъ часовъ сна оправили м-ра Фитцъ-Джеральдъ отъ ночной усталости и укрѣпили его въ геройскомъ намѣреніи не покидать Парижа до тѣхъ поръ, пока онъ не станетъ лицомъ къ лицу съ главными парижскими тайнами. Въ средніе вѣка, разсуждалъ онъ самъ съ собою, наливая чай, я посвятилъ бы себя на изученіе алхіміи; въ XIX вѣкѣ я жажду узнать иныхъ тайны. Во времія оно я бросилъ бы золото за науку, — какъ не умѣть его дѣлать; теперь я жертвуя несколькими сотнями тысячъ за полное познаніе тайнъ, именно здѣсь, въ Парижѣ, столицѣ всѣхъ тайнъ, въ „Тайноградѣ“.

И такъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ крѣпко разсчитывалъ на свой бумажникъ, оставленный въ кабріолетѣ, какъ на средство узнать всю исторію извоїща на Уэнскомъ мосту; кроме того онъ углуился въ соображеніе насчетъ другихъ еще, самыхъ черныхъ, самыхъ ужасныхъ тайнъ, когда служанка парижской гостиницы положила ему на чайный подносъ письмо изъ Лондона.

— Изъ Лондона и опять на имя Фитцъ-Джеральда; крикнуль онъ. Впрочемъ, если ужъ разъ меня отыскали, почему и не отыскать и другой?.. Но кто-же это ко мнѣ пишетъ? Это не почеркъ моихъ семейныхъ.

Лондонское письмо было распечатано. Фитцъ-Джеральдъ взглянулъ на подпись, — подпіси не было. Анонимное письмо: прочтемъ!

Милостивый Государь.

„Наружность бываетъ часто обманчива. Это пошло, но истинно. Люди, пользующіеся нашимъ довѣріемъ, ищутъ только случая, чтобы измѣнить намъ. Съ прискорбіемъ долженъ васъ извѣстить, что вы сдѣлались жертвой подобного коварства. Этотъ м-ръ Броккѣ, принятый въ вашемъ домѣ, сдѣлавшійся вашимъ сотоварищемъ, другомъ и совѣтникомъ вашей семьи, обманываетъ васъ безстыдно...“

— Неправда, о это неправда! вскрикнулъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ. Что дальше?

„Воспользовавшись вашимъ отсутствиемъ и своимъ вліяніемъ на доброе и иѣзжое сердце вашей супруги, онъ осмѣлился, послѣ вашего отѣзда обезчестить ваше имя...“

— М-ръ Крокъ! онъ! служитель Господа. О, какая наглая клевета!

„Вы безъ сомнѣнія, воскликнете: клевета! читая эти анонимныя строки; тѣмъ не менѣе въ нихъ — одна прямая правда. Видѣсто того, чтобы жить вдали оть Лондона, вы поступили-бы благоразумнѣе м-ръ Фитцъ-Джеральдъ, если-бы возвратились домой, убѣдились собственными глазами въ намѣреніи этого человѣка — осквернить семейную вашу святыню и принали-бы мѣры къ предотвращенію зла, можетъ быть уже не исправимаго... Теперь вы предупреждены: дѣйствуйте.

— И я повѣрю подобной выдумокъ! Нѣть! я слишкомъ хорошо знаю мою Софию, знаю и моего благороднаго друга Крокса. Возвратиться домой — это значитъ одобрить клевету: я останусь. И думать не стоить обѣ этой гнусной лжи.

Съ негодованіемъ бросилъ онъ въ огонь анонимное письмо, и позвонилъ, чтобы убирали чай.

— Съ вами хотѣть переговорить какой-то человѣкъ.

— Со мной?

— Извощикъ, кажется.

— Извощикъ?

— Да вотъ онъ самъ.

— Господи — Боже! вскрикнулъ Фитцъ-Джеральдъ. Мой рижий ночной извощикъ. Ты здѣсь?

— Точно такъ, господинъ честной! Я за вами слѣдилъ и догналъ таки, хоть и пришлось мнѣ порядкомъ помѣсить грязь на полъ.

— Чего тебѣ отъ меня нужно? Зачѣмъ...

— Прежде всего, позвольте мнѣ доложить вамъ, господинъ, что я вѣтъ уже пять лѣтъ — медаль первого класса, а за то, что въ разное время принесъ сѣдокамъ на домъ тридцать девять зонтиковъ, дюжину калошъ и семнадцать кошельковъ съ деньгами... все было забыто у меня въ кабріолетѣ. Такъ видите-ли, нынѣшней ночью, какъ-только вы меня оставили, слышу я что-то такое у себя подъ рукой; гляжу — бумажникъ. Я сей часъ за вами, догналъ, слава Богу; узналъ — какая улица и какой номеръ вашей гостиницы, — и — вотъ бумажникъ... поглядите: все ли цѣло господинъ?

— Мой бумажникъ!

— Да ужъ такъ! Потому: Антуанъ Муронъ честенъ; за честность и на вывѣску попалъ: извощикъ въ кофейномъ каррикѣ на

всѣхъ погребковыхъ вывѣскахъ — это вѣдь я, и подписано : „честный извощикъ“... Такъ осмотрите-же бумажникъ.

— Что-же ты дѣлалъ, несчастный, на Іенскомъ мосту, ночью, въ такой таинственный часъ?

— Рыбу удилъ. А такъ какъ это запрещено...

— Рыбу удилъ?

— Да уклейку, плотичку...

— А я то видѣлъ въ немъ орудіе тайны!.. Ну, сколько-же тебѣ слѣдуетъ награды?

— Ничего, господинъ!

— Ничего!

— Ничего. Запишите вотъ въ эту книжечку, что я вамъ доставилъ вашъ бумажникъ, а я снесу показать въ полицію: выдадутъ шесть франковъ, если не забудутъ.

Не смотря на полное свое уныніе, м-ръ Фитцъ Джеральдъ по-жалъ руку черезчуръ честному извощику, говоря:

Very well, my dear friend! My dear fellow, very welle (*).
Антuanъ Муронъ былъ уже на улицѣ.

Цѣлые пятнадцать дней не могъ позабыть Фитцъ-Джеральдъ своей первой неудачи, хотя она, согласитесь сами, не могла имѣть важныхъ послѣдствій. Одной тайной менѣше, таѣтъ что-жъ? За одну въ Парижѣ найдется десятокъ другихъ.

VIII.

Ужинъ у Безголовой женщины.

Прошло пятнадцать дней, и въ девять часовъ вечера, въ са-мую пору для тайнъ, м-ръ Фитцъ-Джеральдъ возвѣдалъ уже въ харчевнѣ Безголовой женщины, за заставой Трехъ коронъ. Его предварительные изученія, его многостороннія исслѣдованія, спеці-альная и наиболѣе извѣстная книги по этой части, наконецъ наве-денные вѣрныя справки,— все это убѣдило его, что эта загородная харчевня пользуется самой недоброї славой. Развратные и грязные люди, омерзительные ужини, циническія игры—все соединялось тамъ, для наблюдательныхъ взоровъ любителей. Изрѣдка полиція погру-жала свой багоръ въ это ржавое болото и вытаскивала гудовицъ

*) Хорошо, мой другъ! хорошо, любезный!

первой величины на скамьи уголовного суда, къ вящему содроганію обоихъ половъ.

Перераженный каменщикомъ изъ боязни помѣшать привычникамъ харчевни, или привлечь на себя вниманіе, мистеръ Фитцъ присѣлъ къ кончику стола, приготовляемаго для ужина. Лица собесѣдниковъ какъ разъ согласовались съ любопытными догадками нашего иностранца, жаждавшаго тайнъ. У всѣхъ нихъ были голыя руки, съ уловатыми мускулами, съ синими жилами, толстыми, какъ веревки и испещренными странными татуажами.

Ихъ звѣрскіе нравы и эти кровавые рисунки, на колотые кончики кинжала, представляли странную противоположность. На рисункахъ были изображены пылавшія сердца, букеты цвѣтовъ, корзинки съ плодами, птички и собаки съ выходившей изъ пасти подписью.

Эмблема фурности, или Я твои, мой другъ!

— Это такъ, разсуждалъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ: это невольная дань, приносимая даже злодѣями природѣ, любви и дружбѣ.

Принесли ужинъ. И какой ужинъ. Мозги съ яйцами, мозги вареные, мозги подъ соусомъ. Богъ ихъ знаетъ какіе это мозги! думалъ герой м-ръ Фитцъ-Джеральдъ. За мозгами принесли телячіи печенки съ чикантнымъ соусомъ, и опять телячіи печенки на миланскій манеръ. Гмъ! Для телятъ эти печенки что-то крупноваты! подумалъ еще разъ про себя м-ръ Фитцъ-Джеральдъ.

Впрочемъ онъ отвѣдалъ эти кушанья, чтобы не сидѣть безъ дѣла и удобнѣе прислушиваться къ разговорамъ голорукихъ.

И какъ онъ слушалъ!

Они говорили о землетрясеніи въ Г'аделупѣ, о послѣдней рѣчи Ламартина, о рѣчахъ Тьера, объ академическихъ выборахъ, а въ особенности о послѣднемъ законѣ насчетъ сахарного производства.

— Ну, меня-то этими хитростями не проведешь, думалъ Фитцъ-Джеральдъ: сейчасъ проговорятся.

Посреди этихъ размышеній, ему пришлось обратить вниманіе на какой-то шумъ вдали, или скорѣе внизу: прямо у него подъ ногами, съ грохотомъ переливали изъ сосуда въ сосудъ какую-то жидкость.

— Ага, ага! проговорилъ онъ. Подземная работа начинается. Прислушаемъ.

И въ самомъ дѣлѣ, онъ скоро замѣтилъ что гости *Безголовой женщины*, попарно и втроемъ, начали оставлять харчевню, что

свѣтка догорала и стрѣлка часовъ съ кукушкой придвигалась къ полуночи. Куда уходили эти люди спать? Но м-ръ Фитцъ-Джеральдъ разглядѣлъ очень ясно, какъ въ о-ви выходили въ стѣнную дверь для того только, чтобы спуститься тайкомъ въ бывшій у него подъ ногами погребъ. Сквозь творила болѣе доносилось клокотанье переливаемой жидкости и пересыпались ворохи чего-то твердаго и сухаго. Новое страшное убѣжденіе: его обоняніе было поражено какимъ-то зловоннымъ запахомъ, какъ будто съ бойни. Подъ его ногами рѣзали, умерщвляли! Эти люди были убѣйцы. И нельзя было сомнѣваться или ошибаться: эти господа ужъ конечно не мясники.

Наконецъ, оставшись съ глазу на глазъ съ харчевенной служанкой, уже собравшейся запереть дверь, онъ подошелъ къ ней и сказалъ:

- Вотъ вамъ тысяча франковъ золотомъ...
- Тысяча франковъ.
- Не будемъ терять времени: эти деньги ваши, если вы оставите меня здѣсь на ночь.
- Здѣсь?
- Хотите?
- Еще-бы!

Заприре-же потихоньку дверь, ключъ, отдайте мнѣ, и уходите. Служанка заперла дверь харчевни, ушла и оставила м-ра Фитцъ-Джеральда въ совершенно темной комнатѣ.

Подземный шумъ все еще продолжался. Фитцъ-Джефальдъ тихонько отодвинулъ столь, счевидно съ намѣреніемъ—поставленный ножками на творила, приподнялъ за кольцо одну изъ половиноекъ погребной двери и подсунулъ подъ нее пробку. Въ это отверстіе, при красноватомъ свѣтѣ двухъ или трехъ свѣчей, увидѣлъ всѣхъ господь, съ которыми ужиналь. Страшному занятію предавались они: сливали въ чаны кровь и складывали въ правильныя кучи кости. Каждый былъ занятъ этой ночною работою отдельно отъ другихъ. Одинъ приносилъ кровь въ двойномъ ведрѣ; другой принималъ это ведро въ чанъ; третій выпускалъ кровь изъ чана въ каменный жолубъ, проведенный въ землю. По временамъ они пили вино большими стаканами, сидя на кучахъ костей.

Если ужъ это не тайна, разсуждалъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ, как же и назвать иначе? стало быть есть въ Парижѣ мѣста, где убиваютъ людей и такъ ловко хоронятъ концы, что даже кровь уходить въ землю, а кости слаживаются словно зубами шакаловъ.

Пять битыхъ часовъ наслаждался м-ръ Фитцъ-Джеральдъ этимъ отвратительнымъ зрѣлищемъ, и когда вышелъ изъ харчевни, конечно, былъ возмущенъ до глубины души; но вмѣстѣ съ тѣмъ остался и доволенъ, что наконецъ послѣ долгаго путешествія и столькихъ жертвъ, ему удалось стать лицомъ къ лицу съ одной изъ отыскиваемыхъ имъ тайнъ.

Восемь дней онъ былъ совершенно счастливъ, и всѣ эти дни провелъ то въ размышленіяхъ и событияхъ этой ночи, проведенной имъ въ харчевнѣ *Безголовой* женщины, то въ приготовленіяхъ къ новымъ поискамъ не менѣе потрясающихъ тайнъ.

Онъ уже готовъ былъ приступить къ дѣлу, какъ вдругъ получилъ письмо изъ Лондона,—тѣмъ же анонимнымъ почеркомъ.

— Вѣроятно, подумалъ онъ, это — полный отказъ отъ безчестной сплетни, распущенной на счетъ доброго имени моей супруги и моего почтенного друга, м-ра Крокка? Прочтемъ.

„Милостивый Государь!

Мнѣ крайне прискорбно, что вы не почтили вниманіемъ первого моего предостереженія: теперь вамъ не пришлось бы оплакивать нового и большаго горя. Презрѣнныи м-ръ Кроккъ, не довольствуюсь тѣмъ, что наложилъ неизгладимое пятно на супружескую вашу честь, замыслилъ — плачьте несчастный отецъ! — Замыслилъ — говорю: увлечь вашу дочь, вашу дорогую Нель въ бездну соблазна. Дочь ваша исчезла изъ дома.

Иные полагаютъ, что она перебѣхала на материкъ, другіе — и это вѣроятнѣе, — что она спрятана въ одномъ изъ лондонскихъ за-городныхъ домовъ. Я знаю, какую глубокую рану нанесетъ вашему сердцу это извѣстіе; но скрывать его было незачѣмъ, а отвратить зла уже нельзя. Проспѣшите же скорѣе въ Лондонъ, не для спасенія чести вашей фамиліи, а для избавленія ея отъ публичнаго позора. Надѣюсь, что хоть на этотъ разъ вы не будете глухи къ моему призыву".

— Буду глухъ и на этотъ разъ, сказалъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ. Мѣсяцъ тому не повѣрилъ, не повѣрю и теперь: съ моей стороны была-бы слабость — измѣнить убѣжденіямъ. Дорогая Софія! дорогая малютка Нель! Превосходнѣйшій м-ръ Кроккъ! Вы даже не подозрѣваете, какой гнусный ковъ замыслили на васъ? Къ счастію, и за это хвала Богу! — всѣ дурныхъ сѣмена клеветы падаютъ на скалу.

И второе анонимное письмо полетѣло въ огонь.

IX.

Еще тайна — въ гостиницѣ Гилльотина.

Упорный, неутомимый въ своихъ поискахъ, опьяняемый чудо-вищнимъ усилѣхомъ у заставы „Трехъ коронъ“ м-ръ Фитцъ-Джиральдъ рѣшился перейти немедленно на самыя опасныя, самыя тернистыя стези своего туризма въ новомъ родѣ. Кромѣ того его заставило рѣшиться еще одно обстоятельство; но обѣ немъ мы скажеиъ послѣ.

И такъ онъ отложилъ до другого времени и предположеніе свиданіе съ знаменитымъ шагаюдомъ *Hcale-Poignard*, и танцевальный вечеръ у дѣвицы *Вампирокъ*, и прогулку въ Сенарскомъ лѣсу, на перекресткѣ *Красныхъ уольщиковъ*, — все для того, чтобы провести давно-желанную, ужасную ночь въ гостиницѣ Гилльотины, на площади Дибы... Это былъ самый круцій алмазъ въ юранѣ тайнъ. Въ гостиницѣ Гилльотины только съ полуночи отпиралась дверь, если можно назвать дверью каменную пасть, пробитую въ стѣнѣ, пропатанной убийственными испареніями. Внутренность сбогтѣствовала наружности: извилистыя ступеньки, черныя, расшатанные, обитыя, вели въ разныя комнаты, а эти комнаты углублялись въ другія, то низкія, то съ округленнымъ сводомъ и прямые, какъ пожарная кишка; темнота царила повсюду, и вездѣ чернѣли ирачные закоулки. Въ этомъ домѣ, построенному надъ каменоломней стараго Парижа, было три ряда погребовъ одинъ подъ другимъ, и самый нижній сообщался съ катакомбами, то есть съ городомъ, также обширнымъ, также населеннымъ, какъ Парижъ; но улицы были въ немъ выведены изъ берцовыхъ и голенныхъ костей, площади окружены кучами череповъ, дома сложены изъ костей таза и предплечия. Если вы приложите ухо къ полу нижнаго погреба, вами слышится, будто всѣ эти кости хрустятъ и ворочаются, стараясь выбрать другую, менѣе утомительную позу. Черезъ эти-то погреба и похоронныя подземелья убѣгаютъ самые важные преступники, преслѣдуемые полиціей. Едва она нагрянетъ, ихъ спускаютъ на веревкахъ внизъ. Затѣмъ имъ приходится идти опушью около двухъ миль, до тѣхъ поръ, пока имъ не удастся найти выходъ въ известковыя ломки Жантильи. Иные плутаютъ безъ толку или погибаютъ подъ оторванными, движениемъ воздуха, обвалами. Ихъ

душить смерть подъ грудами скелетовъ. Въ описанномъ нами домѣ, извѣстномъ полиціи и оставляемомъ ею на случай впуска своихъ хищныхъ птицъ, въ этомъ дому дѣлать добычу и обдумывать, какъ ловчѣ закинуть сѣти въ одинъ изъ золотыхъ бассейновъ, чтобы уловъ вышелъ вполнѣ удаченъ. Здѣсь вы встрѣтите и женщинъ, много молодыхъ женщинъ, иногда очень красивыхъ; но все они отмѣчены раскаленнымъ клеймомъ отчаянія или ревности. Въ этотъ вертепъ ихъ привлекаютъ страсти, имъ же неѣтъ имени, и съ звѣрскими наслажденіемъ отдаются онѣ каторжнымъ Аполлонамъ и Антиохамъ гильотины. Здѣсь не цѣлются, а кусаются. Гѣны испугались бы, и львицы сгорѣли бы со стыда при видѣ этого мрачнаго логовища. „Я видѣлъ все это“, могъ бы сказать новѣйшій маркизъ де-Садъ, „и издалъ въ свѣтъ „Жюстину“. Дневной свѣтъ здѣсь не извѣстенъ и это — какъ будто дань и почеть сіянію Бога. Огромные свѣточіи перебѣгаютъ изъ рукъ въ руки и прицѣпляются къ стѣнамъ, гдѣ нужно. Отвратительная сальная свѣча отмѣчаетъ на стѣнахъ свой циническій путь чудовищными рисунками, порожденными угаромъ водки. Это фрески Содома. Ночь обыкновенно проводятъ въ самой гостинницѣ *Гильотину*; впрочемъ, это — только кличка, а настоящее ея название *Гостинница трехъ амурчиковъ*. Вы входите и вами говорять! „Два су за постельное бѣлье, по одному су за каждый матрацъ, два ліарда за соломенинѣе. Господинъ желаетъ почевать одинъ!“ Эти вопросы предлагается вамъ толстая, веселая женщина, съ золотою цѣпью на шей и съ полдюжиною перстней на пальцахъ. Обыкновенное ея имя или мадамъ Паламедъ, или — мадмоазель Кловисъ. Обычники называютъ ее просто теткой Гриншаръ. Таковы были наведенные м-ромъ Фитцъ-Джеральдомъ справки и такія картины рисовались въ его воображеніи передъ тѣмъ, какъ онъ рѣшился низойти въ этотъ адъ и провести въ немъ ночь, чтобы узнать, наконецъ, таинственнѣйшую изъ всѣхъ тайнъ.

Онъ написалъ духовное завѣщеніе, запечаталъ его въ пакетъ и отправилъ къ своему посланнику; затѣмъ очистилъ свою совѣсть покаяніемъ и молитвою и въ одинъ прекрасный вечеръ, около самой полуночи, направилъ свои стопы къ гостинницѣ *Гильотинѣ*. Какъ въ пресловутую ночь, проведенную за заставой *Трехъ коронъ*, онъ былъ переодѣтъ каменьщикомъ.

На башнѣ святого Евстафія пробило половина двѣнадцатаго, когда онъ вступилъ на площадь Дыбы. Въ душѣ своей онъ чувствовалъ некоторый страхъ, но этотъ страхъ испытывала вѣсѣя краѣные

люди передъ началомъ сомнительного дѣла, а м-ръ Фитцъ-Джеральдъ былъ храбръ. Тетка Гриншаръ послѣ обычныхъ вопросовъ сунула ему въ руки какой-то окисленный почникъ, провела его по лабиринту клѣвушковъ, задернутыхъ грязными занавѣсками.

— Попросите у кого-нибудь милостынки, сказала она, — и спите съ Богомъ; прощайте.

Теперь пора объяснить особую причину, заставившую неукротимаго нашего искателя тайнъ ускорить посѣщеніе Гильотины. Цѣлые два мѣсяца передъ этимъ полиція отыскивала знаменитаго преступника Шаульманна и знала, по вѣрнымъ указаніямъ, что онъ скрывается въ Парижѣ, въ одной изъ берлогъ, отмѣченныхъ красными фонарями, какъ та же гостинница *Гильотина*.

Въ надеждѣ встрѣтиться съ Шаульманномъ подъ этой страшной кровлей, м-ръ Фитцъ-Джеральдъ рѣшился исполнить свое намѣреніе какъ можно скорѣе.

Въ часъ онъ уже лежалъ въ одномъ изъ тѣхъ сосновыхъ гробовъ, гдѣ воры привыкли прикидываться сонными. Слышалъ, какъ пробило два часа, и какъ потомъ всякий шумъ стихъ на улицѣ св. Іакова. Какая прелюдія для тайнъ! Ночь! зіюющія катакомбы подъ ногами, надъ головой злодѣи обдумываютъ новыя преступленія! но все это сливалось въ одно глухое, тяжелое молчаніе.

Вдругъ, не успѣли еще часы пробить половины треть资料, какъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ услыхалъ такія слова: „Намъ измѣнили! Рыжая ворвалась!“

Рыжего называютъ воры и разбойники полицію. Этотъ крикъ тысячекратно повторился, посреди ночи, въ зловѣщихъ и несказанныхъ отзывахъ. На чердакахъ выли: *рыжая! рыжая!* въ пятомъ жильѣ и въ остальныхъ шептали: *берегись, рыжая всходитъ!* Съ верхняго погреба до самой утробы катакомбъ, какъ бурчаніе въ желудкѣ отравленнаго человѣка, переливался этотъ крикъ: *рыжая! рыжая!* Фитцъ-Джеральдъ задыхался отъ радости и страха. Вотъ такъ тайна! Потомъ все стихло и сѣнная дверь запахнулась съ громомъ. Вѣроятно, преступникъ былъ уже и арестованъ.

Тоже думалъ и м-ръ Фитцъ-Джеральдъ, когда изъ глубины его комнаты выдѣлилась какая-то тѣнь, вооруженная кинжаломъ. Эта тѣнь преобразилась въ человѣка, а занесенный кинжалъ опускался ближе и ближе къ его сердцу, Фитцъ-Джеральдъ подумалъ: — они кричали объ измѣнѣ и безъ сомнѣнія думають, что измѣнникъ — я;

за это меня зарѣжутъ. Что-же мы дѣлать? Ничего. Умереть. Но крайней мѣрѣ, унесу съ собою въ гробъ тайну.

Когда книжалъ былъ уже въ нѣсколькихъ линіахъ отъ его груди, чей-то голосъ произнесъ.

— Ты Поульманъ! Только шевельнись, я тебя убью.

— А! меня принимаютъ за Поульмана.

Въ то же мгновеніе вошло человѣкъ двадцать полицейскихъ и связали Фитцъ-Джеральда, принужденнаго молча покоряться всѣмъ послѣдствіямъ этой ужасной ошибки. Его отвели въ цѣнзахъ въ тюрьму. Тамъ онъ написалъ свое имя и послалъ къ префекту полиціи; но, въ ожиданіи отвѣта, онъ былъ брошенъ среди легіона моншенниковъ, сметенныхъ ночью съ лица Парижа.

На другой день въ полдень, призвавъ его къ себѣ одинъ изъ полицейскихъ начальниковъ и съ удивленіемъ спросилъ: какимъ образомъ иностранецъ его званія могъ найдти въ такомъ мѣстѣ ночью?

— Я жаждалъ знать, отвѣчалъ Фитцъ-Джеральдъ, тайны вашей столицы... я читалъ...

— Довольно, милостивый государь, перебилъ ого начальникъ. Не вы первый, и конечно не вы послѣдній безумецъ, извините за выраженіе, кого завлекутъ извѣстной, пошленской фантасмагоріей. чье дѣтское легковѣріе употреблять во зло.

— Какъ! какое дѣтское легковѣріе! Какая пошленская фантасмагорія! вскрикнулъ м-ръ Фитцъ-Джеральдъ, ничего дѣйствительнѣе быть не можетъ. Хотите доказательствъ?

И онъ принялъ подробнѣ разсказывать о тайнѣ Трехъ-коронной заставы, не забывая ни голыхъ руѣвъ, ни кучъ костей, ни чановъ съ человѣческой кровью. Начальникъ слушалъ его, улыбался...

— Вамъ хорошо смеяться...

— Послушайте меня и разувѣрьтесь, мистеръ! сказалъ начальникъ Фитцъ-Джеральду. Возлѣ этой харчевни, (вы конечно не обратили на это вниманія) выстроенъ сахарный раффінадный заводъ. Заводъ и харчевня соединены крытыми ходами что-бы работники не теряли времени, на пѣбѣгушки къ другимъ торговцамъ,

— А кости? а кровь? а...

— Всякій знаетъ, что кости и кровь служатъ для очищенія сахара: кровь—это бычачья, и доставляется съ бойни Поасонъэрскаго предмѣстія; кости собираются на парижскихъ улицахъ людьми, живущими этимъ промысломъ.

Фитцъ - Джеральдъ смущенный, пораженный, уничтоженный, опустил голову. Тайна Іенского моста — глупость; тайна Трехъ-коронной заставы — другая глупость; гостиницы Гильотины — еще глупость; полицейской начальнице не замедлилъ сообщить ему, что этот домъ, хотя и пользуется дурною славой, но далеко не былъ свидѣтелемъ преступлений и мерзостей, порожденныхъ воображеніемъ мистера. Какъ нѣкій древній мужъ произнесъ передъ смертию: „добродѣтель! ты одинъ звукъ“! такъ точно и Фитцъ-Джеральдъ, выходя изъ полиціи, вскрикнулъ: „тайна! ты одинъ звукъ“!

Возвратясь къ себѣ пристыженный, усталый, измученный и обманутый, онъ наткнулся на англійскій журналъ и прочелъ:

„Прошлой ночью, лондонская полиція производила обыскъ въ домѣ м-ровъ Крокка и Фитцъ-Джеральда, сотоварищѣй по торговлѣ. Они обвиняются въ умышленномъ поджогѣ ихъ бумаго - прядильной фабрики, застрахованной, въ десять разъ дороже ея стоимости: преступление, наказываемое закономъ ссылкою въ Ботэни-Бей. Что не оставляется никакого сомнѣнія въ ихъ виновности, такъ это — давно задуманный отѣздъ м-ра Фитцъ-Джеральда и бѣство м-ра Крокка, который сначала соблазнилъ жену и похитилъ молодую дочь своего сотоварища.“

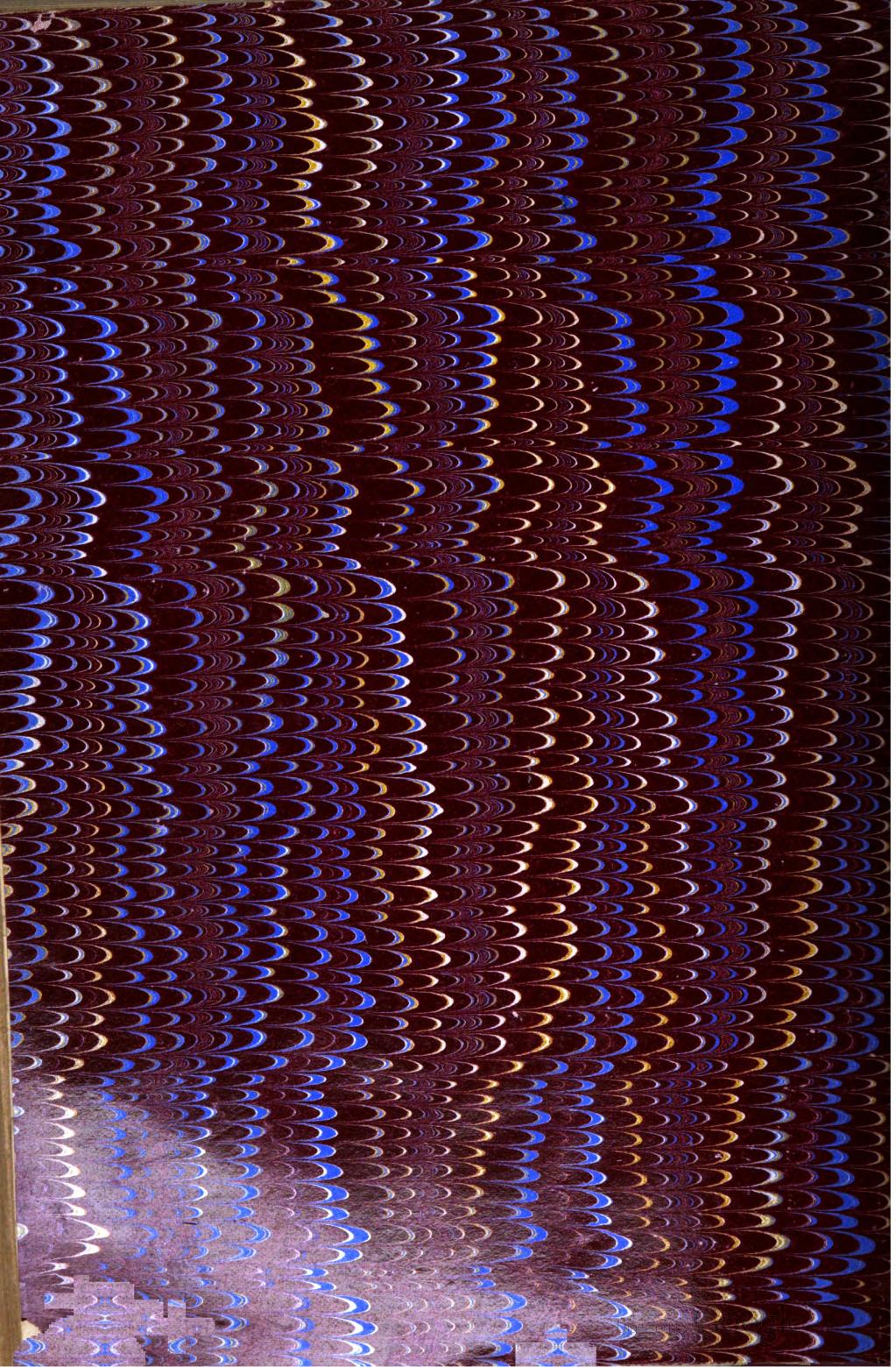
— Гнусный! тысячу кратъ гнусный Кроккъ! вскрикнулъ Фитцъ-Джеральдъ. Но философская стойкость его права сразу взяла свое и онъ проговорилъ разсудительно.

— Да, о, да! тайны существуютъ, но намъ слѣдуетъ ихъ отыскывать у себя, а не у другихъ... Самый великий, самый омерзительный самый страшный злодѣй — не тотъ, кто грабить, на олушкѣ, кто рѣжетъ въ трущобѣ лѣса, или на жалкомъ постоаломъ дворѣ, — нѣтъ! — а тотъ, кто, кроткій медорѣчивый и спокойный, обманываетъ и безчеститъ васъ съ потупленными глазами, кто въ бѣлыхъ перчаткахъ крадеть у васъ жену и соблазняетъ вашу дочь за урокомъ духовныхъ кантовъ. Тартюфъ — все еще самый глубокій и самый таинственный злодѣй всего міра. Мольера не опредѣлилъ еще никто.

Date Due

PG 3337

M 4
1887
v. 3





3 2000 007 011 234



